
Россия, Русь! Храни себя, храни!

1-2
2015



Союз писателей России

**Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Сергей ГЛАЗЬБЕВ. Хватит кормить Америку!	3
Фёдор ПОДОЛЬСКИХ. Дилетанты и временщики	10
Роман ВАСИЛИШИН. Бойня	97
Людмила ФИОНОВА. Встречи в Мексике	109
Константин ФЁДОРОВ. Погубленные уникамы отечественной авиации	143

ПРОЗА

Юрий ПАХОМОВ. Прощайте, герои... Повесть	19
Николай ҚОНЯЕВ. Рассказы	119
Игорь БОЙКОВ. Гроб Сергея Митяева. Рассказ	149
Вячеслав ДЁГТЕВ. Аустерлиц. Рассказ	185
Короткие рассказы	225

ПОЭЗИЯ

Светлана СУПРУНОВА. Зеленеют братские могилы. Стихи	89
Валентина ЕФИМОВСКАЯ. Гены памяти. Стихи	94

Андрей ГАЛАМАГА. Свой крест нести. Стихи	134
Алексей КРЕСТИНИН. Присядем у реки... Стихи	140
Андрей РЕБРОВ. Свежие звёзды. Стихи	166
Ольга ДЬЯКОВА. Снежный гость. Стихи	170

РУССКИЙ ВОПРОС

Алексей ЧИЧКИН. О воссоединении с Родиной	174
Сергей КАРАМЫШЕВ. Мать и мачеха	177
Александр ШУМСКИЙ. Константинополь должен быть наш!	179

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ

Ольга ЯКОВЛЕВА. Модернизация или подготовка к капитуляции?	191
---	-----

СИМВОЛ ВЕРЫ

Николай БУЛГАКОВ. Почему вернулся фашизм?	202
Алексий КАСАТИКОВ. Вселенская местечковость	216

ДОСЬЕ «МГ»

Геннадий СТАРОСТЕНКО. О «кремлёвских ретрансляторах»	245
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владимир СМЫК. Друзья и недруги Шолохова	251
---	-----

ПОДВИЖНИКИ

Нина БОЙКО. Стратег	265
----------------------------------	-----

Сергей ГЛАЗЬБЕВ,
доктор экономических наук, академик РАН

ХВАТИТ КОРМИТЬ АМЕРИКУ!

По своему смыслу бюджетное правило означает, что сверхприбыль от экспорта нефти должна резервироваться в американских облигациях, то есть направляться не на нужды российского государства, а на кредитование США. Любопытно, что даже после решений США о введении санкций против России и фактического развертывания американцами войны против России на Украине, **российский Минфин вложил очере- редные миллиарды долларов бюджетных денег в кредитование государственных, в том числе военных, расходов противника.** Это напоминает дисциплинированность советских поставщи- ков, которые в июне 1941-го, уже после нападения Германии на СССР, продолжали отгружать нужные германскому воен- но-промышленному комплексу ресурсы.

Нужно поблагодарить А.Улюкаева, что он публично по- ставил под сомнение политику вывоза нефтегазовых дохо- дов за рубеж с ничтожной доходностью около 1%. Ведь внутри страны их можно было бы разместить с многократно боль- шей доходностью и пользой. Или отка- заться от заимствований для финанси-



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

рования искусственно созданного дефицита бюджета под 6-7% годовых. Только на разнице процентных ставок между занимаемыми и предоставляемыми кредитами российский бюджет ежегодно теряет около сотни миллиардов рублей. А если бы замороженные в американских облигациях средства бюджетных фондов были вложены в сооружение инфраструктурных объектов, субсидирование инновационных проектов, строительство жилья, экономический эффект был бы многократно больше.

Обстоятельства военного времени заставляют вернуться к очевидным истинам, которые уже два десятилетия отвергаются российскими денежными властями в пользу навязанных Вашингтоном догм. Причем пресловутое бюджетное правило не является среди последних основным. Эта «дохлая кошка» была подброшена американцами после того, как российские денежные власти проглотили более фундаментальные догмы Вашингтонского консенсуса, изобретенного для удобства колонизации слаборазвитых стран американским капиталом. Ключевыми из них являются догмы о либерализации трансграничного перемещения капитала, количественном ограничении денежной массы и тотальной приватизации. Следование первой догме гарантирует свободу действий иностранным инвесторам, основную часть которых составляют связанные с ФРС США финансовые спекулянты. Выполнение второй обеспечивает последним стратегические преимущества, лишая экономику страны внутренних источников кредита. Соблюдение третьей дает возможности извлечения сверхприбыли на присвоении активов колонизируемой страны.

Нетрудно посчитать, что приглашенные в начале 90-х годов поучаствовать в российской приватизации **американские спекулянты** к 1998 году на раскрученных ими при помощи российского правительства финансовых пирамидах **получили более 1000% прибыли**. Заблаговременно выйдя из этих пирамид, они обвалили финансовый рынок и затем вернулись скупать десятикратно подешевевшие активы. «Наварив» еще около 100%, они вновь вышли с российского рынка в 2008-м, обрушив его втрое.

В целом, проведение догматической политики Вашингтонского консенсуса обошлось России, по разным оценкам, от одного до двух трлн. долл. вывезенного капитала, потерей более 10 трлн. руб. бюджетных доходов и обернулось деградацией экономики, инвестиционный сектор которой (машиностроение и строительство) сократился в несколько раз с вымиранием большинства наукоемких производств, лишен-

ных источников финансирования. Не менее половины вывезенных из России капиталов осело в американской финансовой системе, а освободившийся от отечественных товаропроизводителей рынок был захвачен западными компаниями. Титулы лучших министров финансов и руководителей центробанков, которыми американцы благосклонно наделяли своих агентов влияния в российском руководстве, обошлись России весьма недешево.

Вступая в начатую А.Улюкаевым дискуссию, начну с главного в рыночной экономике — денег. Основателю клана Ротшильдов приписывают слова: «Дайте мне право печатать деньги, и мне нет дела до того, кто в этой стране принимает законы». С середины 90-х годов российские денежные власти под давлением США и МВФ ограничили денежную эмиссию приростом валютных резервов, формировавшихся в долларах. Тем самым они отказались от эмиссионного дохода в пользу США и лишили страну внутреннего источника кредита, сделав его чрезмерно дорогим и подчинив экономикку внешнему спросу на сырьевые товары. И, хотя в рамках антикризисной программы в 2008 году денежные власти от этой модели отошли, до сих пор объем денежной базы в России в полтора раза ниже величины валютных резервов, долгосрочный кредит остается недоступным для внутренне ориентированных отраслей, а уровень монетизации экономики вдвое ниже минимально необходимого для простого воспроизводства.

Недостаток внутренних источников кредита отечественные банки и корпорации пытаются компенсировать внешними займами, что влечет чрезвычайную уязвимость России от финансовых санкций. Прекращение иностранных кредитов со стороны западных банков может в одночасье парализовать воспроизводство российской экономики. И это при том, что Россия является крупным донором мировой финансовой системы, ежегодно предоставляя ей более 100 млрд. долл. капитала. Имея устойчивый и значительный положительный торговый баланс, не мы, а субсидируемые нами западные партнеры должны были бы бояться санкций, ограничивающих доступ России на мировой финансовый рынок. Ведь если страна больше продает, чем покупает, она не нуждается в иностранных кредитах. Более того, их привлечение влечет вытеснение внутренних источников кредита с ущербом для национальных интересов.

Первое, что нужно сделать для вывода экономики на траекторию устойчивого роста и обеспечения ее безопасности, — восстановить эмиссию денег в государственных интересах, обеспечив предприятия необходимым для их развития и рос-

та производства объемом долгосрочного кредита. Как и в других суверенных странах, эмиссия денег должна вестись Центральным банком не под покупку иностранной валюты, а под обязательства государства и частного бизнеса посредством рефинансирования коммерческих банков в соответствии с потребностями развития экономики.

В соответствии с рекомендациями классика теории денег Тобина, целью деятельности Банка России должно стать создание максимально благоприятных условий для роста инвестиций. Это означает, что рефинансирование коммерческих банков должно вестись под доступный для производственных предприятий процент и на сроки, соответствующие длительности научно-производственного цикла в инвестиционном комплексе. Скажем, на 3—5 лет под 4% годовых для коммерческих банков и на 10—15 лет под 2% годовых для институтов развития, кредитуемых государственно значимые инвестиционные проекты.

Чтобы деньги не уходили на спекуляции против рубля и за рубеж, как это произошло в 2008—2009 годах с эмитированными для спасения банков сотнями миллиардов рублей, банки должны получать рефинансирование только под уже выданные производственным предприятиям кредиты или под залог уже приобретенных обязательств государства и институтов развития. При этом нормы валютного и банковского контроля должны блокировать использование кредитных ресурсов в целях валютных спекуляций. Для их пресечения и прекращения нелегальной утечки капитала следует ввести предложенный тем же Тобиным налог на финансовые спекуляции. Хотя бы на их валютную часть в размере НДС, взимаемого по всем валютнообменным операциям и засчитываемого в оплату НДС при импорте товаров и услуг.

Предложенные выше меры дадут экономике необходимые для ее модернизации и развития кредитные ресурсы. Ведь создаваемый государством кредит по своему смыслу есть авансирование экономического роста. Имеющиеся производственные мощности позволяют российской экономике расти с темпом ежегодного прироста ВВП на 8%, инвестиций — на 15%. Это требует соответствующего расширения кредита и ремонетизации экономики. Под угрозой применения финансовых санкций ее уместно начать с немедленного замещения внешних займов государственных корпораций кредитами российских госбанков по тем же процентным ставкам и на тех же условиях. Затем постепенно расширять и удлинять рефинансирование коммерческих банков на универсальных единых условиях. Только Банку России следует не

повышать ключевую ставку процента, усиливая антироссийские санкции со стороны США и ЕС, а, наоборот, ее снижать до уровня рентабельности предприятий инвестиционного сектора.

Представляю, как апологеты долларизации российской экономики, начнут кричать, что реализация этих предложений обернется катастрофой. Запугивая руководство страны гиперинфляцией, проводники Вашингтонского консенсуса политикой количественного ограничения денежной массы уже довели российскую экономику до жалкого состояния сырьевой колонии американо-европейского капитала, эксплуатируемой офшорной олигархией. Им невдомек, что главным антиинфляционным лекарством является НТП, который обеспечивает снижение издержек, рост эффективности, увеличение объемов и повышение качества продукции, что и дает постоянное снижение цены единицы потребительских свойств товаров в передовых и успешно развивающихся странах. Самый наглядным примером является Китай, экономика которого растет на 8% в год, денежная масса увеличивается на 30—45% при снижающихся ценах. Ведь без кредита не бывает инноваций и инвестиций. А инфляция возможна и при нулевом, и даже отрицательном кредите. Что, собственно, и демонстрирует уже два десятилетия российская экономика, в которой денежные власти попустительствуют вывозу капитала и искусственно ограничивают рост денежной массы, в то время как монополии постоянно вздувают цены, компенсируя сжатие производства.

Никто не сомневается в том, что избыточная эмиссия влечет инфляцию. Так же, как чрезмерное орошение влечет заболачивание. Но искусство денежной политики, как и умение садовода, заключается в том, чтобы подбирать оптимальный уровень эмиссии, заботясь о том, чтобы денежные потоки не уходили из производственной сферы и не создавали турбулентности на финансовом рынке. Во избежание инфляционных рисков необходимо ужесточить банковский и финансовый контроль с целью предотвращения образования финансовых пузырей. Эмитируемые для рефинансирования коммерческих банков деньги должны использоваться исключительно для кредитования производственной деятельности, что требует применения, наряду с инструментами контроля, принципов проектного финансирования. При этом важно развернуть механизмы стратегического планирования и стимулирования НТП, которые помогли бы бизнесу правильно выбрать перспективные направления развития.

В условиях структурного кризиса мировой экономики, обусловленного сменой доминирующих технологических укладов, крайне важно правильно выбрать приоритетные направления развития. Именно в такие периоды для отстающих стран открывается окно возможностей для технологического скачка в состав мировых лидеров. Концентрация инвестиций в освоение ключевых технологий нового технологического уклада позволяет им раньше других оседлать новую длинную волну экономического роста, получить технологические преимущества, поднять эффективность и конкурентоспособность национальной экономики, кардинально улучшить свое положение в мировом разделении труда. Мировой опыт совершения технологических рывков указывает на необходимые параметры такой политики: повышение нормы накопления с нынешних 22 до 35%, а для этого — удвоение кредитоемкости экономики и соответствующее повышение ее монетизации; концентрация ресурсов на перспективных направлениях роста нового технологического уклада.

Мир вступил в эпоху серьезных перемен, которая продлится еще несколько лет и завершится выходом на новый длинноволновый подъем экономики на основе нового технологического уклада с новым составом лидеров. У России еще есть шанс оказаться среди них при переходе к политике опережающего развития, основанной на всемерном стимулировании роста нового технологического уклада. Несмотря на катастрофические последствия проводившейся два десятилетия макроэкономической политики для большинства отраслей наукоемкой промышленности, в стране еще остается необходимый для совершения технологического рывка научно-технический потенциал. Если его не разрушать приватизацией и бюрократизацией Академии наук, а оживить дешевым долгосрочным кредитом.

При переходе к политике опережающего развития вопрос о бюджетном правиле приобретает правильную постановку. Конъюнктурные доходы бюджета, образующиеся за счет роста нефтяных цен, должны вкладываться в кредитование не чужой, а своей экономики. За счет них следует формировать бюджет развития, средства которого нужно направлять на финансирование НИОКР и инновационных проектов освоения производств нового технологического уклада, а также на инвестиции в создание необходимой для этого инфраструктуры. Вместо наращивания валютных резервов в американских казначейских обязательствах избыток валютных поступлений следует тратить на импорт пе-

редовых технологий. Целью макроэкономической политики должно стать наращивание кредита в модернизацию и развитие экономики на основе нового технологического уклада, а не ограничение денежной массы в расчете на снижение инфляции. Последняя будет снижаться по мере снижения издержек, улучшения качества и роста объемов производства товаров и услуг.

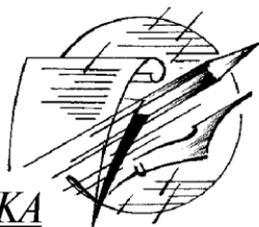
Логика мирового кризиса закономерно влечет обострение международной конкуренции. Стремясь сохранить лидерство в конкуренции с поднимающимся Китаем, США разжигают мировую войну в целях удержания своей финансовой гегемонии и научно-технического превосходства. Применяя экономические санкции параллельно наращиванию антироссийской агрессии на Украине, США стремятся нанести поражение России и подчинить ее, как и ЕС своим интересам. Продолжая политику Вашингтонского консенсуса и сдерживая расширение кредита, денежные власти усугубляют негативные последствия внешних санкций, ввергая экономику в депрессию и лишая ее шансов на развитие.

Война США и их союзников по НАТО против России набирает обороты. Времени для маневра остается все меньше. Чтобы не проиграть в этой войне, макроэкономическую политику следует немедленно подчинить целям модернизации и развития на основе нового технологического уклада.

ДИЛЕТАНТЫ И ВРЕМЕНЩИКИ

«Под воздействием эмоций мы первоначально подготовили оптимистический вариант, предусматривающий ускоренное импортозамещение уже к 2018 году. Но с учетом всех реальностей оценили риски и подготовили умеренно оптимистический сценарий развития отрасли, актуализированный сценарий реализации государственной программы до 2020 года. И при этом сравниваем параметры базового сценария, который уже заложен действующей государственной программой...»

Так «цивилизованно» министр сельского хозяйства Н.В. Фёдоров на состоявшемся в августе 2014 года в Курске совещании доложил свои гадания о мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции. «Мониторивший» на совещании Д.А. Медведев подчеркнул историческое значение того, что «после известного решения о введении Россией ограничений на импорт сельхозпродукции... у нас, у нашего сельского хозяйства, есть уникальный шанс на то, чтобы совершить качественный скачок в своем развитии, и именно на аграрный



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

сектор мы возлагаем особые надежды — естественно, при понимании ответственности всех, кто трудится в этом секторе».

Все, кто трудится, естественно, требуют от власти понимания ее ответственности за развал нашего сельского хозяйства в результате подчинения страны империалистическим монополиям. Крестьянам России нужен не свалившийся будто бы с неба «уникальный шанс» на качественный скачок, а обеспечиваемые государством условия для возрождения и последующего устойчивого развития разрушенного реформаторами сельского хозяйства. Тут не случится чуда от гаданий на ежегодных словоизлияниях про оптимистический, умеренно оптимистический и базовый, то есть заупокойный сценарий очередной пустой «государственной программы». Перед глазами трудящихся — их реальный опыт советского времени.

Сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Александрович Мельниченко в опубликованном 14 августа в «Советской России» выступлении призвал вернуться к Продовольственной программе СССР и переписать с нее главные направления для восстановления и развития сельского хозяйства страны сегодня. В.А. Мельниченко подчеркнул, что это была лучшая программа по развитию села. Без такого государственного подхода сельское хозяйство не возродить.

С этой оценкой вполне согласен председатель Совета Героев Оренбургской области Герой Социалистического Труда Георгий Александрович Мохунов. Пастух, конюх, помощник комбайнера в пору военного детства, а потом — агроном, директор машинно-тракторной станции и на вершине трудового пути — первый заместитель председателя облисполкома, ведавший развитием сельского хозяйства Оренбургской области как одной из крупнейших житниц великой державы. И с высоты опыта деятельного участника всенародного созидания Георгий Александрович дополняет оценку, высказанную В.А. Мельниченко.

Дело в том, что Продовольственная программа СССР была не чрезвычайным явлением, а продолжением планового развития сельского мира страны. Хватало всего — и тягот, и ошибок, но и радостей неповторимой жизни в ее строительстве по высоким идеалам и вековым мечтам о справедливости. И сегодня Георгий Александрович с неостывающим увлечением говорит о могучей творческой и направляющей силе механизации, прежде всего машинно-тракторных станций в становлении высокодоходного крупнотоварного сельского хозяйства.

Жаль, что поторопились принадлежавшую им технику раздать колхозам. Правда, сами станции были преобразованы в машино-ремонтные мастерские, затем в свое время выросли с новейшими машинами предприятия объединения «Сельхозтехники», «Сельхозхимии» и других подразделений научно-технического прогресса на службе селу. И всё это в течение двух отрезков времени, которые равняются и сравниваются с третьим — с двадцатилетием нынешних капиталистических «реформ». Как вспоминает Г.А. Мохунов, двадцать первых послевоенных лет с преодолением небывалых разрушительных последствий фашистского нашествия оказались вполне естественно не самыми богатыми на капиталовложения в село.

Менее чем через десять лет (!) после войны сыны и дочери победившего народа отправились в поход и освоили около 42 миллионов гектаров новых полей. Сегодня любители продавать родную землю забросили только в России те же 42 миллиона гектаров посевных площадей и вот уже два десятилетия даже не пытаются вернуть их в хозяйственный оборот.

Г.А. Мохунов выделяет как самое капиталоемкое для села двадцатилетие с марта 1965 года, когда пленум ЦК КПСС принял постановление по дальнейшему развитию сельского хозяйства. В книгах воспоминаний Георгий Александрович отобразил эту, без преувеличения, полную радостей, увлекательную работу. Осуществлялась программа механизации, мелиорации и химизации сельского хозяйства, электрификации и газификации села. Хозяйства постоянно получали всё новые марки тракторов, комбайнов, сельхозмашин и оборудования. Широко развернулось строительство жилья, школ, больниц, Домов культуры, дорог. И стал сокращаться отток жителей из сел в города.

Даже ныне ниспровергатели социализма в своих исследованиях называют осуществлявшиеся в ту эпоху программы грандиозными. Но еще более эта оценка соответствовала Продовольственной программе СССР на период до 1990 года, которую пленум ЦК КПСС утвердил в мае 1982 года. И первые несколько лет ее осуществления были самыми щедрыми на капиталовложения в сельское хозяйство.

Они и далее планировались по нарастающей, с тем чтобы окончательно одолеть нехватки в производстве продовольствия и сельскохозяйственного сырья для промышленности. ЦК КПСС при подведении итогов работы и постановке новой задачи проявлял сдержанность, а на фоне нынешних «рыночных» пророков — просто скромность.

В течение трех пятилеток рост сельскохозяйственного производства систематически обгонял рост населения, которое увеличилось по сравнению с 1965 годом на 35 миллионов человек, — отмечалось в отчетном докладе ЦК КПСС.

Это — основополагающий показатель. Государство обеспечивает рост благосостояния, улучшение питания и создает все условия для неуклонного роста своего народа.

Однако в нынешней России уничтожение производительных сил огромной части национальной продовольственной базы вызвало вымирание населения — четверть века «перестройки» и «реформ» его убавили, как минимум, на 15 миллионов человек, несмотря на то, что «естественная убыль» коренных жителей восполняется наплывом мигрантов.

И из такого лежачего положения сельхозпроизводства в который раз провозглашается фантастический скачок. Около двух лет назад в своем послании Путин повторил уже не единожды звучавшую сказку: «В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания». Увы, это осталось только фигурой речи.

А вот ЦК КПСС анализировал трудности и каялся в ошибках, из чего вывел скромную задачу Продовольственной программы СССР. При ее выполнении к концу десятилетия потребление основных продуктов питания на душу населения в год было примерно следующим: мясо и мясопродукты — 70 килограммов, рыбопродукты — 19, молоко и молокопродукты — 330—340 килограммов, яйца 260—266 штук и т.д. И была поставлена цель существенно улучшить структуру питания за счет наиболее ценных продуктов.

Вроде бы скучный бухгалтерский язык: выделить в двенадцатой пятилетке (до 1990 года) для агропромышленного комплекса капитальные вложения в размере 33—35 процентов, а непосредственно для сельского хозяйства — 27—28 процентов общего объема капитальных вложений по народному хозяйству. Собственно в сельское хозяйство планировали вложить 190 миллиардов рублей — полновесной валюты того времени.

А сегодняшняя капиталистическая Россия в состоянии потратить на сельское хозяйство меньше 1 процента своего худосочного капитала. Вот и пытаются поднять дух публики шапкозакидательскими словесами: стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания.

Продовольственная программа СССР — результат труда народа и мысли ученых. Заметно, что с хозяйской заинтере-

сованностью и научной беспристрастностью учитывается передовой опыт и ошибки строительства экономики, соотношения и взаимодействия отраслей производства и науки, систем управления, капиталовложений и материальной заинтересованности коллективов и каждого человека в наилучших результатах личного и общественного труда. Научно-техническая устремленность не отстает и от сегодняшних запросов. И понятно пожелание А. В. Мельниченко как выразителя интересов села вернуть на службу народу Продовольственную программу СССР. Это жизненно важно потому, что хотя ее осуществление прервано горбачёвской катастрофой и антинациональным переворотом, она все-таки представляет собой наилучший выход из нынешней разрухи. Этот документ вырос из ряда своих предшественников и вобрал в себя десять пятилеток практической работы и научного осмысления достижений и ошибок и в силу этого представляет теоретическую и методологическую ценность в поиске наилучших путей возрождения сельского мира.

И об этом помнят в народе. Бывший председатель колхоза имени Коминтерна Асекеевского района Оренбургской области Галиулла Абдрахманович Байбеков рассказывает о дальнейшем улучшении условий хозяйствования в те годы:

— Сегодня это мечта крестьянина, а тогда это воспринималось как привычная норма — принятый колхозом государственный план производства всех видов продукции по твердым ценам, обеспечивающим прибыль.

Была усилена заинтересованность в увеличении продукции. И основная закупочная цена на нее была повышена, а за сверхплановую продукцию государство платило в полтора раза дороже. Например, по плану мы должны были продать 16 тысяч центнеров зерна, но в иной год продавали по три плана. Мяса отправляли по полтора плана. Картофеля — два-три плана. Подсолнечника — три плана. И т.д.

Всё доставляли в государственные хранилища, на элеватор, и через неделю нам деньги поступали. Интерес был! В конце года мы распределяли «тринадцатую» зарплату, до шести месячных окладов. И мы старались повышать урожай сельхозкультур, продуктивность скота.

А сегодня, если урожай больше, то цена падает. Какой интерес? Ныне за килограмм ржи предлагают 2,5 рубля при его себестоимости 4 рубля. Перекупщики сговорились и давят, а фермеру или руководителю хозяйства деваться некуда, кредиты надо погашать, горячее покупать и уборку вести, детей надо готовить к школе, а если ребенок поступил в вуз, то теперь за учебу платить надо. Мужик прижат к стенке и вы-

нужден сдать сговор спекулянтов, продать зерно себе в убыток. А перекупщики затем продают в два раза дороже. Так что товаропроизводитель всё время остается в дураках.

В советское время доля производителя в хлебе печеном составляла 70 процентов, а сейчас — 20 процентов. Поэтому ныне тому, кто пашет, сеет, убирает, семена готовит, практически ничего не остается.

В советское время техника была дешевая. Иногда просыпаешься, а тебе уже привезли и отцепили в колхозе один или два новых комбайна. А потом приходит счет, и ты его оплачиваешь.

Прекрасно было с удобрениями. По цене тонна самых дорогих сложных удобрений равнялась тонне хлеба. А сейчас за тонну удобрений надо отдать пять тонн хлеба. Нам говорят: а мы вам за счет государства делаем компенсацию части затрат. Но сначала вот такую бешеную сумму плати, а потом полгода или год жди компенсацию. Поэтому уже никто не может покупать удобрения.

В советское время тонна порошковидного суперфосфата стоила 5 рублей. Мы брали его сотнями тонн и вносили на паровые поля. Также на всю площадь этих полей мы ежегодно вносили по 60 тонн навоза. Урожай озимой ржи доходил до 58 центнеров с гектара. Все культуры сеяли только со стартовыми удобрениями. Было создано государственное объединение «Сельхозхимия», обслуживающее все хозяйства. К нам в большом количестве автоцистернами завозили с заводов жидкий аммиак, заделывали в почву. У нас был девиз: «Без удобрений — ни шагу вперед!»

Сейчас ничего подобного нет и в помине. Никаких удобрений. Навоз никто не возит, потому что транспорт страшно дорогой — не окупается. Да и навоза практически с гулькин нос — даже в Асекееве, райцентре, у частных скота почти нет, и в сельскохозяйственных предприятиях его чуть осталось, как в зоопарках. Все заглохло, многое уничтожено.

Эту картину дополняет в прошлом директор совхоза, ныне председатель кооператива-колхоза имени Ю.А. Гагарина Оренбургского района Владимир Петрович Пузий. Его назначение на пост руководителя хозяйства совпало с принятием Продовольственной программы, и Владимир Петрович отмечает, что в экономике страны, пусть в том числе методом проб и ошибок, были достигнуты достаточно сбалансированные соотношения отраслей.

— В этих условиях не было нужды, например, в подаяниях наподобие государственной «несвязанной поддержки» села. Экономически оправданные цены обеспечивали здоровье

хозяйства. Топливо покупали мы — сливать некуда было. У нас большая нефтебаза, емкостей на 2 тысячи тонн, все были заполнены. Своих денег хозяйству хватало.

Много строили и для совхоза, и для сел. Еще один коровник на 400 голов с доильным залом. Продолжили и в 1990 году завершили строительство Дома культуры на центральной усадьбе в поселке Караванный — в нем потом проводились многие районные мероприятия.

Мы газифицировали два наших поселка — Караванный и Береговой. Проложили 22 километра газопровода и завели распределительную сеть в каждый дом. В Караванном для работников и ветеранов совхоза купили и установили отопительные газовые котлы. Заасфальтировали центральную усадьбу полностью. Построили в Узловой 18 километров дороги с гравийным покрытием. Два пункта технического обслуживания машин — в селах Береговом и Узлом. Элеватор на 2 тысячи тонн зерна — в четвертой бригаде. Коровник на 200 голов и телятник на 100 голов — на втором отделении. Пристройку к средней школе.

Всё это за счет совхоза. На нашем попечении были также детский сад и участковая больница, с нас спрашивали и за отопление, благоустройство, не течет ли крыша и т.д. Доход давало производство. За время действия Продовольственной программы мы довели совхозное стадо крупного рогатого скота до 6 тысяч голов, увеличили на 40 процентов производство мяса и молока. Вырос сбор зерна и других культур с площади 24 тысячи гектаров. Широко развернули орошение земель. По государственному плану построили орошаемый участок в 330 гектаров, да совхоз хозспособом ввел в эксплуатацию 400 орошаемых гектаров. На этих полях брали по два-три укоса люцерны, а на огороде в 60 гектаров — по 300—360 центнеров картофеля.

Так же и в других хозяйствах. Без громких речей мы старались выполнять Продовольственную программу. Она послужила большим запасом прочности при разрушительных «реформах». Благодаря этому наш коллектив и сегодня сохраняет жизнеспособность и волю к возрождению всех мощностей хозяйства.

Исходной частью Продовольственной программы был план дальнейшего развития научно-технического прогресса в сельскохозяйственном машиностроении, укрепления материальной базы села. В обсуждении этого вопроса тогда на пленуме ЦК КПСС выступил министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александр Александрович Ежовский. Сегодня он говорит:

— Советская страна и по Продовольственной программе принимала меры по обеспечению передового уровня нашего сельскохозяйственного машиностроения. Наши ученые и конструкторы работали на опережение. Они первыми поставили дизельный двигатель на трактор и стали родоначальниками дизелизации в этой отрасли. Новые разработки у нас всегда были на современном уровне. Зерноуборочные комбайны семейства «Дон» признаны первыми в производстве машин этого класса — они и сегодня выдерживают конкуренцию. Челябинский трактор в свое время получил «Гранпри» на выставке в Париже. А отставать начали под ударами «реформ». Ликвидированы 18 научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов отрасли и уничтожен созданный ими новаторский задел. «Реформаторы» сразу сорвали запуск в производство прекрасного нового трактора «Т-250» на Алтайском тракторном заводе и в итоге уничтожили сам завод. Искусственно созданы льготные условия для продвижения на наш рынок иностранной техники. А на свою у нас нет денег, мы закредитованы вдрызг. Свыше двух триллионов рублей — кредиторская задолженность села. Иностранные фирмы продают свою технику в кредит под 2—4 процента в год да с отсрочкой начала выплаты, а наши — под 16. Потеряли здравый рассудок.

Даже эти краткие свидетельства участников работы по Продовольственной программе СССР дают представление о ее огромных благах, уничтоженных прихватизаторами. Уже в первые годы ее осуществления были достигнуты в развитии сельского хозяйства вершины, с которых реставраторы капитализма гонят страну в пропасть.

За последнюю пятилетку увеличили стадо крупного рогатого скота: было 58 миллионов — возросло до 60,5 миллиона голов! Такие же темпы роста были и в других отраслях. А вот по итогам 2013 года в российском стаде числилось едва лишь 19,5 миллиона. Ликвидирован 41 миллион голов крупного рогатого скота! Национальная катастрофа. Еще надо учесть, что уничтожена материальная база производства — капитальные помещения на 41 миллион скотомест — со всеми металлическими кормушками, кормокухнями, транспортерами, доильными линиями, автопоилками и прочим оборудованием, а также бытовыми помещениями для животноводов и т.д.

Вместе с тем пора посчитать уничтоженные основные производственные фонды всех отраслей производства сельского хозяйства. И тот, кто возьмет на себя такой труд, тот представит картину превращенной в руины сельской России и

прикинет астрономическую сумму потерь народного богатства в любой самой твердой и весомой валюте. Но при этом надо не закрывать глаза на то, что уничтожение продолжается непрерывно и по сей день. Только за первую половину прошлого года стадо крупного рогатого скота в сельхозорганизациях уменьшили еще на 270 тысяч голов!

Министр Фёдоров на совещании в Курске в качестве нашего ответа западным «кормильцам» делает удивительное признание: «Осуществить рост производства в молочном и мясо-молочном животноводстве, а также ускоренное импортозамещение по плодово-ягодной продукции можно лишь в долгосрочной перспективе в силу специфики этих направлений». «Ускоренное... можно лишь в долгосрочной перспективе», — это у них «оптимистический сценарий». Медведев в ответ глубокомысленно изрек: «Никто не знает будущего, загадывать смысла нет, но то, что этим нужно воспользоваться, — вне всякого сомнения: и для того, чтобы поднять конкурентоспособность нашей продукции, и для того, чтобы просто создать новые мощности».

Дилетанты и временщики. Они даже не понимают того, что говорят.

ПРОЩАЙТЕ, ГЕРОИ...

ПОВЕСТЬ

1

Вторую половину августа я обычно провожу на итальянском курорте Лидо ди Езоло, всегда останавливаясь в отеле «Европа». Я заранее резервирую номер с видом на море. пляж в пяти минутах ходьбы, в холле отеля уютный бар, в котором можно сидеть часами, глядя на пёструю толпу туристов, стекающую по многокилометровой центральной улице Адреа.

Нынешним летом на курортах Венецианской Ривьеры вошли в моду длинные, до колен, купальные трусы самых диких расцветок. Трусы выглядели одинаково нелепо как на тощих подростках, так и на тучных отцах семейства. Женщины предельно обнажились. Я давно отметил, что человечество, утратив эстетические ориентиры, потянулось к уродству: в моде бритые черепа, накачанные силиконом груди, туземные татуировки и пирсинги в ушах, носу и даже в потаённых интимных местах.

Да, я забыл представиться: Пьер Симон, художник, писатель, журналист. В той, прежней жизни, которая теперь мне самому кажется выдуманной, меня звали Пётр Семёнов. Я — парижанин, больше трид-



ПРОЗА

цати лет живу в студии на рю Лафаейет. Мне круто за пятьдесят, но редко кто даёт больше сорока пяти, рост метр восемьдесят пять, блондин спортивного сложения. И то, что я слегка прихрамываю — следствие огнестрельного ранения, — по утверждению одной итальянки, придаёт мне особый шарм.

Я довольно состоятелен, к тому же неплохо зарабатываю, пишу для газет и журналов очерки, эссе, оформляю книги, рисую карикатуры, иллюстрации к комиксам. А недавно в одной из престижных галерей в Париже состоялась выставка моей графики. Я здоров, лишь изредка пользуюсь услугами стоматолога; единственное, что беспокоит, — бессонница. В Лидо ди Езоло я борюсь с ней испытанным способом: душными вечерами сливаюсь с толпой, фланирующей по центральной улице курорта, и как бы становлюсь частью этого плотного потока, в котором утрачивается индивидуальность, а значит, исчезает и прошлое. Прошлое таит в себе опасность.

Толпа приплясывает, поёт, дудит в дудки, хохочет. Хлопают петарды, в чёрном небе с треском рассыпаются разноцветные звёзды фейерверка, по велосипедным дорожкам шуршат шины четырёхколёсных велокаров, восторженно визжат дети, молодые парочки, обнявшись, ныряют в чёрные провалы улиц, ведущих к морю, и там, на песчаном пляже, предаются любви. На уличных перекрёстках какие-то молодые люди в цилиндрах подбрасывают в небо светящиеся шары.

Человеческая река, достигнув полутёмной окраины, разворачивается и течёт в обратном направлении. Магазины, лавки с сувенирами, рестораны, кафе, бары забиты туристами, они едят, пьют, смотрят телевизоры, и в равномерном гуле, напоминающем усиленное воркование голубей, ощущается страстное желание жить, словно на Землю уже нацелился метеорит-убийца и населению планеты отмерены не годы, а дни или даже часы. Я обхожу любимые бары, понемногу алкоголь делает своё дело, возвращаюсь в отель, принимаю душ и валюсь в чёрный осклизлый колодец, на дне которого возникают и гаснут сны. Сны — единственное, что меня связывает с прошлым, сны реальнее воспоминаний. Воспоминания как бы принадлежат другому человеку.

Вчера мне приснился Гриша Снесарь. На нём была форма советника: хаки, высокие шнурованные ботинки, на поясе кольт сорок пятого калибра в брезентовой кобуре. Так он выглядел на фотографии африканского периода. Гриша погиб в Эфиопии на границе с Суданом в 1978 году, я в это время был в Эритрее.

Алкоголь спасет до трёх утра; когда за окном гаснет шум резвящейся толпы, вновь оживает бессонница. Её не прогнать

и ничем не перебить; она — живая субстанция, что-то вроде искусственно созданного интеллекта, с которым неизбежно вступаешь в спор; мысли отрывисты, я не могу их собрать в некую логическую схему; фразы всплывают, гаснут, как на мониторе компьютера.

В последнее время меня стали раздражать люди. Чтобы до предела сократить общение с соплеменниками, я встаю в пять утра. Пляж пуст, на лежаках капли росы, вода прозрачна, в воздухе скользят чайки, на голубой линии горизонта медленно движется белый лайнер. Природа стерильна, и строй мыслей иной, чем ночью.

Портье вызывает такси, я еду в Punta Sabbioni, сажусь на рейсовый теплоход и через сорок минут оказываюсь в Венеции на площади Святого Марка. Венеция прекрасна ранним утром. Гранд-канал выкрашен в голубой цвет, голуби опрятны, туристов мало, магазины закрыты, и в воздухе ещё не стоит гнилостный запах потревоженной воды. Я брожу по узким улочкам, и звук моих шагов эхом отлетает от старинных, в прозелени стен древнего города. Завтракаю обычно в кафе на пьядца Santi e Paolo. Свежие булочки, кофе, апельсиновый сок. Город-мираж, любимая игрушка человечества, постепенно просыпается. В сумке альбом, блокноты, ручки, карандаши. В кафе я и работаю. Зарисовки, наброски, фрагменты эссе с иллюстрациями. Всю эту дребедень охотно покупают американские, французские, бельгийские и немецкие журналы, особенно если в зарисовках или в тексте есть некоторая фривольность. Я вполне могу не работать, но сам по себе факт, что, доставляя себе удовольствие, я неплохо зарабатываю, создаёт иллюзию некой душевной гармонии.

Сегодня я проснулся поздно, с тяжёлой головой — вчера перебрал в баре, привёл в отель молодую датчанку, широкоплечую, мускулистую, с неуёмными фантазиями. Едва выпроводил её под утро. Чашка кофе в баре отчасти вернула меня к жизни. Сел в автобус, следующий в порт. В салоне бубнили итальянцы. Самая говорливая нация в мире. На площади Святого Марка копошились туристы, в толпе мелькали ряженые в масках, рождённые болезненной фантазией Иеронима Босха. В любимом кафе с трудом нашёл свободный столик. Напротив, за сдвинутыми столами, разместились молодые туристы из России. В центре — рослый, красивый парень, длинные светлые волосы перехвачены кожаным ремешком, какие в старину носили ремесленники. Большие солнцезащитные очки закрывали часть лица.

— Лёха, ну спой что-нибудь, — попросила одна из девушек.

Парень извлёк из красного кожмитового футляра гитару и, настроив, запел хрипловатым, приятным баритоном. Я отложил альбом и прислушался. Лёха пел песню, которую я слышал в России в исполнении Гарика Сукачёва:

*Свобода! Этот дурманящий запах,
Свободный дух обоняют носы.
Строй диссидентов восьмидесятых
Следуют в сторону колбасы.
Прощайте, герои...*

Попытался вспомнить, где я впервые услышал эту песню, и не смог. Скорее всего, у Марианны. У неё стеллаж с дисками.

Светловолосый отложил гитару, снял очки, и я вздрогнул, насколько этот доморощенный бард был похож на поэта Олега Охупкина. Сходство поразительное. Холодком обдала мысль: в последнее время меня окружают мертвецы. По площади стекала группа туристов из Швеции, и мне показалось, что среди них вышагивает Гриша Снесарь с армейским рюкзаком за плечами.

Впервые имя питерского поэта Охупкина назвала моя двоюродная сестра Марианна, затем, несколько лет спустя, Одиль Дюран. Господи, сколько воды утекло с того времени!

После первого курса Военного института иностранных языков во время летних каникул я махнул в Ленинград погостить у брата отца — Василия Григорьевича, полковника, преподавателя Артиллерийской академии. Дядя Вася частенько заезжал к нам в Москву. Как-то приехал с дочерью Марианной, нескладной пухлой девицей, была она тремя годами старше меня, и вся её энергия уходила на то, чтобы выказать мне свою неприязнь. За что она меня презирала, я так и не понял.

На вокзале меня встречал дядя Вася. Среднего роста, худощавый, жилистый, суетливый, он совсем не походил на родственника нашей, семёновской породы. Мой отец под два метра, широкий в плечах, грузный. Но между братьями было и нечто общее: кустистые брови, голубые, скорее даже синие, глаза. Дядька, как и отец, овдовел, один воспитывал дочь — ту самую девицу, что третировала меня в течение недели в Москве.

В Ленинграде я был впервые и, когда поезд остановился под закопчёнными сводами Московского вокзала, испытал что-то вроде разочарования, которое усилилось, когда за окном «Волги» замелькали однообразно серые дома Литейного

проспекта, рассечённого прямыми скучными улицами, в глупине которых стоял зелёный туман. «Волга» свернула на Моховую и замерла у шестиэтажного дома в стиле модерн начала двадцатого столетия: лепка, витражи, на фасаде ангелочки, похожие на рептилий, подъезд, убранный решёткой, за которой проглядывался двор-колодец.

Первое ленинградское потрясение (потом их было немало) — Марианна. Дверь открыла красивая блондинка, в которой трудно было узнать мою обидчицу. Разве что голос. Глянув на меня, она, усмехнувшись, пропела:

— Па-а-а! А что это за тип? Грузчик со станции «Ленинград-товарная»?

— Маша, принимай гостя. То твой брат, Петя.

— Быть не может, па-а-а! Тот был хилый какой-то, слизнячок. А это мужик. Ты ничего не напутал?

— Не дури! Накрывай лучше на стол.

Первая половина дня выпала из памяти. После обеда, затащив меня в свою комнату, Марианна, жарко дыхнув, спросила:

— Братик, у тебя девочки были? Только не врать!

— Если честно, всерьёз — нет.

— Молодец! У меня подружка есть, Анечка, она постарше тебя, зато всё умеет. Очень любит невинных мальчиков. За неделю пройдёшь курс молодого бойца. Краснеет, надо же! Эх, если бы ты не приходился мне братом, я сама занялась бы твоим половым воспитанием.

Мог ли я тогда предположить, что через много лет Марианна станет мне самым близким человеком, а летние каникулы в Ленинграде обернутся одной из ярких страничек моей путаной жизни, в которой будут и Анечка, и долгие прогулки по Северной столице, и поездка в Зеленогорск. Шаг за шагом Марианна откроет мне мир Петербурга: Мойку, Фонтанку, дом, где жил Достоевский, Летний сад, в котором из густеющей к вечеру синевы проступают мраморные статуи, рождающие томительное чувство. Марианна заканчивала филологический факультет Ленинградского университета и знала много такого, о чём я и представления не имел. Незадолго до моего отъезда в Москву Марианна спросила:

— Петя, кто из поэтов тебе нравится? Классики — ясно. Возможно, Евтушенко, Вознесенский. Всё это вроде супового набора для интеллигента средней руки. А вот Ахматову и Пастернаку тебе приходилось читать?

— Если честно, нет.

— Да-а, в твоей честности всё же есть элемент дебильности. Ну, а о поэтах «второй культуры» что-нибудь знаешь? Охапкин, Кривулин, Бобышев.

— В смысле поэты второго сорта?
— Петя, да ты просто дуб, вроде моего Игорька. Но тот, понятно, артиллерист, ему поэзия по фигуре.
— Да и я не студент филфака. Кстати, сестричка, а кто у нас Игорёк?
— Мой жених майор, защитил кандидатскую, его оставили на кафедре, где преподаёт отец. Папаша мне его и сосватал. Игорёк докторскую диссертацию кропает. Вот посмотришь, я из него генерала сделаю.

...Пройдёт без малого десять лет, и мы втрём: Марианна, я и Одиль будем сидеть на кухне этой старинной квартиры на Моховой. Мой дядя к тому времени упокоится на Волковом кладбище. Вот тогда я и познакомлюсь с поэтом Олегом Охапкиным. И оттуда, из полузабытого далёка, передо мной всплыло красивое, усталое от многодневного пьянства лицо поэта, его тёмно-русые волосы были перехвачены кожаным ремешком. Лицо возникло и исчезло.

На край моего столика уселась белоснежная голубка, у неё были изящные розовые лапки и чёрные глаза Одиль. Рядом, гремя стульями, размещались туристы из Германии; несмотря на раннее время, мужчины были уже изрядно навеселе. Двойник Охапкина перебирал струны гитары, голубка вспорхнула и растаяла в розовеющем от зноя небе.

2

И опять снился Гриша Снесарь, но не заматеревший, в форме советника, а совсем пацанчик — худенький, в клетчатой рубашке, коротковатых брюках. Мы шли с ним по улице южного города, нас обтекала толпа, угрюмая, молчаливая, у всех были знакомые и вместе с тем трудно узнаваемые лица. Гриша сказал: «Видишь, их давно уже нет, а они всё идут и идут». Затем тускло освещённые аллеи парка, между деревьев неясные фигуры людей, они возникают, исчезают и появляются вновь...

Я лежал во тьме, в отдалении шумело море, через равные промежутки времени отчётливо слышалось глухое: «блымс—блымс!». Второй день дул северо-западный ветер, но он не принёс на побережье Адриатики прохлады. Сквозь серую пелену проступило лицо тёти Поли. Она была чем-то недовольна, губы поджаты: «Ты поставь Григорию свечку, ему там и полегчает», — сурово сказала она. Это был не сон, а скорее, видение. У меня на лбу выступили бисеринки пота.

...Мне было два года, когда семья переехала из Кишинёва в Краснодар и там, в столице Кубани, я наконец вырвался из

пёстро́го хаоса младенчества, где определяющими были яркие цвета и запахи. Первое постижение жизни, родства: мать, отец, домработница тётя Галя. Муж Галины Ивановны умер от ран после войны, она работала уборщицей в городской бане, что на Красноармейской улице. Укороченная войной семья жила впроголодь. Я не помню, кто порекомендовал моей матушке Галину Ивановну в качестве домработницы, но мои занятые родители вздохнули свободно, когда в доме появилась эта улыбчивая, работающая женщина. А чуть позже появился и её сын Гриша, черноглазый, худой, большеротый мальчишка, ставший для меня единственным другом.

Мои мудрые родители сделали всё, чтобы я ничем не отличался от Гриши. Мы вместе ходили в детский сад, потом в школу, учились в одном классе. И ели мы всегда за одним столом. Гриша был на год старше меня. Нас считали братьями. Гриша с матерью жили в доме на углу улиц Ворошилова и Леваневского. После нашей розовой пятиэтажки, где обитали семьи крайкомовского начальства, двор Гриши Снесаря поразил меня своим уютным захолустьем. Сложенные из кирпича и турлучные домики лепились один к другому, во дворе стояли белённые известью печки, на которых летом готовили еду, посреди двора торчала чугунная водопроводная колонка, а в конце щели между обитыми бурой жёстью дровяными сараями помещалось «удобство» выгребного типа. Когда резервуар переполнялся, потоки зловонной жижи стекали на улицу Леваневского.

Какое представление о жизни я мог бы получить в нашем нарядном доме, выкрашенном в бледно-розовый цвет? Гришкин двор стал своего рода учебной площадкой, где мне преподали наглядный урок социологии. Населён двор был интереснейшими людьми. Там был свой сумасшедший, свой толстяк, обитала колдунья и ворожея, жила тайной жизнью воровская семейка Пашенных, компанию дополняли бывший командир подводной лодки и самоубийца Лёнька-моряк, постоянно убегавший из дома и застрелившийся из нагана, когда я учился во втором классе. Разнообразие характеров, сложность взаимоотношений, терпимость, взаимовыручка, добро и зло обозначены были в этом дворе просто и чётко.

В 1966 году отца перевели на работу в Москву, я скучал по Гришке, но через три года переписка оборвалась, и я до поры ничего не знал о судьбе друга.

Чиркать карандашом в блокноте я стал с детсадовского возраста, в начальных классах оформлял школьную стенгазету, осмысленное отношение к рисованию появилось в Москве, когда я стал ходить в кружок рисования при Доме пио-

неров. Учился я средне, четвёрки, пятёрки по гуманитарным предметам, легко давался французский, а по математике и физике плёлся на троечках. Физику, помнится, вёл желтолицый раздражительный старичок, с копной жёстких, как проволока, седых волос, торчащих в разные стороны. По школьной традиции ему дали прозвище Швабра. Как-то раз я одним росчерком нарисовал карикатуру на Швабру. Сосед по парте Костя Лялин восхитился: «Гениально! Абсолютное сходство и вроде бы условно. Ты когда-нибудь видел карикатуры Карла Бидструпа?» — «Нет». — «Странно, его манера. А ты, вообще, рисуешь?» — «Так, малякую». — «Покажи рисунки». — «Нечего мне показывать, я их выбрасываю». — «Сделай несколько зарисовок, я покажу их матери, она работает художником в издательстве, книжки оформляет. Давай после уроков ко мне. Я тебе кое-что покажу».

Лялин жил в мрачном доме на Дорогомиловке. В квартире-мастерской царил невообразимый хаос: вдоль стен громоздились картины, подрамники, рулоны бумаги, у широкого окна осел громадный стол, заляпанный краской. Часть комнаты выгорожена ширмой — там обитала мать Кости. В уголке однотумбовый стол, за ним Лялин делал уроки. Всё остальное пространство занимали картины и книги. Никаких стеллажей, шкафов. Витая железная лестница вела на антресоли, там кто-то громко храпел. В комнате-мастерской стоял бражно-кисловатый запах, словно недавно открыли бочку с капустой. Я, с детства приученный к чистоте, когда за порядком в квартире следит домработница, паркетный пол натёрт мастикой, хрусталь в горке отбрасывает на стену солнечные зайчики, а цветы в горшках издают едва различимый аромат, опешил и замер на пороге.

— Проходи, чего ты?

— Никого нет?

— Нет. Мать с эскизами у автора.

— А кто же храпит?

— Фёдор Константинович, портретист, любовник матери. Третий день в запое. Не обращай внимания. Да не снимай ботинки, кругом гвозди валяются.

Лялин, сдвинув тюбики с красками, разложил на огромном столе мои рисунки, прищурился:

— А что, здорово. Во всяком случае необычно... Ты где учился?

— Нигде. Так, сам.

— Приходи к нам в кружок рисования при Доме пионеров. Ведёт кружок Семён Семёнович Ципко. Не бог весть какой педагог, но руку поставить может.

У Ципко я периодически вызывал приступы раздражения. Разглядывая мою мазню, он, теребя куцую бородку, говорил:

— Петька, ну почему у тебя стакан кривой? Ты хоть имеешь представление о пропорциях? А цвет? Скажи, где ты видел красные сосны?

— В Крыму, в Мисхоре, ранним утром.

— Красную сосну можно увидеть только после бодуна. Ты, случаем, не дальтоник?

Наши отношения окончательно испортились, когда я на грифельной доске нарисовал мелом карикатуру на Ципко. Ребята валялись от хохота, и никто не заметил, как вошёл Семён Семёнович. Глянув на доску, он спросил осевшим голосом:

— Кто начертил сию мерзость?

Я встал.

— Спасибо, Петя. Порадовал учителя. Честно говоря, я давно бы тебя вышиб из студии за бездарность, если бы не твой цековский папаша. А то ещё лишит куска хлеба, а у меня семья.

— Не беспокойтесь, маэстро. Я сам уйду.

— И правильно. В таких случаях в приказе об увольнении пишут: по творческой несостоятельности.

Откуда мне тогда было знать, что мои карикатуры будут охотно публиковать ведущие иллюстрированные газеты и журналы Старого и Нового Света и что я буду оформлять книги нобелевских лауреатов.

Отцу некогда было заниматься мной, мама умерла, когда я учился в седьмом классе — за два месяца сторела от острого лейкоза; единственным человеком, кто серьёзно отнёсся к моему увлечению рисованием, была тётя Поля.

Полина Силовна Морозова появилась у нас незаметно. Первое, что мне пришло в голову, когда я её увидел, это поразительное сходство с портретом Софии Ковалевской из учебника математики. И одета так же. Отец пригласил Морозову на роль репетитора, чтобы подтянуть мой французский язык и дать уроки английского. Таков был наказ моей покойной матушки. Раньше Полина Силовна преподавала в педагогическом институте. Домашнее хозяйство вела домработница Зина.

Я не запомнил, как исчезла Зина, зато отпечаталось в памяти, как воцарилась в нашей семье Полина Силовна; мне казалось, что её слегка побаивается даже отец. Тётя Поля никогда не повышала голоса, вполне хватало её интонации, отец не надевал галстук без её совета, она же следила за его гардеробом, звонила при надобности управделами, ходила в

цековский распределитель и превосходно готовила. Самой уничтожительной фразой её была: «О нет, это моветон». В десятом классе я свободно говорил на французском и мог недурно объяснить на английском языке.

Несколько лет спустя из скупых рассказов Полины Силовны я составил краткую её биографию. Дед – купец, отец – врач, был знаком с Чеховым, побывал в ссылке, дружил с Семашко и всю жизнь проработал в больнице имени Боткина. Семья жила в уютном деревянном особнячке неподалёку от Киевского вокзала. Кому довелось побывать в столице в начале пятидесятых годов, тот ещё мог застать островок старой деревянной Москвы у Дорогомиловской заставы, с садами, в глубине которых проглядывались деревянные домики. По весне сады закипали вишнёвым и яблоневым цветом, снежной зимой там стояли кустодиевские сумерки. В особнячке доктора Морозова, на досуге «балующегося» живописью, частенько собирались художники, бывали Михаил Матюшин, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк и другие из группы «Бубновый валет».

Брат Полины Силовны, студент-медик, погиб в Первую мировую, муж пропал без вести в сорок первом, отец дожил до восьмидесяти и умер на следующий день, после вручения ему в Кремле ордена Трудового Красного Знамени. В середине шестидесятых особнячок снесли, а Полине Силовне дали большую светлую комнату в многоэтажном доме, глядевшем окнами на строящуюся станцию метро «Студенческая». Мне нравилась эта комната, в ней стояла музейная чистота, на старинные кресла и диван на гнутых ножках были надеты белые чехлы, а на стенах висели подлинники художников русского авангарда.

Отец к моему решению поступить в Строгановку отнёсся неодобрительно:

– А оно тебе нужно?

– Больше меня ничего не интересует.

– Ну, положим, ты ещё сам себя хорошо не знаешь. Художник, к тому же прикладник, какая-то несерьёзная профессия. Хорошо бы получить солидное базисное образование, например, исторический факультет МГУ или Плехановка. Народному хозяйству нужны грамотные, энергичные управленцы. Впрочем, решать тебе. Как ты понимаешь, в качестве протеже я выступать не буду. Не в моих принципах.

– Догадываюсь.

Меня срезали уже на творческом конкурсе. Профессор в замызганном пиджачке сказал:

– У вас, молодой человек, искажённое сознание. Графика – сплошные модернистские выверты. Чёрт знает что! Мы среди

прочего готовим художников-оформителей для издательств. Ну и как, скажем, вы будете оформлять книги Льва Толстого? Что касается акварелей и работ маслом — то же самое. Ничего своего, сплошное эпигонство. Кстати, где вы видели Фалька? На какой помойке вы нашли Лентулова? Поразительно!

— Лентулов и Фальк плохо?

Профессор издал придушенный хрип:

— Все эти Фальки — не советские художники.

Костя Лялин с его тщательно выписанными кубами, гипсовыми обломками и слащавыми до зуда в паху акварелями легко преодолел конкурс и так же легко поступил в институт. Из Строгановки я возвращался пешком, чувствуя, что у меня что-то оборвалось внутри. Я зашёл в рюмочную и первый раз в жизни выпил две рюмки водки, закусив высохшими до картонной твёрдости бутербродами с килькой. Я решил ничего не говорить дома о провале. Конечно, от тётки Поля ничего не утаишь, но она не подаст вида. Доминирующая версия: я раздумал поступать в Строгановку. Раздумал, и всё! Когда после блуждания в сумерках я вернулся домой, тётка Поля встретила меня нейтральной полуулыбкой и сказала, что у нас гость. Только этого не хватало.

В гостиной в кожаном кресле сидел солдат с красными погонами. Незнакомый, крепко сбитый парень улыбнулся, и я узнал Гришку Снесаря.

— Привет, Петро. Если бы я не был в форме, меня не пустил бы охранник, сидящий внизу. Хорошо выглядишь.

— Почему ты, скотина, не писал? Почему не звонил?

— Прости, обстоятельства, брат. Мама умерла, из института выперли за драку — дал в морду доценту, приставал к моей подружке. Потом армия, занимался радиоперехватом в тьмутаракани.

— Ты в отпуске?

— Что-то в этом роде. Приехал поступать в Военный институт иностранных языков.

— Куда, куда?

— В ВИИЯ. Он в Лефортово.

— Занятно. Ну что же, будем поступать вместе.

— Как? Мне Полина Силовна сказала, что ты в Строгановское училище нацелился.

— Отпадает. Художник — несерьёзная профессия.

Гриша вскоре умчался в казарму, оказывается, он свалил в самоволку. В понедельник утром я отправился в институт сдавать документы, ехал до станции метро «Бауманская», дальше — трамваем в Лефортово. Отец был в командировке в Болгарии, не думаю, чтобы он стал меня отговаривать.

Столько лет прошло, а я хорошо помню тот день. С утра было жарко, поливальные машины обдавали мостовые водой, в веерах брызг на мгновение возникали радуги. На перекрёстах улиц торговали газировкой, разноцветные цилиндры с сиропом ярко отсвечивали на солнце. И как-то особенно хороши были девушки в лёгких платьях. Рабочий люд схлынул, пассажиров в трамвае немного, о мутное стекло упрямо бился крупный шмель, тревожно пахло духами. И этот запах, и шмель, с зудящим звуком соскальзывающий со стекла, навсегда запечатлелись в памяти.

Институт я разыскал без труда. За железным забором упрямо проступали старые казармы, за ними, в глубине двора, виднелись две современные многоэтажки. Внезапно ворота, выкрашенные шаровой краской, распахнулись, и в проём пёстрой гусеницей выкатился строй военных. Никогда прежде я не видел такого дикого смещения формы одежды: сержанты и ефрейторы в кителях и гимнастёрках, рядом шагали солдаты в панاماх, рубашках с короткими рукавами, там же, в строю, старшины и матросы в белых форменках, синих и серых робах. Строй замыкал ладный паренёк в милицейской форме. Прохожие останавливались и с удивлением глядели вслед громыхающей сапогами и яловыми ботинками многоножке. Гриша потом пояснил, что военнослужащих, прибывших для поступления в институт, отправили в Хлебниковские бани на санобработку.

Документы у меня принял гладковыбритый лысый майор. Когда я сказал, где работает мой отец, майор коротко глянул на меня и сделал пометку в блокноте. Как потом выяснилось, среди абитуриентов было много сыновей крупных военачальников и партийного руководства. Со мной на факультете учились сыновья маршала авиации, посла в Швеции, представителя СССР в ООН, а уж обычных генеральских сынков — через одного.

Абитуриенты, прибывшие из округов и с флотов, сдавали экзамены первыми, гражданские, вроде меня, после них. И я, и Гришка сдали экзамены на «отлично», нас распределили на западный факультет во вторую языковую английскую группу. Снесая как старослужащего назначили командиром группы. Кроме западного факультета, был ещё и восточный, куда более многочисленный. Слушателей этого факультета называли коротко — «арабы». СССР в ту пору принимал участие в войнах на Ближнем Востоке — в Египте, Сирии, Йемене. Ещё не было ни Афгана, ни Чечни, но «арабы» возвращались из командировок с боевыми наградами, советскими и иностранными. А иногда их доставляли в западных

цинковых гробах, которые устанавливали в актовом зале института для траурной церемонии.

До поры мне, вчерашнему десятикласснику, поступление в институт казалось чем-то вроде забавы, отвлечением от недавней неудачи со Строгановкой. Но когда захлопнулась железная дверь КПП, а меня переодели в курсантские шмотки, я испытал что-то вроде потрясения. Выяснилось, например, что наш институт не отыщешь ни в одном списке высших учебных заведений страны. Более того, из туманных намёков старшекурсников я уяснил, что ВИИЯ — одно из подразделений разведки, замыкающихся чуть ли не на ГРУ. Каких только языков не изучали в институте! Европейские — понятно, но были ещё индийский, амхарский, японский, китайский, фарси и даже иврит. Над институтом витал флёр таинственности. Кроме западного и восточного факультетов, был ещё факультет спецпропаганды, на котором учились только офицеры. Кого он готовил, я так и не узнал. Институт тогда руководил генерал-полковник Антонов по прозвищу Дедок — седовласый старик, герой многочисленных легенд, историй и анекдотов. В конференц-зале, куда собрали нас, первокурсников, он, хмуро взглянув на аудиторию, сказал: «Я заставляю вас изучать языки, даже если вы не захотите. Но, прежде всего, я сделаю из вас офицеров». Кто-то писклявым голосом спросил: «Языки для изучения можно самому выбрать?» Генерал пошарил глазами по рядам первокурсников: «Кто спросил?» — Встал тощий белобрысый парень, по виду маменькин сынок. — «Представьтесь!» — «Андреев Витя». — «Так вот, Витя, с этого момента всё в твоей жизни буду выбирать я. Старшины, утрите сопли этому воину!» Антонова любили и побаивались.

Кем я тогда был? Избалованный мальчик, окончивший престижную школу и возомнивший о себе бог знает что. А порядки в институте царили суровые, уже во время начальной подготовки нам дали понять, что «служба не мёд». Строевые и тактические занятия, марш-броски, кроссы в противогазах, плюс все радости казарменной жизни, где каждый твой шаг регламентирован. За полтора месяца из нас, гражданских пацанов, вышибли вольный дух. Когда начались занятия, положение не улучшилось. Увольнение в город раз в неделю. Если схватил двойку или нарушил дисциплину, сиди в казарме и не рыпайся. Изменились отношения между людьми. Гришка Снесарь, друг детства, едва ли не брат, в служебной обстановке держался со мной холодно и сухо. Спуску не давал. Правда, если наказывал меня за нарушение дисциплины, то и сам не ходил в увольнение. Караулы, дневальства,

наряды на кухню. Сколько я тогда перечистил картошки! Мне снились гигантские кастрюли с зеленоватой водой, в которой плавали очищенные клубни. А запаха!

Наконец всё потихоньку притёрлось, встало на свои места, мы вошли в служебный ритм. Основное — изучение языков. Военными предметами слушателей института особенно не терзали, разве что на кафедре оперативно-тактической подготовки, где преподавали седовласые мастодонты с армейской выправкой. Доставали занятия по физической подготовке, где среди прочего изучались приёмы боевого рукопашного боя. Сомнительное удовольствие получить во время схватки удар в промежность. Но случалось это нечасто.

Институт по статусу приравнялся к военной академии, три года в казарме, затем вольная жизнь, москвичи — дома, иногородние — в общежитии, которую именовали на западный лад «Хилтон». Нас и называли слушателями, а не курсантами. И всё же казарменные годы были скорее курсантскими, когда сплачивается боевое братство. Были и драки, и тёмные устраивали, и в самоволки отрывались ребята, не без того. Уже со второго курса каждый слушатель должен был сдать экзамены на права вождения автомобиля. Документ выдавался только во время командировок и после окончания института, всё остальное время он мирно лежал в сейфе начальника факультета. В этом ограничении была своя логика. Учитывая, что факультеты, особенно западный, состояли из сынков начальства, около института нужно было оборудовать специальную автостоянку. Слушатели бы приезжали на автомобилях, а преподаватели — на трамваях и автобусах. Непорядок.

Слушателей института английских языковых групп регулярно использовали в качестве бортпереводчиков. За пределами Союза все радиопереговоры с землей велись на английском, лётчики языка не знали, потому подсаживали нас. Летали в основном в Сирию и Египет. Режим: перелёт, отдых и назад, в Крым, Подмоскowie. Летали по гражданке, на самолётах Ан-12, Ан-22. Заграничными командировками такие полёты не считались, потому валюту нам не платили, перелёты над Турцией частенько сопровождались встречей с американскими «фантомами»...

Время, время... Неужели всё это было? Стоит мне закрыть глаза, как я вижу погружённую в сумрак улицу, голубые вспышки над дугами трамваев вдалеке, строй слушателей, грохот сапог по мостовой и вдруг ударяющая в небо молодецкая песня: «Генерал-аншеф Раевский сам сидит на Взгорье, в правой руке держит первой степени Егорья».

Что-то особенно шеголеватое есть в венецианских гондольерах, в их тельняшках с широкими полосами, соломенных канотье с красными и синими лентами. Осанка, точные, размеренные движения, тяжёлые янтарные капли соскальзывают с ласково поблескивающего весла...

Трудно изобразить на бумаге грацию гондольера, для контраста я делаю зарисовки слегка перепуганных туристов, рассеявшихся в гондоле. Да простят меня Гойя и Босх, я использовал их экспрессивную манеру. Почему-то особенно отвратительно выглядят нувориши из бывшего Советского Союза. Иные нанимают гондолы на два часа и, хлопнув «вискаря», гнусными голосами поют итальянские песни...

И опять бессонница, я увязаю в ней, как насекомое в янтарной смоле. С улицы ещё доносится приглушённый всплеск стекающей в утро толпы. Шелест шагов соединяется с отдалённым шелестом прибора. Люди освобождаются от моральных скреп, как бабочки от кокона. А вот куда такая бабочка полетит?

Где-то с месяц назад в Париже я слушал по телевизору проповедь Патриарха Московского и всея Руси. Кирилл сказал, что нравственность неизменна. С ним нельзя не согласиться. Между тем последние два столетия человечество только тем и занималось, чтобы изменить нравственность, придать ей более удобную для общества потребления форму. Дедушка Фрейд вертанулся бы в гробу, узнав, что его труды легли в основу сексуальной революции. Однажды на Бродвее я попал на феминистическую пьесу «Монолог вагины», говорят, что этот «шедевр» уже поставили в Москве. Человечество вплотную подошло к черте Содомы и Гоморры. И в горних высях уже копится водица, чтобы освежить землю новым всемирным потопом, а праведников, вроде Ноя, что-то не просматривается.

После окончания института Гриша получил назначение в Сомали, я – в Эфиопию. Военные переводчики – обслуга, технический персонал, низшее звено. Правда, даже крупных военачальников порой брала оторопь, когда ты свободно переходил с английского языка на французский и так далее. Но это вовсе не означает, что после завершения переговоров тебя пригласят за стол, скорее всего, ужинать придётся в компании адъютантов, пилотов самолёта, водителей, словом всё той же обслуги. Мне удалось повысить свой статус, я за пол-

года более-менее освоил амхарский язык, чем только осложнил свою жизнь. Теперь я был, что называется, нарасхват. Английский язык знают эфиопы, получившие образование в Европе или Америке, остальные говорят только на амхарском.

О том, где работает мой отец, полагаю, знали немногие. Ясное дело — комитетчики, возможно, главный военный советник — и всё. Особого отношения к себе не замечал, совали во все дырки, я хронически недосыпал, жил в убогой общаге для холостяков — «гадюшнике», кормился в столовке для военных советников. Обстановка в советской военной колонии была склочная, офицеров собрали со всего Союза, значимость человека определялась должностью, знанием и наличием чеков Внешторгбанка, среди офицерских жён шла постоянная грызня.

Аддис-Абеба — красивый город. Правда, несколько необычно видеть на площадях и улицах столицы портреты Ленина, Маркса, Энгельса, как в майские праздники в Москве. Новый режим декларировал строительство социализма, в городе полыхал «красный террор», людей расстреливали прямо на улицах. Трупы для устрашения подолгу лежали на тротуарах, улицы заполнили молодые вооружённые люди. Советникам, жившим с семьями на арендованных виллах, выдали «калаши» с полным боекомплектом. За вождение автомобиля в нетрезвом виде иностранцам грозил пожизненный срок, а пили в нашей колонии по-чёрному. Тезис, высказанный руководителем новоявленной республики: «При социализме не может быть прокажённых», обернулся тем, что власти закрыли часть государственных лепрозориев, больные хлынули на улицы, у светофоров совали в окна автомобилей изуродованные проказой руки, требуя денег. Страна жила тревожной жизнью. Не менее взрывоопасная обстановка складывалась и в Сомали, где служил Гриша Снесарь.

Ещё слушателем я стал писать заметки для институтской газеты, увлёкся фотографией. На день рождения отец подарил мне профессиональную фотокамеру со съёмными объективами. Навыкигодились. Я мотался по Эфиопии с делегациями, мои фотографии как-то даже попали в хронику ТАСС.

...Нередко добираться до Аддис-Абебы приходилось на перекладных: из Массауа вертолётom в Асмару, дальше — любым из бортов. Если борт эфиопский, нет гарантии, что пилоты не изменят маршрут и посадят самолёт на каком-нибудь военном аэродроме. Пару раз я куковал в Дебризейте, ночевал в пустой диспетчерской будке, на крышу которой с

лязгом садились грифы, а в зарослях джунглей поскуливали и взвизгивали гиены. Змеи заползали на плоскости самолётов и грелись на утреннем солнышке.

В декабре 1978 года под католическое Рождество я с трудом вернулся в столицу, машину за мной не прислали, пришлось ловить такси, до «гадюшника» доехал в сумерки, распахнул дверь своей комнаты и задохнулся от бешенства: на моей койке спал незнакомый мужик в форме советника. Мерзавец даже не потрудился снять ботинки. Рубчатая подошва сорок третьего размера тускло отсвечивала в свете бра. На стуле около койки лежал колыг сорок пятого калибра. Первая мысль — наказать прохвоста. Я потянулся к графину с водой. Незнакомец пошевелился, и голосом Гришки Снесаря ворчливо сказал:

— Только попробуй облить, морду набью.

Я стянул Гришку за ногу с койки, и некоторое время мы боролись, катаясь по полу, пока друг не провёл удушающий приём, и я беспомощно похлопал его по спине. Гришка сел, отдуваясь, глянув на меня, сказал:

— А ты ничего, бугай. Чуть руку мне не вывихнул. Так со старшими по званию не поступают.

— Это ты старший?

— Я. Кто же ещё? Давай обнимемся, вурдалак. Выпить у тебя, конечно, ничего нет.

— Откуда? Я с шести утра мыкаюсь по аэродромам. Сейчас схожу в маркет, тут рядом.

— Сиди. — Гриша встал, включил верхний свет. Я едва не ахнул: лоб друга рассекал рубец с красными точками снятых швов. На правой половине груди, над карманом форменной рубашки тускло отсвечивал орден Красной Звезды.

— Гриш, что это у тебя?

— Орден.

— На лбу, придурок.

— Зацепило под Харгейсой. Сомалийские доктора штопали. Без анестезии, суки.

Снесарь расстегнул молнию сумки, извлёк литровый бутылёк виски «Белая лошадь» и две банки консервов.

— Слушай, Григорий Иванович, тудыть твою в качель, как ты оказался в Аддисе. Глазам не верю.

— Всё просто. Турнули наших военспецов из Сомали. Ребята, кто уцелел, — по домам. А меня сюда на усиление кинули. Вы же тут ни хрена не справляетесь.

— Сволочь ты, Гришка. Небось уже старлейскую звездочку отхватил?

— Бери выше! Капитан.

— А почему я до сих пор лейтенант?

— Служишь плохо. У меня — досрочно. Стопарики у тебя есть?

— Есть, и содовая в холодильнике найдётся.

Мы просидели за бутылкой до трёх утра. За окном уже начали бубнить горлинки, с улицы доносился монотонный гул, я глянул в окно — по проезжей части медленно ползли крытые брезентом кубинские грузовики с боеприпасами. В пустыне Огаден и в Эритрее шли ожесточённые сражения с участием наших военных советников, нашей техники и подразделений кубинских войск, переброшенных в Эфиопию на кораблях советского Военно-Морского Флота. Наш ВМФ также был втянут в боевые действия в Эритрее, корабли артиллерийским огнём поддерживали наступательные операции эфиопской правительственной армии в районе порта Массауа. В ходе боёв в Массауа был высажен танковый взвод морской пехоты Тихоокеанского флота. Тем же летом на острове Нокра архипелага Дохлак был заложен пункт материально-технического обеспечения ВМФ для ремонта и оснащения наших подводных лодок и надводных кораблей, кроме того, в Асмаре была развёрнута военно-воздушная база, куда командировали меня на неопределённый срок.

За те месяцы, что мне были отпущены для общения с Гришей, я как бы заново узнал своего друга. Гришка и в школе, и в институте казался мне слишком уж правильным, ортодоксом, что ли. Он серьёзно относился к комсомольским поручениям, терпеть не мог анекдотов с политическим душком, учился истово, словно совершал некое священное действие. Гриша раньше меня вступил в партию, и, похоже, сознательно. Я понимал, что ему придётся пробиваться в жизни самому, у него не было такой поддержки, как у меня, и всё же...

Война в Сомали обожгла Гришу, но не выбила из колеи, ускорила его душевное развитие, обострила зоркость.

— В нашем королевстве, Петя, не всё благополучно, — говорил друг, сидя на скамейке в пыльном дворе «гадюшника». Комнаты офицерского общежития были нафаршированы «жучками», поэтому в нашей келье мы разговаривали только на бытовые темы. — Думаешь, руководители нашей страны не знали, что происходит в Сомали и Эфиопии? Хрена с два! На стол послу ежедневно ложились донесения, аналитические справки о положении дел. Всё это в отредактированном виде уходило наверх, в инстанции. А там — глухо. Как же, Сиад Барре и Менгисту строят социализм! Я — за социализм, но разумный. И вообще, хорошо бы сначала построить социализм в СССР, а потом кормить разного рода авантюрис-

тов. А когда жажнуло и в пустыне Огаден началось кровавое побоище, стали искать виноватых. На мох глазах сгорел в танке Лёвка Гриценко из первой английской группы... Давай фляжку, Петро, душа горит.

— Да тут всё на виду. Сдадут.

— Плевать я хотел. Амёбная дизентерия опасней. Я ведь не пил до поры, а как переболел этой мерзостью, стал прикладываться, помогает. Да-а, я поколесил по Сомали, красивая страна, народ отзывчивый, особенно те, кто победнее. Как, впрочем, и везде. Баскалия, пересохшие реки, банановые плантации, гигантские черепахи. Роскошные особняки в Могадишо, а рядом каменный век, дикая бедность. Представляешь, есть места, где на ланей ещё охотятся с луками и стрелами. Я не верю, что у нас, в Генштабе нет аналитиков, способных оценить военно-политическую обстановку на Африканском Роге. Но всё решают не они, а геронты.

— Геронты?

— Политбюро в полном составе с послушными министрами.

— Ты даёшь!

— Это не я даю, а они, Петька. Разве с самого начала было не ясно, что в Бербере нельзя строить нашу военно-морскую базу? Я ведь там был и всё видел. Взлётно-посадочная полоса для тяжёлых самолётов, система беспричальной подачи топлива на корабли и суда, грузовые терминалы, военно-морской госпиталь, дороги — миллиарды долларов! И что? Нас вышибли из Сомали, и теперь всё это богатство достанется сомалийцам. Не удивлюсь, если скоро там появятся американцы, они-то не спешили вкладывать деньги, зная, что регион нестабилен. Обидно, друг, давай по глоточку..

Я вспомнил, как однажды тётя Поля сказала: «Григорий ко всему так серьёзно относится, потому что хочет понять, дойти до сути. А тебе кажется, что ты всё уже понял и во всём разобрался. Это печальное заблуждение».

Да, она права, во мне ещё долго держалась инфантильность, и понадобилось глубокое потрясение, чтобы я наконец повзрослел. Бесед с Гришей было немного, но все остались в памяти, что называется, легли в строку.

Война в Эритрее набирала силу. В Асмаре был развёрнут советский медицинский отряд, укомплектованный военными врачами из госпиталя имени Бурденко и окружных госпиталей. Палаточный городок отряда вместе с мобилизованными эритрейскими госпиталями занимал несколько гектаров. В городе действовал комендантский час, после восемнадцати часов солдаты правительственных войск обстрели-

вали из пулемётов автомобили даже с дипломатическими номерами. На каждом перекрёстке стояли блокпосты: зелёные мешки с песком, защищающие пулемётное гнездо, траншеи, из которых торчали зелёные каски пулемётчиков. В Асмаре раньше располагалась американская авиабаза. После военного переворота сохранились парк самолётов, капоныры, общежитие для лётчиков и технического персонала, бар, казино.

Наши летуны обосновались в мрачной, красного кирпича казарме. Первым делом оборудовали русскую баню с шайками и берёзовыми вениками, которые доставляли бортами из России.

Асмара — город, построенный итальянцами на высокогорном плато. Белые, увитые бугенвиллией виллы, зелёные площадки для гольфа, рестораны, дорогие магазины. Я полгода прокантовался в этом городе-курорте, где днём в пивном баре можно было встретить руководителей Фронта освобождения Эритреи и полевых командиров, мирно потягивающих пиво, а вечером, передохнув, они выходили на тропу войны. При мне повстанцы сожгли ракетами два наших вертолёт Ми-8, парочку самолётов Ил-38 и повредили Ан-24. Эритрейцы на верблюдах подвозили ракетные установки, сделанные из блоков НУРС, и шмаляли по аэродрому. Поэтому мы ходили с личным оружием, а кто и с «калашами».

От того времени в памяти остались крупные, напоминающие ёлочные игрушки звёзды в чёрном африканском небе и дружеские застолья с лётчиками. И ещё — запах распаренных берёзовых веников. Командировки в Асмару считались чем-то вроде поощрения. Температура днём не поднималась выше двадцати пяти градусов, а горный воздух был настолько чист, что казалось, во рту лопаются ароматные пузырьки нарзана. Куда хуже было застрять в Массауа, на берегу Красного моря. В этом городе-порту ртутный столбик перемахивал отметку плюс сорок пять градусов в тени при абсолютной влажности. Прилететь с группой на несколько часов, — одно дело, а торчать месяцами — совсем другое.

В тот чёрный день я вернулся с архипелага Дохлак, точнее с острова Нокра. Жуткое место: раскалённая кочка в тёплом до приторности море. Единственное сооружение — развалины итальянской тюрьмы, построенной для особо опасных преступников ещё при Муссолини. Туда летели из Асмары на вертолёте над перевалом, затем над морем. Цель — группа специалистов ВМФ должна была произвести рекогносцировку для строительства пункта материально-технического снабжения наших кораблей.

Из рассказов Гриши Снесаря я знал, что Бербера в Сомали не сахар, и всё же это какой-никакой городок с первичными признаками цивилизации. Нокра — каменная столешница с тремя жалкими кустиками. Направить в такое местечко служить можно либо за серьёзные проступки, либо заманить валютой.

Назад возвращались с приключениями. Специалистам приспичило осмотреть в Массауа портовые сооружения и место водозабора пресной воды. На чудо-островке Нокра, в дополнение ко всем прелестям, не оказалось питьевой воды, и доставлять её придётся водолеями. Суэта у здания администрации порта не понравилась сепаратистам, и они для острастки дали по нас залп из миномётов. Нас спасло чудо. Замешкайся мы минут на десять, и членов группы рекогносцировки пришлось бы соскрёбывать со стен развалин. Из-за усилившегося миномётного обстрела мы минут сорок не могли вылететь на вертолёте в Асмаре. Наши морпехи дали ответный залп из танковых орудий, и сепаратисты затихли. Перелёт через перевал тоже особой радости не вызвал. Чтобы поднять настроение моряков, командир базы в Асмаре пригласил группу в офицерский клуб, где уже были накрыты столы. Мужики, ясное дело, оторвались по полной, чуть позже к компании присоединились эфиопские лётчики. Я не успевал переводить тосты. В самый разгар пьянки в зал протиснулся мой коллега Витя Леонов. Был он бледен, изрядно пьян, из кармана торчала бутылка виски.

— Петя! У меня для тебя плохое известие, — не без труда сложил он. — Сейчас позвонил дежурный по аппарату главного военного советника... На границе с Суданом сгорел наш вертолёт. Все погибли... Погиб и капитан Снесарь. Я знаю, вы дружили с детства. Возьми бутылку и выпей, я знаю — помогает. А я тебя подменю.

Я вышел в холл, выпил виски из горлышка и не опьянел.

Смерть Гриши обрушила у меня внутри целый мир. Навсегда исчез краснодарский двор с белёнными известью печками, водопроводной колонкой, приблатнёнными братьями Пашиными, командиром подводной лодки дядей Колей, старлицей Кубани, синими горами у горизонта, исчезли детство и юность.

Самое страшное было разбирать Гришины вещи. К счастью, их было немного, да и отправлять их было некому — у Гриши не осталось родственников. Вертолёт взорвался и сгорел на самой границе, обломки рухнули на территории Судана, обнаружить их не удалось, наверняка не очень-то иска-

ли, пришлось обойтись без «груза 200», ограничились имитацией похорон. А тут и меня беда задела своим чёрным крылом.

Я тогда в очередной раз застрял в Массауа. Сепаратисты сожгли на аэродроме вертолёт, у двух других выработался моторесурс, а может, лётчики не горели желанием пересекать кольцо блокады. Ходил слух, что у сепаратистов появились ракеты «земля—воздух». Желаящих покинуть Массауа становилось всё больше и больше. Раза два в месяц, иногда чаще, бронеколонна — бэтээры, бронемшины, грузовики — по горным дорогам пробивалась через линию фронта. Сепаратисты их почему-то не трогали. Я был оглушён гибелью Гриши, мне осточертел душный порт, где в воздухе витал сладковатый запах разложения, видно, не все трупы удалось вытащить из-под завалов, поэтому добивался, чтобы мне разрешили идти с бронеколонной, и всякий раз налетал на отказ.

Жил в брошенной итальянским миллионером фантастической вилле, напоминающей летающую тарелку, севшую на бетонных лапах в море. С берегом виллу соединял металлический трап с леерами, хозяин, видимо, слегка тронулся на страсти к кораблям, потому в этом странном сооружении были круглые иллюминаторы, вместо лоджии — подобие капитанского мостика, и даже антенна по форме напоминала корабельную мачту. Никелированные трапы спускались в море, место купания ограждено нейлоновыми сетками от акул.

Раньше на вилле жили советские врачи, работающие в местном госпитале по контракту. Вскоре ко мне присоединились два майора из главного разведывательного управления. Врачей эвакуировали спешно, в ванной на верёвке осталось висеть женское бельё, рождавшее эротические фантазии. Мы сатанели от скуки, по вечерам резались в карты. Город лежал в развалинах, начались перебои с водой и продовольствием, жизнь теплилась в двух-трёх магазинчиках и аптеке, принадлежавшей итальянцам, где за смешную цену можно было купить медицинский спирт. Итальянцам не приходило в голову, что спирт можно пить. Майоры наловчились ловить на наживку — тухлое мясо, нанизанное на крючок, огромных морских щук — барракуд и варили из этих чудовищ уху.

Наконец из Асмары прилетела вертушка, командированных в неё набилось под завязку. Мне досталось место на полу, рядом с оранжевым баком с топливом. Вертолёт с трудом оторвался от взлётно-посадочной полосы, и боком, накренившись вправо, пошёл на запад, медленно набирая высоту. Мне столько раз приходилось летать по этому маршруту, что я без

труда мог представить, что лежит там, внизу, за лёгкой рябью облаков: сначала зелёное предгорье с квадратами ячменных и кукурузных полей, затем рыжие, с серыми проплешинами скалы, рассечённые глубокими каньонами, дальше и совсем что-то лунное или марсианское, красное, сизое, голубое. В Асмаре нас ждала прохлада и ледяное бельгийское пиво. Я, по-видимому, засыпал, когда монотонный гул двигателя вдруг рассёк сухой треск, по левой ноге полоснула острая боль, стало трудно дышать, последнее ощущение — прилипчивый запах топлива, дальше — темнота. В себя я пришёл в светлой комнате, справа на никелированной подставке розовел на солнце пластиковый мешок капельницы. Казалось, я находился в невесомости, потому что доктор в маске и зелёном халате свободно парил надо мной, временами потоком воздуха его сносило в угол палаты, но он, загребая руками, снова подплывал ко мне. Какое-то время я не жил, а когда возвращалось сознание, моё бытие было наполнено однообразными действиями: меня переключивали на носилки, куда-то везли, потом, судя по звуку, перелёт и снова путешествие на поскрипывающей каталке. К жизни я вернулся только в палате армейского госпиталя в Аддис-Абебе. О том, что с нами произошло, рассказал мне сосед по морской вилле майор Коля Чумаченко. Наша перегруженная вертушка, с трудом преодолев хребет, поплелась на высоте значительно ниже, предусмотренной инструкцией. Тут по нас и резанули из пулемёта сепаратисты с одного из горных постов. Результат: один убитый, два раненых, пробит топливный бак. Хорошо ещё, пуля была на излёте, отверстие небольшое, и на остатках горючего удалось вертушку дотянуть до предместья Асмары. Коле перебило руку, но он быстро шёл на поправку, мне повезло меньше — сквозное ранение в грудь и огнестрельный перелом нижней трети бедра.

О том, что дела мои, как говорится, швах, я понял по тому, как забегал персонал. Меня перевели в реанимацию, чьи-то нежные руки приложили к губам пахнувший резиной рас­т­руб, в лёгкие стала затекать холодная, с острыми пузырьками вода. Палата заполнилась зелёным светом, впрочем, кажется, я лежал не в палате, а на дне бассейна, отделанном белым кафелем. Рядом со мной присел Гриша Снесарь, на нём было выгоревшее «хебе» и кирзовые сапоги. В такой форме в институте мы участвовали в тактических учениях.

— Ты не мандражируй, — сказал Гриша, поглаживая шрам на лбу, — там так же, как в жизни, только спокойней.

Гриша исчез, и всё пространство палаты заполнили отвратительные мохнатые пауки, они бегали по моему рас­прос-

тёртому телу, я ощущал уколы их острых коготков. Затем беспамятство, темнота, даже не темнота, как бы серая предрассветная муть, наполненная надоедливym, монотонным гулом. Нет, я не видел ни чёрного туннеля, в конце которого голубело круглое отверстие, не испытал ощущения полёта и понял, что умираю, по снизошедшему на меня покою и чувству абсолютной свободы. А когда я очнулся в реанимационном отделении Центрального военного госпиталя имени Бурденко, первое, что испытал, — сожаление — жизнь возвращалась ко мне. Я быстро поправлялся, но во мне ещё долго жило нежелание жить. Меня перевели в одноместную палату для тяжёлых больных. И всякий раз, выныривая на поверхность медикаментозного сна, я видел перед собой усохшую, согбенную фигуру тётки Поли, реже — отца в белом халате и не испытывал к ним никакого чувства. Нас разделяло нечто.

В Москве стояла влажная духота, в открытую форточку залетал тополиный пух и рыхлой мышиной массой копился в углах палаты. Я постепенно возвращался к жизни, с обострённой зоркостью наблюдал за тем, что происходит в травматологическом отделении. Рана в груди зажила быстро, а вот бедро доставляло немало неприятностей. Огнестрелов в ту пору в госпитале было мало, я оказался в центре внимания. У меня через день дежурила тётка Поля, заезжал отец, говорили мало, однажды появился генерал — начальник госпиталя, с ним ещё два генерала, и мне прямо в палате вручили коробочку с орденом Красной Звезды. Внешне я выздоравливал, шустро скакал на костылях по госпитальному парку. Меня даже стали волновать молоденькие сестрички, у которых из-за жары под халатами почти ничего не было надето. Во время обхода начальник отделения краснолицый, грузный полковник Рябченко гудел:

— Молодец, Петька! Раз сёстрам стал под юбки заглядывать, значит, дела идут на поправку. И ешь, ешь больше. Не будешь жрать, велю клистир поставить, да не простой, а слоновий.

Рябченко всем больным говорил «ты», нередко взбадривая матерком. Позже я узнал, что он воевал во Вьетнаме.

И всё же я стал как бы другим человеком, фантомом, что ли, у меня в том месте, где должна помещаться душа, зияла дыра с опалёнными краями. Меня не беспокоило пробитое лёгкое, да и нога стала заживать, а вот в образовавшейся за грудиной пустоте поселилось тупое, холодное равнодушие. Как жить дальше, я не знал. Одно ясно, меня комиссуют. Кому нужен хромой переводчик? И служить я больше не хотел. Снова участвовать в «неизвестных» войнах? Во имя чего? Гриша был прав: правители страны утратили ясность ума и

потеряли контроль над ситуацией. С отцом я на эти темы не говорил, он курировал в ЦК лёгкую промышленность, но, как ни крути, всё равно был функционером со Старой площади. А тут ещё меня навелит однокашник по институту Гоша Симонян. Гоша из «арабистов», заканчивал Академию Советской Армии, готовился стать разведчиком. Мы, укрывшись в одном из уголков госпитального парка, распили бутылку армянского коньяка, разговорились.

— Вокруг Афганистана началась нездоровая возня, — сказал Гоша. — Есть информация, что американцы хотят в Афгане установить в горах ракеты, чтобы контролировать значительную часть нашей территории. Если так — то это война. Всё это выглядит очень странно. Я дважды побывал в командировке в Афганистане. Наши границы почти не охраняются, афганские и наши пограничники ходят друг к другу в гости чай пить. Да и американцам на хрен это нужно? Их баллистические ракеты и так на наши объекты нацелены, а в Афгане можно запросто увязнуть. Англичане едва унесли ноги. Нет, нам не нужна эта война. Говорю это не потому, что мне светит Афган. Зачем воевать с соседом, который к тебе хорошо относится?

Сколько раз потом я буду вспоминать этот разговор. Вскоре началась война, Гоша угодил в самую мясорубку и вернулся в родной Ленинанкан в виде «груза 200». А затем небо над Афганом и вовсе померкло, солнце затмили крылья транспортных самолётов с поэтическим названием «Чёрный тюльпан», развозящих по всей стране гробы с русскими парнями, до конца выполнившими свой «интернациональный долг».

Я провалялся в госпитале два месяца.

За неделю до выписки в коридоре отделения налетел на полковника Рябченко. Глянув на меня из-под рыжих лохматых бровей, полковник заорал:

— Петька! Почему на костылях?

— Мне что, на одной ноге скакать?

— Не хаами! Машка, отбери у этого разгильдяя костыли и дай палку. Выбери самую кривую. А теперь слушай, хлопчик! Хочешь, чтобы нога разгибалась, — ходи, разрабатывай. Будет больно, терпи. Ясно? Я тебе записку дам моему корешу, он светило в ЦИТО, олимпийских чемпионов на ноги ставит. Через месяц после выписки хромай к нему. А теперь сгинь с моих глаз.

Теперь-то я понимаю, меня, как и многих, сломала война. Вернувшись домой, я увидел жизнь другими глазами и ока-

заялся не готов к этой жизни. А ведь я был защищён лучше других «африканцев», жил в прекрасной квартире в центре Москвы, и мне не нужно было заботиться о куске хлеба. Оказалось, важнее хлеба насущного то, что внутри, а там было пусто. Я словно сорвался в пропасть, летел в пространстве, ожидая удара об острые края скалы. Война преследовала меня в снах, видениях, воспоминаниях — ярких, отчётливых, фрагментарных.

Я пробовал пить водку — не помогло, кошмары и вполне реальные видения продолжали преследовать меня. И тогда я стал рисовать, переносить весь этот бред на бумагу и сразу же почувствовал облегчение. Я работал в смешанной технике: тушь, перо, карандаш, пастель — всё это ложилось на заранее нанесённые акварельные пятна. Из пёстрого хаоса начинали проступать гавань Массачусеттс, в которой тонул дымящийся вертолёт, а справа от причала, задрав к небу ржавый киль, лежала на боку королевская яхта. Особенно часто повторялся мой автопортрет в полукружии прицела крупнокалиберного пулемёта.

Миновала тихая осень, за ней серенькая бесснежная зима, а вот весна вышла бурная, с обвальными дождями, громовыми раскатами и буйным кипением сирени.

Осень и зиму просидел дома, выбираясь на редкие прогулки. Отец купил мне велотренажёр, и я ежедневно совершал велогонку тур де Франс в нашей квартире с обшитыми дубовыми панелями стенами. Иногда от боли темнело в глазах.

Тётя Поля подарила мне элегантную трость, какие были в моде у щёголей в начале века. Трость принадлежала её отцу. По легенде, это произведение искусства, изготовленное в Берне (есть табличка), доктору Морозову преподнёс сам красный нарком Семашко.

Меня комиссовали, районный ВТЭК отвалил третью группу инвалидности и назначил смехотворную пенсию. Тяжело ощущать себя инвалидом, когда тебе нет и тридцати. Папка с рисунками распухла, бредовые видения отошли в сторону и лишь изредка напоминали о себе. Я пробовал рисовать карикатуры, отобрал несколько листов и отнёс в «Крокодил». Меня принял рыжий парень в клетчатой рубашке и заношенных джинсах, назвался Димой. Он быстро просмотрел рисунки, пощёлкал пальцем по пухлой, отвисшей губе и изрёк:

- Клёво! Без дураков! Учился где?
- В инязе.
- Оп-она. Английский? Французский?
- И то и другое. Я — военный переводчик.
- Фельетоны пишешь?
- Не пробовал.

— Короче, твои карикатуры я сейчас сволоку в главное, жди звонка.

Честно говоря, я не верил в удачу, но на другой день в десять утра зазвонил телефон. Звонили из «Крокодила», и весёлый женский голос спросил, не мог бы я по возможности срочно приехать в редакцию на беседу с заместителем главного редактора журнала.

Я вызвал такси и минут через тридцать был в приёмной. Заместитель главного, человек средних лет, поздоровавшись, спросил:

— Давно рисуете?

— С детства. Попытался поступить в Строгановку — прокатили. Стал военным переводчиком.

— Бывает. — Заместитель главного показал на трость доктора Морозова: — Бытовая травма?

— Скорее, боевая. Командировка в Эритрею. Там война.

— Понял. Это не повредит нашему творческому сотрудничеству. Словом, мы хотим предложить вам работу, пока внештатную. Курьер будет доставлять вам редакционное задание, забирать сделанное. Так что вам не придётся мотаться по Москве с раненой ногой. А там посмотрим. Как?

— Я-то согласен, а вот получится ли?

— Получится. Рука у вас есть, и глаз острый. Подзаголовки к тексту, фельетоны будет сочинять Дима Барышев. Вы встречались, рыжий такой. Вы работаетесь.

Домой я вернулся в приподнятом настроении. Тётя Поля готовила отца в командировку — в гостиную посапывал уют. Отец, видно, только из душа, с влажными, зачёсанными назад волосами просматривал газеты. Глянув на меня, с удивлением спросил:

— Что это ты светишься, сын? Влюбился?

— Какое там. Взяли внештатником в «Крокодил», художником-карикуристом.

— Значит, профессия всё же нашла тебя. Я как-то в твоё отсутствие просмотрел твои рисунки, я мало что понимаю в графике подобного рода, традиционный реализм мне ближе, но твоя экспрессивная манера производит сильное впечатление, а это один из признаков таланта... Сегодня я улетаю в ГДР, вернусь дня через три. Я к чему? Ты теперь художник, тебе нужна мастерская, да и вообще человек взрослый... Гости, наконец, женщины. Как говорят у нас в аппарате, «есть мнение» выделить тебе небольшую квартирку. В управлении делами мне сказали, что удобный вариант купить кооператив, желательно в обжитом районе и с выплаченным паем. Сбережения у нас есть.

— Я два года проработал в Африке, и у меня накопились чеки Внешторгбанка.

— Пригодятся. Короче говоря, завтра тебе позвонит Леонтьев Николай Иванович, поедешь с ним, согласишься на однокомнатную квартиру в Учебном переулке. Это в Хамовниках. Жить по-прежнему будешь дома, в Хамовниках — мастерская.

— Отлично.

Леонтьев — улыбчивый полный человек лет пятидесяти, состоящий из приятных окружностей. Неброский дорогой костюм, галстук спокойных тонов, швейцарские часы. Говорил, по-вологодски окая:

— Однушка в тихом, спокойном месте. Из шумов — перезвон колоколов на колокольне Новодевичьего монастыря и ещё, когда кричат болельщики на стадионе в Лужниках. Квартирка после ремонта. Прежний хозяин — дипломат из погорельцев. Работал во Франции, запутался с женщинами, ну его и турнули... Служил в мидовских структурах, простили, оформил брак, и его направляют секретарём посольства в ЮАР. Однокомнатная секция отделана на западный манер, импортная сантехника, электрокамин. Что-то вроде студии. Можно, конечно, всё переделать, но под мастерскую художника, мне кажется, помещение подойдёт.

Когда несколько лет спустя я оказался в Париже, то окончательно уверовал в Судьбу: моя однокомнатная квартира в Учебном переулке представляла уменьшенную копию роскошной парижской студии Одиль Дюран на рю Лафайет.

Я как-то быстро адаптировался к жизни свободного художника. Внештатная работа в «Крокодиле» давала кое-какой заработок, на оставшиеся чеки Внешторгбанка купил «Жигули» специальной сборки, бензин в ту пору был баснословно дешёв, а столовался я по-прежнему дома. В мастерской ночевал, когда появлялась очередная подружка. На даче в Архангельском бывал редко, много работал, папка с рисунками распухла. Несколько угнетало творческое одиночество; художнику, особенно начинающему, нужна среда. Официальное искусство, исповедующее социалистический реализм, отвергло меня, но существуют же и другие художники, авангардисты. Конечно, я слышал о разгоне Хрущёвым выставки ХХХ лет МОСХ в 1962 году. Знал о «бульдозерной» выставке, художниках лианозовской группы, о нашедшей «двадцатке» — объединении московских художников-авангардистов. Но как попасть в их среду? Просто так, с улицы к ним не придёшь. К тому же началась активная борьба с диссидентами, неконформистами, «подпольными» литераторами. Интеллигентам повсюду мерещились опера

КГБ. И тут я вспомнил Костю Лялина. Мы не виделись с того момента, как я провалился в Строгановку. Я решил навестить бывшего одноклассника.

Сумрачный дом на Дорогомиловке стал ещё мрачнее. Лифт не работал. Я забрался на пятый этаж, нажал пуговку новенького звонка, дверь открылась сразу, словно меня с нетерпением ждали. Костя Лялин в голубом блейзере, светлых брюках, но в шлёпанцах и мятой несвежей рубашке с изумлением уставился на меня. Был он, похоже, после крепкого боудна, лицо серое, под глазами мешки.

— Т-ты кто? — с трудом сложил он.

— Не узнаёшь одноклассника, Костя?

— Во, блин, Семёнов?

— Ну!

— А палка зачем?

— От комаров отмахиваться.

— Комаров? Не замечал. Заходи, чего стоишь? — И вдруг лицо одноклассника высветилось радостью. Лялин порывисто обнял меня и, дыхнув перегаром, сказал: — Тебя бог послал, дружище. Слышал, ты в инязе учился?

— Было такое. И что?

— Языки знаешь?

— Французский, английский, как свой родной. Немного знаю амхарский.

— На хрен а-амхарский! На английском как?

— Я же сказал: свободно.

— Спасай, друг! Сейчас ко мне американец придёт, важный клиент. В смысле — покупатель. Хочу ему пару картин втюрить, а я в английском ни бум-бум. Нанял переводчика, а он заболел. Ну? Садись, выпьем... Всё равно теперь. Вчера в «Национале» бухали... Половины не помню... Какие-то бабы...

Мастерскую, в которой я побывал восемь лет назад, не узнать. Зал после добротного ремонта, оконные стёкла вымыты, на стенах картины, в центре мастерской стеклянный журнальный столик на никелированных ножках, рядом современные креслица — солидная галерея солидного художника и коллекционера. Чудеса, да и только.

Костя перехватил мой взгляд, поплыл в улыбке:

— Ну и как?

— Здорово.

— Повезло мне, дружище. В группу взяли — вождей малую и всякую там лабуду. Халтурка клёвая. После Строгановки я на конфетной фабрике отирался, «Красном октябре». Фантики сочинял, дизайн-мизайн. Выручил Фёдор Константинович.

— Кто это?

— Бывший любовник матери, портретист. Его внесли в список художников, утверждённый в ЦК. Избранные, блин! Только им разрешалось портреты руководителей партии и правительства малевать. Карла-Марла, Ленин, ну и всё Политбюро. Оформление майских праздников, ноябрьских, ну и госзаказы — золотое дно. Фёдор Константинович месяца полтора меня натаскивал и представил какому-то чмуру на Старой площади. А что? У меня анкета, Суслов позавидует. Взяли, короче. Не поверишь, в Союз художников приняли, мастерская теперь на мне. Но всё это фуффло, в основном я картинами торгую. Русский авангард у иностранцев идёт на расхват, а у меня галерея забита набросками и картинами художников-авангардистов. Фёдор Константинович всех знал, со многими дружил, а как помер, мне всё это богатство оставил. Врубаешься? Официально, по завещанию. Одинокий был старик.

— Погоди, а где твоя мать?

— Мамаша за финна замуж вышла и уехала в Турку. Финн богатый, яхты, катера строит — свои верфи, завод. А в свободное время пейзажики пишет, любитель. Пошли, дёрнем коньячку, башка после вчерашнего гудит.

— Ты же клиента ждёшь.

— Хрен с ним. Ты языка не знаешь, я не знаю. Какой разговор?

— Ты что, спятил? Я свободно говорю по-английски.

— Прости, старик. Забыл, тебя Юра зовут?

— Зови меня Васей, придурок. Пётр я, на одной парте сидели. Совсем ум пропил?

— Ладно, не обижайся. Ты как хочешь, а я выпью.

Кухня блистала чистотой. Новая газовая плита, японская кофеварка, набор посуды явно из комиссионного магазина.

После рюмки коньяка глаза у Лялина на какое-то время прояснились, лицо приняло осмысленное выражение.

— Да, дружище, похоже, я в штопоре, запой. — Костя внимательно посмотрел на меня и совершенно трезвым голосом спросил:

— Ты меня просто так навестил или у тебя есть какой-то свой интерес? Что-то не пойму. Надеюсь, ты не из органов?

— Остынь, я обычный переводчик. Интерес есть. Я, похоже, всерьёз занялся графикой. Хотелось бы показать кому-нибудь мои работы, побывать в мастерских художников, желательнее современных авангардистов. Я же никого не знаю, а ты крутишься среди них.

У Кости посветлело лицо.

— Договорились. Эх, Петька, ты в десятку попал, я тебе покажу художественную Москву, не парадную, а с изнанки, но покуролесить придётся. Авангардисты народ независимый и пьющий.

Американец, к счастью, не пришёл.

Покуролесили мы с Костей, что называется до зелёного змия. В конце нашего блуждания по мастерским авангардистов Лялин загремел в Кашенко, а меня тётя Поля неделю отпаивала молоком и куриным бульоном.

Где мы только не побывали! Поначалу осели в мастерской Дмитрия Павлинского. Мастерская помещалась неподалёку от ресторана «Пекин» в подвале дома, что на углу улицы Красина и Садового кольца. В центре мастерской стояло огромное дерево, доставленное из Подмосковья на грузовике. На опиленных ветвях висели старинные хомуты, конские сбруи, уздечки, коровьи ботала, колокольчики различных размеров. На подкрашенной коре дерева прилеплены яркие бабочки, высушенные жуки, ящерицы, скаты, змеи. В затемнённом углу торчком стояла кость мамонта. На стенах картины автора, между ними развешаны черепа собак, кошек, горных баранов. Всё это издавало острый, гнилостный запах. На полу лежало грубо отёсанное бревно, на нём пили, закусывали. Одну из стен мастерской украшали старинные царские ворота, изъеденные шашелем до кружевной тонкости. Ворота художники спёрли в каком-то северном заброшенном монастыре. Публика в мастерской собиралась разная: художники нонконформисты, уличные алкаши, писатели, какие-то экзальтированные дамочки. Являться в этот клуб по интересам следовало с водкой и нехитрой закуской.

В первый же вечер я познакомился с другом хозяина мастерской детским писателем. Звали его, кажется, Гена. Писатель был пьян и доверительно сообщил мне:

— Галлюциногены — чепуха. У меня после «Ребёновки» видения — Босх позавидует. Краски — обалдеть.

— Что это за «Ребёновка»?

— Спирт из-под законсервированных человеческих вибрионов. Грандиозная штука, у Димки спроси.

— Где ты берёшь этих... вибрионов?

— Я же в Зоологическом музее работаю. Там этого добра хоть отбавляй.

В мастерской постоянно можно было встретить здорового мужика в рваном пальто, надетом прямо на голое тело, солдатских кирзовых сапогах. За пазухой — маленькая собачка, её чёрная мордочка то исчезала, то появлялась вновь.

На бревне частенько сиживал граф Шереметев. Спившийся инженер и в самом деле был дальним родственником исторического персонажа. Тип яркий, из горьковской пьесы «На дне». Говорить не мог, только сипел в трубочку, вставленную после операции в гортань. Общался он с помощью карандаша и блокнота. Заглядывал к Павлинскому полуслепой художник Владимир Яковлев, постоянно живущий в интернате при психиатрической больнице. Отоваривались в угловом гастрономе. Каждый день в одиннадцать часов в очереди за водкой можно было встретить всю гоп-компанию.

Побывал я в «Лианозовской» группе художников-нонконформистов, в мастерской Эдуарда Дубицкого, что помещалась на чердаке жилого дома на Смоленской. В центре мастерской висела огромная картина «НЛО», производящая жутковатое впечатление. Дубицкий руководил независимым профсоюзом художников, графиков, фотографов, впоследствии реорганизованном в Творческий союз художников России. Маститый художник доброжелательно отнёсся к моей графике.

— Очень недурно и ново. Какой-то особенный взгляд на современную войну. Вам приходилось воевать в Африке?

— На спусковой крючок не нажимал, я военный переводчик, но в острых ситуациях бывать приходилось, был тяжело ранен.

— Я переговорю с руководством, осенью проведём вашу выставку в доме на Малой Грузинской, там, где жил Володя Высоцкий, потом примем в наш независимый профсоюз художников. Время такое, что нужно где-то состоять, не то обвинят в тунеядстве.

Когда мы скатились с чердака, Лялин сказал:

— Видишь, Петя, всё складывается неплохо. Дубицкий — в авторитете. Он и с Министерством культуры ладит, и своим мужикам помогает. Выставиться в подвале на Малой Грузинской очень престижно. Тем более выставку легализовали, разрешили афиши развешивать. Народ валом валит, очередь по несколько часов стоит. В марте семьдесят девятого года там состоялась вторая выставка «20 московских художников». Наряд милиции дежурил.

Пожалуй, самое сильное впечатление на меня произвёл художник Вячеслав Калинин и его работы: «Две музы», «Привал музыкантов», «На яхте», «Натюрморт с грушей». Свою творческую манеру Вячеслав назвал «алкоголическими элегиями». Его мастерская размещалась в бойлерной во дворе дома, где в подвале гудели под священным деревом гости художника Дмитрия Павлинского. Калинин внима-

тельно просмотрел мои работы, сходил в глубину бойлерной, где что-то шипело и посвистывало, принёс начатую бутылку водки, разлил по стаканам, сказал, поглаживая аккуратную бородку:

— Давайте, мужики, выпьем за рождение настоящего графика. Талант у тебя, Петя, есть, но реализовать его в нашей стране будет трудно. Толе Звереву повезло — его в Париже выставили. Нарасхват идёт. Надо бы тебя с ним познакомиться, да он в больнице, из запоя выводят. Да ещё в вырезвители отметили, рёбра сломали. Я его вчера навещал, весёлый, стихи стал писать, вроде: «Я кристален, как Сталин, и чист, как чекист... — Калинин глянул на часы: — Вот что, братцы, пошли к Димке, у него очередной сабантуй намечается.

Сабантуй был в самом разгаре. Посреди мастерской вокруг бревна плясал узкоглазый дворник по национальности манси. Он дико вскрикивал и шлёпал себя по тощим бёдрам. Дворник тоже был художником, рисовал натюрморты, подражая старым фламандцам. В углу в позе Будды сидел безмянный мужик в драном пальто, на коленях его спала крохотная собачка. Присутствовали, конечно, граф Шереметев и детский писатель Гена, автор галлюциногенного напитка «Ребёновка». Среди этой публики я с изумлением увидел соседа по подъезду дома в Учебном переулке Мишу Чудновского. Миша жил этажом ниже. Я как-то помог ему вынести на носилках мать, за ней приехала скорая, гипертонический криз, а фельдшер, врач и даже водитель — женщины.

Миша преподавал в МГУ. Когда сабантуй перерос в нечто, схожее с шабашем, Чудновский подошёл ко мне и сказал:

— Мне кажется, сосед, пора линять отсюда. Скоро околочный явится.

— Пожалуй. — Я поискал глазами Лялина, тот мирно спал в обнимку с костью доисторического мамонта.

Стояли сумерки. Недавно прошёл дождь, мостовые лаково блестели, в лужах отражались огни реклам, бронзовый поэт сумрачно размышлял о «планах грамодье», которым не суждено было сбыться.

Чудновский сказал:

— Не хочется спускаться в метро, у меня до сих пор щиплет глаза от табачного дыма. И потом этот запах... Может, пройдемся до Охотного ряда? Дождь вроде кончился.

— Пошли, — согласился я, прикидывая свои возможности, я впервые передвигался без палки.

— Вы всерьёз интересуетесь авангардом? — спросил Михаил.

— Как вам сказать? Я занимаюсь графикой, точнее, пытаюсь заниматься. Работаю в манере, далёкой от социалистического реализма. Нонконформисты мне ближе, хотя и у них я не всё понимаю. Ближе всех Вячеслав Калинин. А вас-то, Михаил, каким ветром занесло на экзотическое горьковское «Дно»?

— Я филолог, изучаю неформальную лексику, жизнь и развитие современного русского языка. Сейчас исследую сленг живописцев.

— Интересно! Неужели так много сленгов?

— Ну что вы! Язык, и прежде всего русский, — живое дерево. Часть ветвей отмирает, часть остаётся, пополняя языковую память. Есть сленг лагерный, есть молодёжный, есть спортивный, морской, музыкантский, существует сленг гробовщиков, валютчиков, фармазонов. Представьте, есть даже сленг театральный и цирковой. Языковая стихия, половодье. Я пишу что-то вроде монографии по этой теме, хотя и не уверен, что её удастся опубликовать.

— Что касается сленгов, я могу добавить сленг военных лётчиков. Я почти два года прослужил в Эфиопии, такого наслушался. В экстремальных ситуациях словотворчество носит интенсивный характер.

Я с усмешкой вспомнил прапора Гришу Клопова, вот уж кто был мастером по части неформальной лексики.

— А как вы оказались в Эфиопии? Там же война.

— Я военный переводчик, после ранения уволен бессрочно. Инвалид третьей группы.

Перспектива улицы Горького напоминала акварель на мокрой бумаге: расплывчатые огни уличных фонарей, пёстрые пятна подфарников автомобилей, струящиеся квадраты освещённых витрин магазинов и слитая, серо-чёрная масса прохожих, напоминающая гусеницу-многоножку.

— А как вы относитесь к литературе? — спросил Чудновский.

— Я читатель. Знание языков позволяют читать английскую и французскую классику в подлиннике. — Я нерешительно рассмеялся. — И ещё стихи пописываю.

— Вот как? И кто из поэтов вам нравится?

— Ранние обериуты... И конечно же, Гумилёв.

— Николай Степанович Гумилёв? Где же вы раздобыли его сборники?

— У моей тёти небольшая, но хорошо подобранная библиотека. В основном поэзия, дореволюционные издания. Саша Чёрный, Иннокентий Анненский, Георгий Иванов, Кузьмин, Ходасевич, Бунин, Бальмонт...

Чудновский остановился и восторженно произнёс:

— Надо же, как вам повезло. Послушайте, Пётр, по субботам, вечером у меня собираются начинающие литераторы. Обычно человек пять—шесть. Нечто вроде неформального литературного кружка. Посидите, послушаете, станет скучно — квартира рядом. Вас это ни к чему не обязывает.

Я всегда сторонился литературных посиделок с занудным чтением стихов, поэтому ответил неопределённо и вряд ли бы посетил Чудновского, не случись одного обстоятельства. Пропал Костя Лялин. На звонки не отвечал, мастерская была заперта, на стук в дверь никто не реагировал, соседи ничего о нём не знали. Дней через десять в профсоюзе художников мне сказали, что Лялин повторно загремел в Кашенко с белой горячкой. Я кинулся в это печальное заведение, заведующий отделением сначала темнил, потом всё же сказал, что по решению суда Лялин направлен на принудительное лечение от алкоголизма. Об этих колониях для алкоголиков ходили разные слухи. Костя Лялин навсегда исчез с лица земли. Поговаривали, что кому-то понравилась его мастерская... Так я оказался в кружке Чудновского.

5

У Чудновского сходились с обязательным соблюдением конспирации: группами в подъезд не заходить, не звонить, не стучать — дверь не заперта. По официальной версии — в квартире собираются начинающие прозаики, поэты, словом, что-то вроде литературного кружка. Мне вся эта конспирация казалась детской игрой, да и сборище особенно не привлекало, но нужно было себя куда-то деть, пьяные застолья в мастерских художников стали надоедать.

Собирались у Чудновского обычно студенты-филологи из университета, где он преподавал, заглядывали на огонёк профессора и доценты. Обстановка непринуждённая, мать Чудновского, Мария Васильевна, обносила кружковцев чаем, на столе стоял поднос с бутербродами. Я редко участвовал в обсуждении рукописей, отмалчивался, слушал других. Как я ни был тогда наивен, всё же не мог не отметить, что занятия кружковцев не столь уж невинны. По сути, квартира Чудновского стала чем-то вроде перевалочной базы, откуда распространялась запрещённая и самиздатовская литература: отпечатанные на дешёвой бумаге книги Солженицына, Максимова, Зиновьева, Владимова, подборка стихов Бродского, ещё каких-то неизвестных мне поэтов. Как-то на заседании литературного кружка появилась изящная брюнетка, не кра-

савица, но столько в ней было естественности, столько обаяния, что с меня мгновенно слетела сонная одурь. Говорила она на таком правильном русском языке, что я сразу заподозрил в ней иностранку. Так и оказалось, Одиль Дюран представляла в нашей стране популярную французскую газету «Ле Монд».

Вышли на кухню покурить. Мария Васильевна тотчас деликатно удалилась, прихватив поднос с бутербродами.

— Интересно? — спросил я.

В чёрных продолговатых глазах Одиль вспыхнули смешинки. Что-то в ней всё же было восточное, татарское или персидское.

— О, нет! Всё, что здесь говорят литераторы и историки, давно известно и опубликовано, я заметила, что вы тоже скучаете?

— Верно.

— Вы... кум?

— Простите?

— Так у вас, кажется, называют сотрудников госбезопасности, которые надзирают за диссидентами.

— Боже упаси. Я военный переводчик, пишу плохие стихи, занимаюсь графикой и вообще — дурью маюсь.

— Как интересно! Маяться дурью — неологизм?

— Послушайте, я живу этажом выше. У меня в холодильнике бутылка водки и банка икры из цёковского распределителя. Ваш вклад — сигареты. Кажется, «Голуаз»?

— О, да.

— Посидим, выпьем. Я покажу вам свою мазню. Обещаю, стихов не читать и к вам приставать не буду. Клянусь!

— Почему не приставать? Я не нравлюсь? — Одиль улыбнулась, у её губ возникли милые морщинки, которые потом я так любил целовать.

— Да как-то неловко.

— Неловко любить женщину на потолке. Будет сваливаться одеяло. Так ведь у вас шутят?

Нам незачем было любить друг друга на потолке. У меня была прекрасная итальянская софа, оставшаяся от прежнего хозяина. Мы выпили бутылку водки, съели икру с поджаренным хлебом. Ни я, ни Одиль ночью не сомкнули глаз, глушили кофе, курили на лоджии. Небо стало розоветь, на деревьях возились и простуженно каркали вороны. Утром, когда совсем рассвело, Одиль поцеловала меня в рубец у колена и сонно сказала:

— Если на тебя надеть доспехи, то ты будешь русский воин. Русский воин на Куликовском поле. Пока ты плескался и

пел в ванной пошлый романс, я посмотрела твою графику — она превосходна. Я кое-что возьму для французского арт-журнала. А стихи — дрянь. Поклянись, что больше не будешь писать стихи.

— Клянусь!

— Тебе нужно писать эссе так же, как ты рисуешь, точно, ёмко и... символично.

К этому моменту я любил в Одиль каждую клеточку, каждый волосок. Я поцеловал её в глаза, она зажмурилась, тихо засмеялась и, мягко толкнув меня ладошкой в грудь, прошептала:

— Всё, спать. Как хорошо, что сегодня мне не нужно в агентство и шеф не знает, где я сейчас. Я и сама не знаю.

Одиль положила мне голову на плечо и мгновенно заснула. Я не спал, боясь пошевелиться, потревожить её сон.

Одиль вернула меня к жизни. До неё я ничего не боялся, ничем не дорожил, как бы утратив инстинкт самосохранения, теперь же больше всего на свете боялся потерять её, и страх этот вырос до размеров фобии. Я уже немного знал о ней. Отец — француз, владелец текстильной фабрики, мать — русская, из эмигрантов первой волны, внучка инженера-путейца. Родители погибли в автокатастрофе в Нормандии. Закончила Сорбонну, была «слегка» замужем, муж — журналист, оказался бисексуалом, выгнала.

Наши отношения развивались стремительно. Под её влиянием я за короткое время совершил эволюцию от увлечения Рембо и Лоркой до зарождающихся куртуазных маньеристов и соцарта. Как у меня не снесло башню, удивляюсь. Я спал по четыре часа в сутки, был постоянно возбуждён, и жизнь была наполнена одним — ожиданием Одиль. Тётя Поля, частенько навещающая мою «мастерскую», поглядывала на меня с тревогой. Отца я видел редко, его сделали начальником сектора, и он мотался по новостройкам. Отец сильно сдал за последнее время, огруз, под глазами набрякли полукружья. Его в принудительном порядке направили в подмосковный санаторий, через неделю он оттуда сбежал. Единственное развлечение — охота в Завидове, на отстрел кабанов его брал с собой дряхлеющий генсек.

К Чудновскому я перестал ходить. Как-то Михаил остановил меня на лестничной площадке:

— Ты почему не появляешься?

— Не до того, Миша. Устраиваюсь на работу, взял переводы, то-сё.

— Про то-сё догадываюсь. Как там поётся: «Нас на бабу променял!» Имей в виду: литература — дама обидчивая!

— Да какой из меня литератор?

Я тогда легко, убедительно врал, при этом меня совершенно не мучила совесть. Мария Васильевна почему-то перестала со мной здороваться.

У Одиль переменчивое лицо, так меняется поверхность озера. Дунул ветерок, и густо-синяя гладь становится серой, потом чёрной. Но вот выглянуло солнце, и озеро уже наполнено тёплым медовым светом. Вряд ли найдётся много мужчин, которые без комплексов и ущемлённого самолюбия признают приоритет женщины. Я признал сразу. Одиль была умнее и образованнее меня. И дело тут не в философском факультете Сорбонны, у неё был природный, гибкий ум. Она превосходно разбиралась в живописи и вполне могла бы работать экспертом. Особенно хорошо знала русский авангард. Что там наши с Лялиным полупьяные шатания по мастерским художников-нонконформистов? Одиль как-то затащила меня в дом, стоящий в Кисловском переулке.

— Я тебя сегодня познакомлю с замечательным русским художником, — сказала она, когда мы поднимались по лестнице старинного дома. — Я писала о нём и его выставке в Париже в галерее Моти.

— И кто этот гений?

— Анатолий Зверев.

— А-а, слышал! Говорят, хороший художник. Алкаш, богема, из вытрезвителя не вылезает.

— Зверев — лидер нонконформизма начала шестидесятих годов, но стоит особняком от всех, не вписывается ни в какие сообщества и объединения. Он, скорее, не авангардист, а представитель наивного искусства. Говорят, у него более тридцати тысяч работ. Картины приобрели Третьяковка, музеи США, большая часть осела в частных собраниях во Франции, в Германии, Греции. Зверевым восхищались Пабло Пикассо, Давид Сикейрос, а Роберт Фальк о нём сказал: «Каждый мазок кисти — сокровище. Художник подобного масштаба рождается раз в столетие». Большой оригинал. Любимая женщина старше его на тридцать лет. Оксана Асеева, вдова поэта, подруга Лили Брик. Ничего, да? Я два раза была в его мастерской на улице Щепкина.

— А сейчас куда мы идём?

— К Анне Николаевне Мордасовой, вдове дипломата и коллекционера. Она мне звонила, Зверев пишет её портрет.

Нам открыла полная крашенная блондинка за сорок в пёстром халате и турецких шлёпанцах с загнутыми носами.

— А-а, Оленька! Ты не одна? Какой милый молодой человек! Заходите, заходите! Анатолию взбрело в голову писать

меня голой, вот я в таком неприбранном виде. Он в гостиной. Я быстро, только переоденусь.

Прихожая была захламлена, какие-то корзины, ящики, стопки книг. В глубине квартиры кто-то пел дурным голосом. Я распахнул дверь: крепко поддатый мужик с включенной бородой, задрал голову и блаженно жмурясь, пел и мочился на батарею парового отопления. На паркете образовалась тёмная лужица. Увидев нас, он ничуть не смутился, вытер руки о бороду и сипло протянул:

— О-о-люшка! Со свиданьем! Водку принесла? Налей — увековечу! Садись на диван. А это кто?

— Мой друг Пётр.

— Художник?

— Вроде того, график.

— Значит, свой брат. А-анька! Тащи стаканы! — крикнул он, — вот, блин, никак из запоя выйти не могу, вторую неделю маюсь.

На художнике был обвисший, забрызганный краской свитер, неопределённого цвета брюки и старые галоши на босу ногу. И пахло от него остро: немытым телом, зверем.

— Оля, повернись к свету. Вот так...

Анатолий укрепил на мольберте лист ватмана, зачем-то полил его водой из чайника, схватил пучок кистей, ткнул их в банку с краской и минут за пять написал акварельный портрет Одиль. Портрет и по сей день висит у меня в спальне в студии на рю Лафайет. Гениальная работа. Черты Одиль, особенно глаза, схвачены настолько точно, что иногда бессонными ночами мне кажется, что любимая улыбается и подмигивает мне.

Пришла Анна, принесла тарелку с бутербродами, брезгливо покосилась на лужицу у батарее:

— Толька! Ты, что ли, напрудонил?

— Прости, мать. Женька Кропивницкий в сортире заперся, а у меня недержание.

— Окстись, Кропивницкий год как умер.

— Вот те раз! А что же мне никто не сказал?

После двух рюмок водки лицо у Зверева посветлело. Он погладил бороду и, усмехнувшись, сказал:

— Знаете, чем я в молодости подрабатывал? В парке Сокольники со стариками в шашки играл. Выпивали, конечно... Тогда строго было, милиция гоняла. Одному легавому я ка-а-к двину, он и с копыток. Меня в вытрезвиловку. Чтобы понять суть нынешней власти, нужно обязательно побывать в вытрезвителе. Первым делом вас обворуют, потом избьют. И что особенно унижительно, колотят здоровенные бабы. Ку-

лаки, как копыта. Чудно всё-таки... Здесь я никто, бродяга, пьяница, а там, за бугром, я гений.

Я свободно вздохнул, когда мы наконец выкатились в Кисловский переулок.

— Меня чуть не вырвало. Неужели можно так жить?

— Можно. — Одиль усмехнулась. — Признаться, я тоже этого не понимаю. А как тебе Зверев?

— Чудовище! Возможно, он гений, но чудовище. Эпатаж?

— Нет, он естественен. У него философия и образ жизни клошара. Иногда он пишет окурками папирос «Беломор». Зверев мочится на свои картины, и они идут на Западе на расхват. Со временем Зверева будут оценивать на уровне Ван Гога!

— Ван Гог при жизни не продал ни одной картины.

— Зверев получает большие гонорары и поит на них всю братию. Он живёт в Свиблове, в жуткой квартире, но любой художник найдёт у него уют и еду. Я вот что хочу тебе сказать... Ты хорошо знаешь трущобы Лианозово, подвалы и чердаки, где ютятся подпольные художники. Тебя тянет к андеграунду, но внутренне ты противишься этому. Ты вполне мог бы написать эссе о художниках-нонконформистах, написать раскованно и честно, никого не щадя. А я берусь протолкнуть эссе в «Либерасьон». Как?

— Не знаю, получится ли...

— Получится. Правда есть одно обстоятельство.

— Какое?

— Если материал о подпольных художниках пойдёт под твоим подлинным именем, у тебя могут возникнуть неприятности.

— Ты уверена, что меня будут печатать?

— Будут, милый. И у тебя уже есть псевдоним.

— Вот как!

— Да. Пьер Симон. Зачем дразнить дьявола? И к Чудновскому тебе ходить не нужно.

— Но почему? Чтение стихов — преступление?

— Нет, конечно. А вот за распространение самиздата и запрещённой литературы — реальная статья, примеров много. В Советском Союзе происходят поразительные явления. То, что ты их не заметил, не твоя вина, ты военный, воспитывался в закрытом учреждении, это несколько сужает кругозор.

Мы подходили к метро «Библиотека имени Ленина». Одиль зябло поёжилась и тихо сказала:

— Я не знаю, какие диссиденты были в начале шестидесятых. Говорят, жертвенные люди, убеждённые в своей правоте. Сейчас диссиденты другие, вполне легальные, нередко но-

менклатурные — в инакомыслящие лезут генеральские сыновья, чада министров и партократов. В интеллигентских семьях уже не говорят об экзистенциалистах, Жан-Поле Сартре, в моде Мераб Мамардашвили, Александр Зиновьев, ну и конечно Солженицын. Если есть возможность сходить на концерт органной музыки, выставку французских постимпрессионистов в музее имени Пушкина или посетить тайную вечеринку, где в роли почётного гостя присутствует только что выпущенный из лагеря диссидент, выбирают последнее. У современных диссидентов определились свои философы и свои искусствоведы, но всё это, в конце концов, пустопорожняя болтовня. Есть, конечно, идеологические фронтеры, но у них вполне конкретная, практичная цель — набрать лагерный стаж, пошуметь, промелькнуть в иностранной прессе и уехать на Запад. А оттуда, из безопасного далёка, плевать на бывшую Родину. Согласись, Пётр, в этом есть нечто гадливое, подленькое...

Я уверена, литературный кружок Чудновского под колпаком, а сам Михаил — наивный и несколько заигравшийся интеллигент. Представляешь, во время заседаний там вслух читают запрещённые издания «Посева» и «Умки-пресс». Ну, а что касается самиздата и книг, изданных за рубежом, ты сам всё знаешь. Убеждена, что кружок скоро прикроют, а то и произойдёт кое-что похуже...

Эссе о художниках-авангардистах я забросил, рисовать не тянуло. Из «Крокодила» почему-то перестали звонить. Одиль обычно добиралась до меня подземкой, её красный «Ситроен» был слишком заметен среди «Москвичей» и «Жигулей». К её приезду я накрывал стол, продукты покупал в магазине «Берёзка», у меня ещё были чеки чеки Внешторгбанка, жил в ожидании счастья, но это светлое чувство иногда омрачала тревога, смутная, неясная, вроде дурного предчувствия. Но появлялась Одиль, и тревога исчезала.

Незаметно истаяла зима, искрой вспыхнула и погасла весна, наступило лето. Бросив в багажник автомобиля еду и напитки, мы оправлялись на пляж в Серебряный Бор или куда-нибудь в ближнее Подмосковье. Как-то два дня прожили в деревне под Конаково в палатке на берегу Волги. Знакомый рыбак за бутылку водки перевёз нас на левый берег. Поставили палатку, пообедали. Смеркалось. После затяжного молчания Одиль задумчиво сказала:

— Люди давно ломают голову над тем, что такое счастье. Счастье — вот этот закат, запах речной воды, тишина и рядом любимый. Всё просто.

Выкатилась луна, неслышно текла великая река. В Москву вернулись на другой день.

Как-то Одиль сказала:

— Мне поручили написать очерк о подпольных ленинградских поэтах.

— Знаю. Охапкин, Кривулин, Бобышев, кто-то ещё.

— Откуда?

— От двоюродной сестры. Она слегка сдвинулась на этих подпольщиках. Гордится, что на танцевальном вечере в университете танцевала с Бродским.

— Я её понимаю. И чего мы сидим?

— Не понял.

— Поехали в Ленинград. Как зовут твою сестру?

— Марианна.

— Звони ей прямо сейчас. Нет, не из дома, лучше с переговорного пункта. Есть рядом?

— Есть, на Усачёвке.

— Пошли. Кстати, у Марианны можно остановиться?

— Конечно.

— Тогда без проблем. Если я через агентство закажу номер в ленинградской гостинице, подставлю тебя.

— Каким образом?

— Все номера под наблюдением, а связь с иностранной журналисткой предосудительна.

— Погоди, как мы поедем? Железнодорожные билеты не так просто достать, даже по твоему удостоверению.

— Поедем на моей машине. Мне сменили «Ситроен» на «Ниву», не так бросается в глаза, да и проходимость лучше. Будем вести по очереди. Несколько часов, и мы в Северной Пальмире.

— А как я тебя представлю Марианне?

Одиль рассмеялась:

— Любовницей. Как же ещё?

— А что надеть?

— Чем проще, тем лучше. Зачем светиться?

— Иногда мне кажется, что ты агент французской разведки.

— Верно. Современная Мата Хари. Пошли звонить. Потом я заскочу в агентство, на всякий случай отстукаю на машинке командировочное предписание, захвачу фотоаппаратуру. Жди меня у метрополитена. Зубные щётки купим по дороге.

Марианна обрадовалась моему звонку. Голос звучал весело:

— Жду, братик. Говори номер поезда, вагон — я встречу.

— Встречать не нужно. Мы едем на машине.

-
- Мы?
 - Я сопровождаю корреспондентку французской газеты.
 - Да ладно!
 - В самом деле. Потом всё объясню.
 - Будете подъезжать, звякни.
 - Конечно.
 - Жду с нетерпением.

Отправляться в Ленинград на ночь глядя, было неразумно, попросту опасно, но такая мысль мне даже в голову не пришла. Огромный город остывал, на Ленинградском шоссе было ещё тесновато, машины шли впритык, в проёмах между домами угрюмо дотлевал закат: огненная, похожая на лаву река стекала по небесному склону, и в опущенное стекло врывался пахнувший гарью ветер.

Мы ехали всю ночь. Одиль дремала, машину вёл я. Только перед рассветом я вдруг осознал, что не различаю дорогу. В предрассветной полутьме слева, справа и прямо передо мной проступали зубчатые кроны деревьев, шоссе исчезло в тумане, и лишь впереди колюче проступали огни посёлка. Повинуясь какому-то особому чутью, я свернул на грунтовку, полоснув светом фар по густому подлеску, вырулил на просеку и, уткнувшись радиатором в ёлочку, выключил зажигание. И сразу на меня обрушилась тишина, точнее, не тишина, а спрессованная, как войлок, жизнь ночного леса. Сладостно стрекотали насекомые, что-то хрустело, посвистывало вокруг, царапало, елозило по металлу автомобиля, будто просилось внутрь, в тепло, наполненное запахами бензина и кофе.

Мы проспали до утра. Одиль села за руль и, даже не взглянув на карту, резво вырулила на шоссе.

Пригороды Ленинграда уже дышали зноем. Среди одноэтажных дачек мелькали кирпичные особняки самых причудливых форм. Город возник сразу, точно остров посреди океана.

Марианна ожидала нас. Из кухни наплывал запах свежих булочек. Женщины сразу нашли общий язык и, похоже, понравились друг другу. Одиль отправилась в ванную, а Марианна, накрывая на стол, сказала:

— Ну, ты гигант, братик! Где ты такую девку оторвал? А глазищи! Она в самом деле корреспондентка или ты заливаешь? А ну не врать.

— Одиль — француженка, корреспондентка газеты «Ле Монд».

— Да ладно! Она по-русски без акцента говорит. Я же учителька русского языка и литературы, меня не проведёшь.

— У неё мать русская.

— Так бы и говорил.

Появилась Одиль. Мокрые волосы зачёсаны назад. В майке и джинсах она походила на подростка, сбежавшего из-под опеки родителей.

— Маша, а где же ваш муж? Ничего, что я вас так называю? Марианна — длинно и не по-русски.

— Нормально. И давай на «ты». Игорь на полигоне, уехал со своими слушателями.

Одиль тряхнула головой:

— Боже, как есть хочется!

Марианна улыбнулась:

— Пошли на кухню. Оладьи, булочки, сметана, мёд. Могу сделать яичницу с беконом. В холодильнике водка.

— Водка — вечером.

Во время завтрака Одиль сказала:

— Маша, для ясности. Мы с твоим братом любовники. Так что нам вполне достаточно одной кровати. Теперь о цели поездки, кроме, естественно, дружеского визита, — она коротко и толково изложила суть. Помолчав, спросила: — Как ты думаешь, поэты пойдут на контакт со мной?

— А почему нет? Они представляют собой вполне легальный андеграунд. И у одного из них, Олега Охупкина, уже были неприятности с властями. Да и остальные под присмотром. Ну и что? Охупкина я видела два дня назад, встретила на Невском. А вот в городе ли остальные — не знаю. Позавтракаем, стану звонить.

На Васильевский остров добрались на трамвае. У меня стало портиться настроение, мне не хотелось встречаться с представителями подпольной культуры, в памяти ещё жило воспоминание о художнике Звереве. Наверное, поэтому встреча с поэтами «второй культуры» запомнилось смутно. Узкая, пованивающая кошачьей мочой, лестница, коммуналка, коридор, заставленный громоздкими шкафами, и неожиданно светлая просторная комната с клубами сизого дыма под потолком. В комнате два небритых, изрядно поддатых мужика лежали на широкой тахте, а за столом, уставленным бутылками, восседал красивый человек лет тридцати пяти. Его светлые волосы были перехвачены кожаным ремешком — точь-в-точь, как у того парня с гитарой, которого много лет спустя я встречу в Венеции за столиком кафе.

В дымном, проспиритованном воздухе роились слова, фразы, они звучали самостоятельно, как бы не связанные с авторами-исполнителями, оккупировавшими тахту:

— Верно сказал Гриша, что история России развивается не по Солженицыну и не по Сахарову, а по Венечке Ерофееву, то

бишь юродски. И всякий, оставшийся в нашей стране, неизбежно втягивается в юродство.

— Венечка алкаш, у него глюки. А ведь верно, все мы юродивые. А уж Охепкин в первую очередь.

— Бери выше, он святой. Ему в церкви старухи руки целуют...

— Братцы, у меня византийски сакральное отвращение к обыденной жизни. Хочу ввысь, чтобы глотнуть чего-нибудь такого...

Наше появление вызвало вялое оживление. Куда больше впечатлили две бутылки водки и батон колбасы. Парень с ремешком древнерусского мастерового на голове, хватив стакан водки, стал глухим голосом читать стихи:

*Как мне больно безмолвье слышать
И в безвременье время своё коротать,
Чтоб у смерти тоску о бессмертии выжать
И по капле ещё не погибшим отдать...*

Это и был Олег Охепкин, один из лидеров «второй культуры». Лет десять спустя, в Париже, мне попадётся статья Давида Дара об Охепкине, по стилю, да и по самой сути, напоминающая миф. Судите сами, изложу по памяти.

...В последние месяцы ленинградской блокады в старинном родильном доме, что помещался неподалёку от Измайловского собора, родился на удивление красивый мальчик, от него едва ли не свет исходил. Нянечка, ухаживающая за младенцем, огласила предсмертные слова Иоанна Кронштадтского: «В самый лютей год родится в Петрограде младенец мужского пола ангельской красоты. Он возвестит слово Божие впавшему в грех русскому народу». Младенец оказался никому не нужен, мать — душевнобольная, отец неизвестен. В божественное предназначение новорождённого уверовали не только бабка Охепкина и та нянечка, но и многие прихожанки. Младенцу поклонялись. Когда подросший Олег пел в церковном хоре в Александро-Невской лавре, к нему подходили старухи и низко кланялись: «Благослови, отрок!» Отрок и в самом деле обладал выдающимися способностями: феноменальная память, прекрасный голос. В школе учился только на «отлично», но был не от мира сего, одноклассники Охепкина недолюбливали, случалось, и поколачивали. Во время летних каникул бабка возила его по монастырям, мальчик постоянно слышал голоса, кто-то суровый нашёптывал ему в ухо: «Избранничество — твоё искушение. От гордыни всё, от гордыни». С мальчиком познакомился

патриарх старообрядческой церкви и якобы сказал ему: «Не ходи в монастырь, не служи антихристовой церкви. Иди в мир и больше читай».

С юным Охапкиным случилась истерика, он сорвал со стены бабушкины иконы, растоптал их и убежал из дома. Начались скитания, какое-то время он учился в ремесленном училище, работал осветителем и рабочим сцены в Малом оперном театре, много читал. Как-то во время подготовки спектакля вдруг запел — обнаружился превосходный бас, пополз слушок: будущий Шаляпин. Учился в музыкальном училище, бросил, стал писать стихи. Собирался уезжать в деревню, чтобы служить людям, не уехал, одиноко бродил по городу, ночевал где попало. Периодически с ним случались припадки, и тогда он заходил в церковь, бился головой об пол, плакал, пытаясь отомлить грех перед Богом.

Пожалуй, самая яркая, даже мистическая страничка в сочинении Дара — знакомство Охапкина с Бродским.

Охапкин, слоняясь по городу, как-то со стороны хозяйственного двора перелез ограду, проник в Смольный монастырь и забрался по винтовой лестнице на заброшенную колокольню Растрелли. И там, на верхней площадке, на фоне открывшейся панорамы города увидел парня, над головой которого высвечивался нимб. «Ты кто? Бог?» — спросил отолепешивший Охапкин и услышал в ответ: «Нет, я поэт».

Оставим на совести биографа подобный пассаж. Во всяком случае, у Охапкина есть стихотворение о встрече поэтов на заброшенной колокольне.

Автор статьи почему-то умолчал о некоторых фактах биографии Охапкина. Например, он не упомянул, что Олег одно время служил секретарём у лауреата Сталинской премии Веры Пановой, кроме того, во время перестройки его всё же приняли в Союз писателей России (в либеральное крыло «Апрель»), наконец, он был удостоен престижной литературной Державинской премии, его начали издавать. Умер Охапкин в психиатрической больнице. И тут опять не обошлось без мистики. Дело в том, что психушка разместилась в здании бывшего родильного дома, где явился миру поэт.

Одиль так и не написала очерк о подпольных поэтах. Почему? Возможно, перебила какая-то другая тема.

Много лет я смотрел на мир глазами Одиль, я и сейчас пользуюсь её оценками, всякий раз поражаясь мудрости любимой. Как-то в начале девяностых во время прогулки по Булонскому лесу нас накрыл обломный дождь, небеса внезапно разверзлись, хлестало отовсюду, ветер с треском ломал сучья деревьев. Мы едва успели укрыться в автомобиле. Гро-

за скатывалась на запад, волоча обрывки чёрной тучи, в которых змеились молнии.

— Гроза меня всегда возбуждает, — сказала Одиль, стягивая через голову мокрую джинсовую рубашку, её глаза отливали грозовой чернью. — Я заканчиваю статью, которая вряд ли понравится моему шефу. Но не написать её я не могу.

— О чём статья?

— Ты знаешь: моя тема — русский андеграунд. Ни в каком ином государстве не возникло, да и не могло возникнуть такое явление. Искусство в Европе ещё в начале века надолго застряло в запруде модернизма, засоряя галереи посредственными поделками. Другое дело — искусство в тоталитарной России. Андеграунд в живописи и литературе возник в СССР практически одновременно, пророс как движение протестное. А результат получился разный. Художественный андеграунд в какой-то мере — возрождение русской живописи начала столетия, литературный андеграунд — сектантство, разрушившее традиционный код великой русской литературы. Сектантство со всеми его признаками. Враждующие между собой группы, кружки. И везде свой гуру, свой пророк и свои гении.

В литературном андеграунде не было запойной бесшабашности художников-авангардистов. Лучших из них вообще не интересовала политика. Зверев, Калинин и ещё ряд художников андеграунда не участвовали в нашумевших «бульдозерных» выставках, они активно выставлялись в России и за рубежом. У литературного андеграунда была иная позиция: печататься только за границей и только с политической окраской.

Безусловно, есть и исключения. Но их немного. Посмотришь, скоро появятся и свои геростраты. Уже сейчас в их сектантской среде поговаривают: «Пушкин устарел», «У русской литературы есть только прошлое», «Тихий Дон» — не более чем плагиат». И вот что любопытно, весь этот шабаш происходит под покровительством властей. Русскую литературу целенаправленно заталкивают в гетто...

Боже мой! Одиль, как ты была права!

6

В Лидо ди Езоло нет каких-либо исторических достопримечательностей. Курорт как курорт. Рядом Венеция, этого вполне достаточно. И всё же во время дальних пеших прогулок я нашёл место, оставившее в истории след. Это река Пьявэ, отделяющая Лидо ди Езоло от материка. В начале двад-

цатого столетия у этой реки шли тяжёлые бои за независимость между итальянцами и австрийскими завоевателями. Хемингуэй в романе «Прощай, оружие» назвал Пьявэ — рекой Смерти.

...Я шёл вдоль этой реки. Постепенно настроился на «волну» Одиль и явственно услышал её задумчивый, напряжённый голос: «Зверев своим учителем считал Леонардо да Винчи. Хаотическая жизнь клошара была наполнена поиском утраченной гармонии в живописи. Его первородное чутьё подсказывало, что человечество сбилось с пути и нужно найти заросшие травой колеи, чтобы по ним двинуться дальше...»

Одиль не было суждено дожить до нынешних времён, когда русский авангард стал вырождаться. Наиболее талантливые художники уехали за границу — Вячеслав Калинин обосновался в Америке, Зверев умер, другие ударились в политику либо приняли новую, скажем так, своеобразную концепцию. Кумиры московской интеллигенции, да и питерской тоже, стали утверждать, что живопись кончилась, картина, как таковая, умерла. Литературные критики стали внедрять в общественное сознание, что и романа больше нет — эта форма искусства безнадежно устарела. А что будет взамен картин и романов? Пародии, господа, инсталляции, искусство теперь переместится на животы, лобки и груди голых девок, художники будут рисовать на анатомических прелестях — это востребовано. Апофеозом человечества станут не верещагинские черепа, а груди ночных горшков и унитазов с подсохшим содержимым. Вот это подлинное новаторство. Всё остальное — косность, рутина, совковость.

Я всегда полагал, что живопись — описание конкретной, реально существующей жизни. Я могу часами разглядывать картины Джотто, Гойи, Микеланджело. Шедевры несут в себе интереснейшую информацию. А возьмите произведения так называемого современного искусства, их содержание, простите меня, скудно. Скуден до убожества и сюжет.

Дико звучит: художники, особенно на Западе, разучились рисовать. Небрежность, неряшливость не может стать состоявшимся искусством. Отрицание прежнего опыта — бессмысленность...

Одиль улетела в Омск, там открылась выставка молодых художников. Я скучал, не знал, куда себя деть. Вернулся к очерку о художниках андеграунда, не пошло, бросил. Вечерами бездумно кружил по городу. Однажды после утренней прогулки, подходя к своему дому, увидел чёрную «Волгу», нагло вывернувшую на тротуар, прямо к калитке. Поднялся

на лифте, достал ключи от квартиры и услышал внизу голоса, чей-то громкий плач. Что такое? Спустился этажом ниже, дверь в квартиру Чудновского была полуоткрыта, я было сунулся в проём, чтобы узнать, не случилось ли чего, к Марии Васильевне нередко вызывали «неотложку» — гипертония, сердце, — дверь мне преградил человек-шкаф:

— Вам чего, гражданин?

— Что случилось? Я сосед.

— Идите, идите, понятые у нас уже есть. Вы из какой квартиры?

Я назвал. У «шкафа» сузились бело-голубые глаза с вертикальными зрачками.

— Из дома не выходить. Возможно, потребуются твои свидетельские показания. Усёк?

У гэбиста, а в том, что этот молодец представляет известное ведомство, я не сомневался, на бульдожьих скулах вспушли желваки.

— Что это вы мне «тыкаете», любезный? Я офицер.

— А я, по-твоему, билетёрша из кинотеатра? Сказано сидеть, вот и сиди.

Из коридора тянуло запахом валериановых капель, в глупине квартиры слышался резкий, возмущённый голос Чудновского. Значит, Одиль права, за Мишей всё же пришли. Началось.

Я прождал часа два. Ко мне так и не пришли. Всплыла беспокойная мысль: Одиль! Она часто бывала у Чудновского. Я кинулся к телефону, но передумал, телефон мог прослушиваться. Набросил куртку, выскочил к метро «Спортивная» и из автомата позвонил в московское отделение французского агентства. В трубке зазвучал незнакомый женский голос. Я сказал по-французски:

— Нельзя ли пригласить к телефону мадемуазель Одиль Дюран?

— С кем я говорю?

— Пётр Семёнов.

— О, да. Я слышала о вас. Одиль срочно вылетела в Париж. У вас есть её парижский телефон?

— Да.

Я повесил трубку автомата. Срочно вылетела в Париж... Почему не позвонила? Может, это как-то связано с обыском у Чудновского? По дороге домой зашёл к Марии Васильевне. У старухи дёргалась щека — нервный тик. В комнате стоял запах лекарств. Глянув на меня, пробормотала:

— Что будет, что будет! Мишу посадят?

— Не знаю.

Поздно вечером с Центрального телеграфа позвонил в Париж. Одиль сразу взяла трубку.

— Я тебя люблю, — тупо сказал я.

— Я тебя тоже люблю, милый. Пётр, меня лишили визы. Полагаю, причина в твоём соседе... Потому, звонить тебе не стала. Всё произошло стремительно... Умоляю, не наддай глупостей.

Неделю я прожил в горячке. Мучили кошмары: Одиль среди пламени, горы, танки. Кошмар-предвидение. Позвонила тётя Поля:

— Пётр, почему не отвечаешь на звонки?

— Да так, занят... То-сё...

— Ты выпиваешь?

— Случается. Производственная необходимость.

— Сегодня, надеюсь, не выпил?

— Как стёклышко. Аж свечусь.

— Не мог бы ты сейчас приехать?

— Случилось что-нибудь?

— Жду. Только не тяни. И оденься поприличней. — Тётя Поля положила трубку.

Первое, что пришло в голову, — отец. Почему? Я надел новый серый с рыжей искрой костюм, галстук, натянул мокасины. В прихожей глянул на себя в зеркало: вполне респектабельный господин. И костюмчик ничего. Бельгийский. В последнее время в Москву завезли много зарубежных шмоток. Пытался отвлечь себя всякими пустяками, а страх копился — холодный, липкий. Спустился на лифте. Мне повезло: у подъезда стояло такси. Сосед, отставной полковник, расплачивался с водителем. Лысина полковника отсвечивала на солнышке. Он с подозрением глянул на меня и отвернулся. В подъезде наверняка знали об аресте Чудновского.

— Свободен? — спросил я у таксиста.

— Куда ехать?

— На Дунаевского. Потом, может, ещё куда-нибудь.

— Годится.

Тётя Поля, тщательно одетая, ждала меня у подъезда. В руке большая клетчатая сумка. Лицо белое, точно его мукой осыпали. Отчётливо проступали морщины, напоминающие тонкие трещины.

Я спросил:

— Отец?

— Да. В «кремлёвке». Мне позвонили минут сорок назад.

— Жив?

— Жив. В реанимации. Сегодня встал как обычно, в шесть. Сделал на балконе зарядку. От завтрака отказался. Плохо

стало в кабинете на Строй площади... Пётр, ты мне солгал. Выпил вчера?

— Самую малость.

— Ты плохо выглядишь.

— Отчего мне хорошо выглядеть? За последнее время на меня столько всего свалилось... Потом расскажу. Главное сейчас — отец.

В такси я впервые в жизни почувствовал, что у меня есть сердце. Оно ворочалось, как старый пёс, укладывавшийся на половик у печки. Пошёл дождь. Капли секли ветровое стекло, ложась наискосок. Следя за «дворником», я с холодной ясностью думал, что в болезни отца виноват я. Ему наверняка уже доложили, что его сынок, герой африканских войн, связался с диссидентами.

В Центральной клинической больнице учтивый молодой человек в безупречном белом халате провёл нас в комнату для посетителей. И сразу же вошёл известный профессор кардиолог: серый костюм, неброский галстук, глубокие морщины у крыльев носа, спокойные глаза, голос глуховатый, но чёткий, с ясной артикуляцией. Он сказал, что у Степана Григорьевича инфаркт миокарда. Состояние тяжёлое, но стабильное, делается всё необходимое. Когда можно его навестить, вас уведомят. Глянув на сумку тёти Поли, он, мягко улыбувшись, заметил: «Передач не нужно, у больного есть всё необходимое, к тому же он на строгой диете».

За окном ветер раскачивал ветку, на которой сидели взъерошенные воробьи. И вдруг мне показалось, что я тоже сижу на ветке, ощущая её скользкую, гладкую округлость, замирая от ужаса, что вот-вот сорвусь и ухну вниз, на чёрный газон.

На Дунаевского нас отвезли на новенькой, пахнувшей кожей «Волге». На Кутузовском проспекте было пустынно. Я не знал, какой сегодня день. Скорее всего, воскресенье. Глыбы домов слились в одну бурю полосу, отчего казалось, что мы несёмся по дну оврага. Я не был на родительской квартире месяца два. Изредка звонил отец. Чаще — тётя Поля. Говорили о незначительном, бытовом, и теперь каждая вещь в квартире удивляла меня. Шляпа отца на вешалке, его трость-зонт в специальной подставке, картина в коридоре: старица Кубани, поросшая кугой. На холме белые хаты, крытые камышом, а вдалеке синие горы. Подумал, что за все годы я так и не побывал на родине отца, да и ехать было уже не к кому. Кишинёв я вообще не помнил. Моя малая родина — Москва. Рядом скользнула мысль: а любил ли я отца? Любить можно того, кого хорошо знаешь. Я по-

любил Одиль сразу и сразу узнал её. Узнал настолько, что она стала частью меня.

Отца я знал плохо, в детстве он казался мне памятником, стоящим посреди площади. И всё же я его любил. Такое чувство, возможно, испытывает медвежонок, издали поглядывающий на своего огромного отца, стоящего на опушке леса. Вешая на крючок плащ, я с холодным ужасом подумал: а что, если я сразу потеряю отца и Одиль? И это будет наказанием свыше, карой. Ведь и отец, и возлюбленная пострадали из-за меня.

Тётя Поля, родная душа, видно, почувствовав, что со мной происходит, достала из бара бутылку коньяка «Двин», два фужера и твёрдо сказала:

— Наливай. Мне тоже, до краёв. Ночевать будешь здесь, дома. Я... я боюсь.

Рано утром тишину взорвал телефонный звонок. Металлический голос сообщил, что Степан Григорьевич Семёнов скончался в пять тридцать...

То оставшееся позади время запомнилось урывками. Обломки, фрагменты, несущиеся в весеннем селевом потоке: какие-то люди, чёрные лимузины, красное и чёрное, телеграммы от Правительства, Политбюро ЦК КПСС, лично от товарища Брежнева, вороны на мокрых деревьях, шеренги солдат почётного караула, сухой треск выстрелов, голые, сквозные аллеи Новокунцевского кладбища.

Потом — глухая пора, мир гас, вновь озарялся светом, и всякий раз я видел усохшую старушку, отпаивающую меня бульоном с ложечки, как малого ребёнка. Я и плакал, как ребёнок.

Самое острое ощущение того времени — нежелание жить.

Весна началась со звонка в дверь. Тётя Поля ушла в магазин, я поплёлся открывать. На пороге стояла Марианна, красивая, в элегантном плаще, на ногах итальянские туфли на шпильках, словом, «дыша духами и туманами».

Насмешливо оглядев меня, сказала:

— Хорош. В гроб краше кладут. Принимай сестричку, брат. Помнишь хоть меня?

Слова Марианны шлёпались мне на голову тягучими каплями — есть такая восточная пытка. Я не мог вспомнить, была ли Марианна на похоронах, и вообще непонятно, как она оказалась в Москве. Помнится, она уезжала с мужем не то в Сибирь, не то на Дальний Восток. Наконец, я всё же уяснил, что её муж Игорь Владиславович Черкасов, послужив в штабе Дальневосточного военного округа, назначен заместителем начальника кафедры Академии Генерального штаба.

— Короче, перебираемся Москву. Дали временное жильё. Сейчас занимаюсь обменом нашей хаты на Моховой на что-нибудь приличное в Москве, — завершила краткий рассказ сестрица.

— Погоди, Маша, а как же дядя Вася?

— Похоже, братик, у тебя совсем чердак съехал. Папа умер, когда ты прохлаждался в Африке. Кончай пить.

— Уже кончил.

Пришла тётя Поля. Марианна помогла ей разложить покупки. Из кухни доносились их приглушённые голоса, речь, как я понял, шла обо мне. За окном хлестал дождь, подсвеченный зелёным светом. Появились женщины, лица их были скреплены тайной. Похоже, против меня готовился заговор.

— Тётя Поля, пока я был в отключке, мне никто не звонил?

— Из Парижа звонила некая Ольга, интересовалась твоим самочувствием. Хорошо говорит по-русски, тёплый, заинтересованный голос.

Марианна улыбнулась.

— Знаем мы эти голоса из-за бугра.

— Погоди! И что ты ей сказала?

— Сказала про отца... И что ты болен...

— Когда это было, господи...

— Три дня назад.

— Мне срочно нужно на Центральный телеграф.

— Ты до сортира-то в состоянии дойти, братик?

— Марианна, ты стала настоящей офицерской женой! «Мы служили», «Мы защитили докторскую диссертацию».

— Тётя Поля, давайте его в ванную, а то от него пованивает. И не сопротивляйся, Петька, а то рука у меня тяжёлая. Когда мой Игорёк спутался с официанткой из столовой — в гарнизонах это модно, — я ему так между глаз врезала, две недели ходил на работу в тёмных очках.

Марианна с пугающей лёгкостью подняла меня с тахты, вытолкала в ванную, принесла полотенце, чистое бельё, коротко бросила: «Отмокай!» Минут через десять без всякого стеснения вошла, намылила меня, ополоснула, напялила купальный халат, посадила около электрического камина.

— На-ка, пожуй кофейных зёрен, а то от тебя несёт перегаром... И рассказывай.

— Что рассказывать?

— Всё.

И я, как под влиянием гипноза, рассказал Марианне о литературном кружке, аресте Чудновского, отъезде Одиль. Сестрица поморщилась:

— Не нуди. К тебе ведь не приходили?

— Нет. Надеюсь, ты понимаешь, что я отцеубийца.

— Глупость. Степан Григорьевич ничего не знал о твоей связи с диссидентами. Да и связь-то сомнительная. Я переговорила с тётей Полей. Степана Григорьевича накануне назначили начальником отдела, а это высокая должность в цеховской иерархии. Так что живи спокойно и больше не делай глупостей. А вот с Одиль дело куда сложнее. У вас всё серьёзно?

— Более чем. Я люблю Одиль. Она — последнее, что у меня осталось.

— Давай без излишней драматизации. Как я понимаю, в СССР её не пустят?

— Слону ясно. Закрыли визу.

— Тогда нужно ехать тебе. Хотя бы временно.

— Но как?

— Кое-что можно попробовать. В субботу мой Игорёк обмывает назначение в Москву.

— И что?

— Обмывон в ресторане «Прага». Сослуживцы, друзья, жёны... Среди прочих будет одноклассник Игоря, генерал милиции, он этим, ОБВРОм, командует. Нормальный мужик. Мысль улавливаешь?

— Не очень.

— Телок! Тебе надлежит быть в «Праге» в субботу. К тому же в импозантном и вполне советском виде. А с милицейским генералом я сама поговорю. А вдруг получится. Ты герой африканской войны. У тебя боевой орден, не хухры-мухры.

— Какой я герой? Орден за дырку в лёгком.

— Ну-ну! Не пускай пузыри. Ты в Париж хочешь? Одиль видеть хочешь? Вот и сопи в тряпочку. Попытка — не пытка.

Раз, а то и два раза в неделю я звонил Одиль. По телефону сделал ей предложение, получил согласие. «Со своей стороны я тоже кое-что попытаюсь предпринять, милый, — сказала Одиль. — У меня ведь нет ни одной антисоветской публикации. Моя тема — современное искусство. Тут что-то другое».

Дико звучит, но через полгода я получил официальное разрешение на выезд во Францию. Промысел ли это Божий, либо в стране и в самом деле стало что-то происходить, не знаю. Начальник ОБВР генерал Захаров оказался славным малым. Я боялся поверить в свою удачу и впал в состояние, близкое к протрации. И только под давлением Марианны сделал ряд необходимых распоряжений: оформил дарственную тёте Поле на свою кооперативную квартиру с выплаченным паем, ей же оставил отцовские сбережения.

Тётя Поля держалась превосходно. Она подарила мне картины художников русского авангарда, «не имеющих художественной ценности», что подтверждалось солидным экспертным заключением, добытым через каких-то знакомых.

Собрался я быстро, без суеты. Провожала меня одна тётя Поля. Внешне она была спокойна, и лишь в аэропорту Шереметьево у неё по-старушечьи задрожал подбородок, и она тихо сказала: «Петя, ты для меня как сын. Я знаю, мы больше не увидимся, и я хочу, чтобы ты знал, что сделал меня счастливой. Да, счастливой... Я прожила ещё одну жизнь, чувствуя, что кому-то ещё нужна».

Мой багаж состоял из трёх чемоданов. За стеклянными стенами аэропорта в почётном карауле выстроились берёзы. Шёл мелкий дождь, оставляя косые росчерки на стекле. Через час, полтора самолёт унесёт меня в новую жизнь, здесь же, за будкой паспортного контроля, останется всё, что мне было дорого: тётя Поля, Марианна, мать, отец, Гриша Снегарь, точнее память о них. Останутся однокашники по институту, гениальный художник Зверев, опустевшая дача в Архангельском, пруды, улицы, переулки Москвы, останется тягучий колокольный звон, рождённый на колокольне Новодевичьего монастыря. У меня вдруг возникло ощущение, что я всё это предал.

Я поднялся в самолёт, сел в кресло, застегнул ремни и тотчас уснул. Проснулся от знакомой речи — говорили по-французски. С этого момента я месяца три не говорил на родном языке.

Мы ехали из Орли. Одиль вела «Ситроен» осторожно, словно везла в корзине куриные яйца. За окном что-то мелькало. Я неплохо изучил по справочникам и туристическим буклетам Париж, и мне казалось, что буду здороваться с каждым дорожным знаком, с каждой улицей этого замечательного города. Ничуть не бывало. Мы катили по чужой территории, где теперь мне предстояло жить, и предощущение счастья, возникшее перед вылетом, погасло.

— Ты здоров? — спросила Одиль.

— Да. Жутковатое ощущение, будто я личинка стрекозы и боюсь взобраться по стеблю из болота, чтобы стать крылатым хищником.

— Сложная метафора. От тебя пахнет дрянным бренди, и притом ты трезв. Разучился говорить по-русски?

— Да.

— Совсем плохо. Но я тебя встряхну, милый. Твоё эссе о московских художниках-нонконформистах шеф встретил

восторженно, понравились и рисунки. Шеф считает, что русские, в том числе и ты, создали новый стиль — сплав эссе с добротной журналистикой.

— Не понимаю.

— Я тоже. Шеф жаждет видеть тебя. Больше меня не отвлекай, мы въезжаем в старую часть Парижа.

Вскоре маленький автомобиль притормозил у жёлто-серого дома на рю Лафайет, где мне было суждено прожить самую яркую часть жизни.

Утром Одиль поцеловала меня и сказала:

— Вчера ты обвенчался с Францией, и теперь это твоя судьба. Оформишь вид на жительство, через три года подашь на оформление гражданства, тест на знание языка для тебя пустяк. Через два месяца ты заговоришь, как парижанин. Тебе незачем встречаться с русскими эмигрантами третьей волны, сейчас они в моде. Их окружили вниманием, увешали грантами, они охотно, за деньги, поливают дерьмом бывшую Родину. Но мода проходит. О них скоро забудут, их шенячий скулёж надоест. Ты не диссидент, во Францию тебя позвала любовь, оставайся русским, но притом натурализируйся, как француз. Культуры Франции и России давным-давно соединены на небесах.

Годы, что я прожил с Одиль в Париже, кажутся мне теперь одним бесконечным днём счастья. Прошу прощения за штамп, но день тот напоминал калейдоскоп. Нынче мало кто помнит, что это такое. Мне было лет пять, когда мама подарила мне эту игрушку. Стоило поднести калейдоскоп к глазу, как в глубине его само собой составлялись разноцветные кристаллики, высвеченные изнутри таинственным светом. Поворот этой квадратной штуки, напоминавшей подзорную трубу, по оси, сопровождался сухим шелчком, и картина преобразалась, кристаллики причудливо соединялись, приоткрывая окно в сказочный мир. Кажется, с той поры я поверил в существование параллельного мира и верю в это до сих пор.

В том, параллельном мире продолжает жить день нашего венчания. Огромная комната залита багровым закатным солнцем, за скошенной стеклянной стеной проступают смутные очертания Парижа. Студия наполнена голосами, в центре стол, накрытый щедро, по-русски: солёные огурцы, икра в серебряном бочонке со льдом, прочие яства и, конечно, водка, настоящая, «Смирновская», не «сучок». На Одиль безукоризненно сидит подвенечное платье, на мне визитка из гардероба семьи Дюран — мы напоминаем пришельцев из нача-

ла двадцатого столетия. На стенах студии настоящее богатство: подлинники Пикассо, Леже, Сикейроса. Среди картин есть и этюды и полотна русских авангардистов, подаренные мне тётей Полей. В студии — никакой мебели. Книги, одежда спрятаны во встроенных шкафах. За тяжёлой золотистой портьерой выгородка, там помещается гигантская тахта, на неё можно поперёк положить человек пять, и почти такого же размера дубовый стол, доставленный из загородного дома в Нормандии. За этим столом, заваленным рукописями, фотографиями, листами ватмана, мы работаем.

Разгар свадебного ужина. Дамы — в вечерних платьях. Среди них хиппи и журналисты, выраженные под хиппи. Смокинги и вечерние платья — промышленники и их жёны, друзья семейства Дюран, демократическая публика — наши с Одиль коллеги. Какой-то старомодный старичок берёт меня под локоть, подводит к стене, где висит картина отца тётки Поли, доктора Морозова. На картине уголок старой Москвы у Дорогомилковской заставы. Сумерки, зелёный снег, в деревянных домиках розовые огоньки свечей, кажется, что пахнет воском.

— Кто этот мастер?

— Морозов.

— Савва Морозов? Мой бог!

— Нет, месье, однофамилец, друг Лентулова.

— Умоляю, продайте. Это часть моей жизни, моей молодости.

— Простите, это подарок. Свадебный подарок моей жене.

По настоянию Одиль мы венчались в русском кафедральном соборе Святого Александра Невского, что на улице Дарю. Собор построен в византийском стиле: позолота, мозаика, старинная церковная утварь.

— Обрати внимание на мозаику, — посоветовала Одиль, — «Благословляющий Спаситель на троне». Здесь венчался Пикассо с русской балериной Ольгой Хохловой. Свидетелями были Дягилев, Кокто и твой любимый Гийом Аполлинер.

— Символично.

— Церковь старинная, намоленная. Здесь отпевали Тургенева, Шаляпина, Бунина...

— Теперь они наши свидетели.

После гибели Одиль я три года не ходил в церковь. Если Бог есть Любовь, то после гибели Любви гибнет и Бог.

Тётю Полю хоронили без меня. Мы с Одиль летали в командировку в Кению. Похороны организовала Марианна. О гибели Одиль я узнал в день, когда прилетел из США. Всё просто: из «Либерасьон» позвонил мой друг Жак Миро и ска-

зал одну фразу: «Немедленно приезжай!» Но я уже знал — беда. В тот год в Чечне погибли несколько французских журналистов.

В церковь меня вернул патриарх Варфоломей. Его пасхальная проповедь в кафедральном соборе потрясла меня. Но я по сей день не воцерковлен, в церкви бываю редко, порой меня раздражает, что служба ведётся на церковно-славянском языке, раздражает византийская пышность обрядов, но, когда мне становится плохо, тоска серой тяжестью ложится на грудь, я иду в собор Святого Александра Невского. И там, среди прихожан, пожилых и молодых, эмигрантов и туристов, я вновь обретаю Родину. Русская церковь в Париже — семечко, занесённое ветром с пойменных лугов Волги, Нерли, Северной Двины, и проросшее здесь, посреди Европы. Запах ладана, воска, отражение огоньков свечей на старинных окладах икон, приглушённый голос священника, хор седовласых старушек действуют на меня умиротворяюще. Железные тиски, сдавливающие сердце, отпускают, и я плачу. У меня нет духовника. Мне не нужен посредник для общения с Богом. И мне кажется, в минуты наивысшего душевного подъёма контакт с Господом устанавливается, и я ощущаю особый, идущий из глубины церкви свет. Ибо Он «смертию смерть поправ», жизнь вечна, жива Одиль, жив Гриша, живы миллионы и миллионы хлебопашцев, ратников, прощённых грешников и праведников.

Уходит тоска, возвращается гордыня, уверенность в себе, и меня вновь кружит по свету в поисках ощущений. Но это не радость туриста или путешественника, в этом кружении я напоминаю пылинку в бессмысленном броуновском движении.

Моя натурализация во Франции прошла на удивление легко. Оформление вида на жительство совпало со смертью Брежнева, в советском посольстве было не до меня. Я направил по почте в посольство копию свидетельства о браке, ещё какие-то бумажки, время двойного гражданства ещё не наступило, неприятливый голос по телефону потребовал занести мой «серпастый и молоткастый», на том всё и кончилось. Месяца через два позвонила Марианна, сообщила, что «новая метла уже метёт» — пыль столбом, в Сандунах и банях поменьше гребут бездельников и тунеядцев, дневные сеансы в кинотеатрах тоже прочёсывают, на валютчиков и фарцовщиков открыта сезонная охота, полетели головы крупного партийного начальства, арестован бывший начальник ОБИ-Ра Захаров. Но есть и хорошие новости: появилась дешёвая

водка, прозванная в народе «андроповкой» и Игорёк наконец получил звание генерал-майора, а она, Марианна, стала соответственно генеральшей. Тётя Поля сдала цеховскую квартиру, перебралась в свою комнату в доме у метро «Студенческая», а на вырученные от продажи кооператива в Учебном переулке, намерена приобрести для тебя ценности, ибо ходят упорные слухи о грядущей инфляции.

Голос Марианны с трудом пробивался сквозь шелест и завывание перенасыщенного информацией эфира, и мне временами казалось, что звонит она не из Москвы, а с Марса — так далеко в тот момент была от меня моя печальная Родина. Став Пьером Симоном, я превратился в другого человека, горбачёвская перестройка, ельцинская вакханалия в «лихие девяностые», хоть и задели меня, но как-то стороной, в это время я осваивал пространства Старого и Нового Света.

И всё же я внимательно наблюдал за тем, что происходит на Родине. Казалось, сам дьявол высадил десант в России и со свитой прогуливается в Москве по улице Горького, спешно переименованной в Тверскую. Я с болью наблюдал за разрушением великой державы. Признаться, я не думал, что ещё способен на столь сильное чувство. Да, я гражданин Франции, но Родина-то у меня одна.

Москва теряла самобытность, исчезали памятники культуры, на месте старинных, переживших пожар и наполеоновское вторжение застроек вырастали безвкусные помпезные дома-шкафы с башенками, столица обретала пошловато-безликий вид окраины Западной Европы. Такой же шабаш царил и в других областях культуры, которой нынче руководил скользкий, округлый господинчик.

По совету Одиль я так и не сошёлся ни с кем из эмигрантов третьей волны, знание языка позволило мне быстро войти в литературную парижскую среду. В ту пору я активно сотрудничал с газетами «Либерасьон», «Ле Монд», «Трибюн», «Фигаро», журналами «Понт», «Эко саван», «Луи», «Пари матч», зарубежными изданиями.

Гибель Одиль рассекла мою жизнь на две неравные части, то, что прошло, было жизнью подлинной, то, что происходило сейчас со мной, напоминало, скорее, подделку, имитацию жизни. Я, наивный человек, не учёл, что за всё нужно платить.

В Москве я чувствую себя туристом. Город — прежде всего люди, а не дома, улицы, скверы и переулки. Большинство

моих друзей и однокашников нынче живут в Европе и Америке, часть из них покоится по различным кладбищам. И это не удивительно — время, бурное время конца двадцатого и начала двадцать первого столетий.

...Минувшей осенью я подхватил вирусную инфекцию, осложнившуюся затяжным бронхитом, поэтому в Москву прилетел в декабре, сразу после выборов в Государственную думу. Марианне я позвонил из аэропорта по мобильнику. Слышимость отвратительная, гул, треск, отдалённые выкрики.

— Мариша, ты где?

— На проспекте Сахарова, через полчаса я — дома. Жду!

Таксист заломил тройную цену и наотрез отказался ехать через центр.

— Там всё перекрыто, — со злостью сказал он, — шествия устроили, паскуды. Попытаюсь прорваться по Третьему кольцу. — И всю дорогу угрюмо молчал.

К дому на Фрунзенской набережной мы подъехали почти одновременно с Марианной. Мы обнялись, и я впервые увидел на её глазах слёзы.

— Что это у вас творится? Через центр не проедешь, крутили по какому-то Третьему кольцу, я впервые увидел Новодевичий монастырь сверху.

— Ты что, телевизор не смотришь?

— Смотрю. Только французские каналы, где нет политики.

— Удобная позиция. Что происходит, Петя? А ничего. Протестный выплеск, который ничем не кончится. Время для взрыва ещё не пришло, настоящий протест только накапливается. Что такое русский бунт, тебе известно.

— Мариша, может, решишься, переедешь в Париж? И мне было бы не так одиноко. Я ведь старею... Не хочешь жить в студии, куплю тебе квартиру.

— Как я уеду? А родные могилы? Папа с мамой в Питере на Волковом, Игорёк — на Троекуровском, твои — на Новокунцевском. Были бы дети, решилась... А так... Впрочем, братик, всё может быть.

Марианна седьмой год вдовела. Её Игорь, как и многие кадровые военные, не пережил разрушения армии, умер от инфаркта прямо на лекции. Статистики подсчитали: перестройка и лихие девяностые унесли людей больше, чем в годы сталинских репрессий.

Сестра несколько поблекла, но, несмотря на возраст, тщательно следила за собой. У неё не переводились любовники.

Одно время Марианна увлеклась политикой, ходила в колоннах коммунистов с красными флагами и транспарантами «Банду Ельцина под суд!». О своих либеральных воззрениях не вспоминала, стала патриоткой. Постепенно всё же затихла, начала писать книгу воспоминаний, бросила, только раз навестила меня в Париже, но, похоже, город любви и моды не произвёл на неё впечатления. Я ежемесячно переводил ей солидную сумму в евро, на её пенсию не проживёшь. В это трудно поверить, но сестра стала истово верующей, ездила по монастырям, сменила круг друзей и знакомых. На этот раз я застал у Марианны довольно занятого человека. Мужик уже в возрасте, крепкий, бородатый, стриженный под «горшок», в серой косоворотке, кирзовых сапогах. Говорил, нарочито «окая», то и дело оглаживая густые, в проседи, волосы, смазанные какой-то пахучей дрянью. Знакомясь, поклонился в пояс, гулко уронил:

— Герасим Рыбалкин, художник-примитивист, уроженец святой Твери. Вот гостюю у матушки Марии Васильевны. Намерен организовать выставку своих картин в Доме художников у Крымского моста, да не вытанцовывается в сатанинской столице. Дорого, да и бесы препятствуют.

От французского вина Герасим отказался, пил водку стаканами, не пьянел, говорил о пятой колонне в правительстве и народе-вирусе, захватившем Россию-матушку. Потом как-то внезапно засобирился и ушёл не простившись.

Марианна, усмехнувшись, спросила:

— Не правда ли, декоративная фигура?

— Да уж. Он что, в самом деле, художник?

— Да, малюет что-то. Выставлялся в Твери. Ещё из глины свистульки делает на продажу.

— Чем это от него так пахнет?

— Мужиком, Петенька.

— Скорее уж козлом.

— Не скажи, ему под семьдесят, а он как любовник сорокалетним фору даст. Вообще-то его Герман зовут, из бывших спортсменов, институт Лесгафта окончил.

— А сейчас что придуряется? Косоворотка под разночинца, окает, как актёр в пьесах Островского. Новые веяния?

— Да ладно тебе, совсем уж офранцузился. В церковь-то ходишь?

— Хожу по престольным праздникам.

— Жениться не надумал?

— Боже упаси.

— Анечку, что тебя приёмам любви обучала, помнишь? Умерла, рак.

Я погостил у Марианны две недели и сорвался в Париж. Москва на этот раз показалась мне чужой и враждебной. Сестра отправилась меня провожать; в Шереметьево, когда прощались, она вдруг заплакала:

— Вдвоём мы остались, Петька...

В Париж я прилетел с тяжёлым чувством. Меня ждало неожиданное известие: позвонила секретарша из «Ле Монд»:

— Где тебя носит, Пьер? Тебе пришло письмо, третью неделю лежит у меня на столе.

— Был в Москве, Мари. Там чёрт знает что делается, митинги, шествия. Откуда письмо?

— Из Израиля. От какого-то Мишеля Чудновского. Знал такого?

— Знал. Сто лет назад. Любопытно. Перешли с курьером, будь другом.

Явившийся из небытия Миша Чудновский писал, что прочитал в Интернете моё эссе о русских художниках-авангардистах семидесятих годов минувшего века, и запоздало благодарил за участие в похоронах его матери. О себе Чудновский писал скупно: живёт на юге Израиля, в Эйлате, дал свой адрес, но почему-то не сообщил номер телефона. Неужели у него нет мобильного?

Я в этот день выпил бутылку виски, вспоминая ушедшее время, а утром позвонил в агентство и заказал билет на самолёт до Эйлата.

8

В Париже шёл дождь, даже не дождь, а морось. Подсвеченная люминесцентным светом влага рождала странный эффект: дома казались отлитыми из серебра, автомобили катили по серебряным улицам, а светофоры служили неким контрапунктом в этой зимней парижской феерии. Я любил этот город и боялся его, нет ни одного места на земле, где призраки так легко уживаются с людьми, где история не давит, как в Москве или Петербурге, а естественно соединяется с повседневностью.

В самолёте израильской компании мне досталось место в двух метрах от телевизора, укрепленного под потолком салона. На плоском экране отражался курс крылатого корабля. Маленький самолётик завис над залитыми дождём предместьями Парижа, его остренький нос развернулся, нацеливаясь на голубую чашу Средиземного моря.

Я трижды побывал в Израиле, обычно останавливался в Тель-Авиве — кратчайший путь до святых мест, пешком ис-

ходил Иерусалим, но так и не испытал ни благодати, ни мистического страха — не сподобил Господь. И только в Гефсиманском саду физически ощутил пространство и время в их вечном единстве. Вот под этим древним оливковым деревом стоял Христос, его лицо было обожжено пустыней, а сыромятные ремешки сандалий натёрли ступни. А вот там, за путаницей усохших зарослей, под фиговым деревом замер, прислушиваясь к шагам убийцы, Иуда.

Самолёт нёсся в ледяном пространстве, внизу лежали облака, напоминающие ортопедический матрац. Когда шасси лайнера коснулось взлётно-посадочной полосы, и салон взорвался аплодисментами пилотам, мягко посадившим самолёт, я с удивлением подумал: зачем прилетел в Эйлат, в южную и, на мой взгляд, самую неинтересную часть Земли обетованной? Купание в февральском Красном море меня не привлекает, а рестораны с кошерной едой есть в Париже, Москве, Лиссабоне, Мексике и, возможно, на острове Огненной Земля. Кошерность — для евреев. Я люблю светлое итальянское чревоугодие и ещё блины с маслом, что выпекают в московских блинных. Каждому своё. Письмо в редакции провалялось три недели. Чудновский мог покинуть Эйлат. Да и о чём мне говорить с Михаилом? Прошло столько лет! За это время люди меняются до неузнаваемости. Мария Васильевна умерла три месяца спустя после ареста сына. Хоронили её всем подъездом. Никто из друзей Чудновского на похоронах не был. Я сейчас вряд ли бы нашёл могилу старухи.

Над пустыней висело жёлтое зарево. Одноэтажное здание аэропорта внутри оказалось на удивление просторным и функциональным, сервис ничуть не хуже, чем в перегруженном Орли. Я подхватил кожаный баул, кофр с фотоаппаратурой и пошёл к стоянке такси. Небо рассёк гром — на посадку заходил израильский истребитель. Овда — военный аэродром. Израиль в любой его части настороженно-военный, бессрочный укрепрайон.

Поездки давно перестали меня волновать. Когда-то я любил Москву, свой тихий Учебный переулок, звон колоколов Новодевичьего монастыря, белых лебедей на пруду. Теперь я люблю старую часть Парижа, улицу Лафайет, арабский ресторанчик в трёх минутах ходьбы от моего подъезда, люблю Монмартр, и поверьте, обожаю клошара сенегальца Джо, который уже год ночует на вентиляционной решётке метрополитена. На Джо потрёпанный смокинг, добытый на блошином рынке, и итальянский галстук на грязной шее. Туристы воспринимают клошара, как одну из достопримеча-

тельностью. Полиция старается не замечать сенегальца — он стал частью пейзажа. Парижане нынче носят галстуки по официальным поводам. Если в метрополитене или на улице встретите человека в галстуке, значит, он либо африканец, либо молдаванин. В новеньких пиджаках от Версаче и плащах от Бугатти ходят исключительно русские бандиты.

Я люблю Париж, потому что по его тротуарам и площадям ходила Одиль, дышала влажным воздухом, ощущала бражный запах листьев в Булонском лесу, а как-то мы с ней слушали шорох опавшей листвы на старинном кладбище на Монмартре, где похоронен Эмиль Золя. Для меня это свято.

Только ступив на землю Эйлата, я осознал, что вряд ли задержусь здесь на неделю, и у меня стало портиться настроение.

— Куда едем, мистер? — спросил на английском таксист, светловолосый, слегка обрюзгший парень, наверняка русский.

— Любой отель ближе к центру.

Таксист с удивлением глянул на меня:

— Вы русский?

— Не похож?

— Нет. Англичанин, бельгиец, француз. Но не немец. Немцы сразу требуют включить счётчик.

— Ценное наблюдение. Кстати, вы тоже не похожи на еврея.

— Я белорус. Жена — еврейка, потому я и здесь. Судя по плащу, кофру и кожаному баулу за пятьсот баксов, вам можно предложить «Хилтон Эйлат» или «Клуб Отель». Полноценные пять звёздочек.

— Что-нибудь потише и попроще. Лучше, где останавливаются русские.

— Есть такой. «Аркадия». Вполне приличный отель с удобными номерами. Три звезды, кошерная еда, рядом торговый комплекс. Правда, до моря далеко, минут двадцать пёхать.

— Самое то. Я ненадолго.

Сразу после аэропорта открылся лунный пейзаж, превосходное шоссе было пробито среди рыжих холмов, слева и справа простиралась пустыня, над которой зависла серая дымка, мелкий песок с шелестом ударял по ветровому стеклу.

Наискосок к шоссе по пустыне брели солдаты в камуфляже, сгибаясь под тяжестью рюкзаков, в руках автоматические винтовки. Шли, едва передвигая ноги, растянувшись в длинную цепочку.

— Новобранцы? — спросил я.

— Какое там. Девки из спецназа. Охраняют границу с Египтом, мышь не проскочит. Они только с виду хилые, да и устали, километров пятнадцать отмотали, а попади к ним — кости переломают.

Портье, с уважением заглянув в мой французский паспорт, всё же не смог скрыть удивления, когда я потребовал deluxe rooms — номер повышенной комфортности. Отель пустовал, зачем этому лягушатнику переплачивать за номер? Номер и в самом деле имел признаки повышенной комфортности, присутствовали даже халат и хрустящие пластиковые тапочки. Израиль не Турция, здесь без особого риска для жизни можно жить и в трёхзвёздочном отеле.

Отдёрнул шторы. День угасал. В той стороне, где должно быть море, копилась тьма. Я принял душ, переоделся и спустился в холл. Бар не работал. Услужливый портье, по-видимому, говоривший на всех языках мира, сообщил, что в садике при отеле бар открыт до полуночи.

Утром, позавтракав, часа четыре слонялся по Эйлату. Город был рассечён взлётно-посадочной полосой местных авиалиний на две половины: курортную и жилую. Нужно обладать превосходной техникой пилотирования, чтобы посадить «Боинг» на узкую полосу бетона, и было жутковато смотреть, как лайнер, едва не задев шасси за верхушки пальм, заходит на посадку. Тень самолёта на мгновение накрывала городской пляж, усеянный телами купальщиков. Была суббота — шабад, на площадке перед громадным супермаркетом плясали евреи. И где бы я ни был, гвоздила одна и та же мысль: стоит ли разыскивать Михаила Чудновского или отказаться от этой затеи? Наконец решился...

Подъезд дома со стороны двора поверг меня в уныние. Ни домофона, ни консьержки, обшарпанная лестница с устоявшимся запахом жареной рыбы. После двойного звонка дверь открыла полная седая женщина в коротковатом халате и пластиковом фартучке. С удивлением глянув на меня, на чудовищном английском с трудом произнесла:

— Что угодно, господин?

— Простите, здесь живёт Михаил Чудновский?

По лицу женщины скользнул страх и погас.

— Да...

— Я его старый знакомый по Москве.

За спиной женщины послышался скрип, шуршание, и знакомый голос раздражённо произнёс:

— Мара, не загораживай дверь. Это из налогового департамента?

От Миши Чудновского остался один голос. В инвалидной коляске сидел старик с окладистой седой бородой. Ноги его были укрыты шотландским пледом. Ещё у Миши остались прежние глаза, чёрные, с искринкой.

— Нет... Нет, этого не может быть. Петя! Петя Семёнов! Чёрт... Какой ты огромный! Дай я тебя обниму, только не опрокинь коляску. То-то мне сегодня приснился наш дом в Учебном переулке. Заходи, не торчи в дверях. Мара, Мара! У меня сегодня праздник. Сходи в магазин Фимы за водкой. Бери только «Столичную», — Чудновский повернулся ко мне: — Плохо понимает по-русски. Я — учитель русского языка, так и не смог обучить её великому и могучему! — Он перешёл на иврит, давая указания жене.

В выстуженном кондиционером коридоре царила идеальная чистота, пахло дезодорантом, такой же порядок был и в спальне-кабинете Чудновского. Полки с книгами, на стенах фотографии и акварели старой Москвы. Я глянул на пустую столешницу письменного стола. Михаил перехватил мой взгляд и грустно усмехнулся:

— Увы, дорогой мой, я творчески пуст. Всё позади, всё осталось там, в России. Всеми конец. Но не будем о грустном, ибо уныние — один из величайших грехов человеческих. Садись, дорогой. Сейчас Мара сходит за водкой, сделает закусь. Посидим по-московски, как в былые времена. Спасибо тебе, что помог маму похоронить. Мне писали... Прости, что не поблагодарил тебя, боялся навлечь неприятности. Ты из Москвы?

— Из Парижа.

— Да-да. Я как-то забыл. О тебе немало информации в Интернете. Рад за тебя. Да, всеми конец. И куда подевалась эта баба? Еврейки хорошие жёны, но делают всё на удивление медленно. А нам нужно поговорить. Впрочем, говорить буду я. Сижу, как крот в подземелье.

Михаил тихо, по-стариковски, заплакал. И было нестерпимо смотреть, как слёзы скатываются по пергаментным щекам, увязая в бороде.

«Зачем я здесь?», — в который уж раз за последние дни спросил я себя. Больничная чистота, тихий шорох кондиционера действовали на меня угнетающе. Жена Михаила вкатила в кабинет-спальню столик на колёсиках. Бутылка водки стояла в серебряном ведёрке со льдом. Закуски скромные: небольшие бутерброды с воткнутыми в них вилочками, сыр, зелень, маслины.

У Чудновского опять повлажнели глаза.

— Давай за встречу. Залпом, за всё хорошее. А ведь хорошего было немало. Я это понял здесь, сидя взаперти посреди

пустыни. Мне часто снится, как я иду по Усачёвскому скверу, только сквер этот больше, не имеет конца, он так же безразмерен, как Гефсиманский сад. Скажи, чего мы добивались? Евреи — понятно, чтобы слинять в Израиль или Америку. А мы, русские? Развалить собственную державу? За чем?

Чудновский замолчал, лицо его окаменело, брови приподнялись над переносицей. Стало слышно, как равнодушно стучат часы. От их костяного пощёлкивания веяло жутью. В моей парижской студии только электронные часы, они не издают ни звука.

Водка подействовала на Михаила возбуждающе. Он заговорил с былым жаром:

— Когда меня шибанул инсульт, голову словно сквозняком продуло. Как-то всё вокруг стало видеться яснее, отчётливее. Ох уж эта игра в диссиденты... Тогда мне это казалось важным. Диссиденты существовали всегда, во все времена. Все философы и многие крупные писатели — диссиденты своего времени. Толстой — великий диссидент, отлучённый от церкви. Примеров — масса. Во второй половине двадцатого столетия самое полноводное движение инакомыслящих возникло в России... И что это дало? Развал великой державы! А нашу Родину ждало ещё одно испытание, ещё один излом. Народ ожидал от Чубайса, Гайдара, Явлинского новых идей. А кончилось болтовнёй, предательством и разрухой. Вот как отзываются о русском народе некоторые эмигранты: быдло, рабы, скоты. Оказавшись на Западе, разбухший от сытости мерзавец возгласил: «Россия — мать, Россия — сука, ты ответишь и за это, очередное вскормленное тобой и выброшенное на помойку дитя». Каково? Идеологические пастухи, герои семидесятых! Разве я, маленький человек, боролся за то, чтобы всколыхнулась эта дерьмовая плесень? Я сам себя сослал в эту пустыню, здесь и сдохну.

Чудновский закрыл глаза и откинулся на спинку инвалидной коляски. Его утомил разговор. Через минуту он, сконфуженно улыбнувшись, сказал:

— Я заговорил тебя, Петя. Есть причины моей стариковской болтливости. Мара не говорит по-русски, общаемся на иврите и чуть-чуть на английском. Близкие друзья, переехавшие из России в Израиль, перемёрли — климат, и на родном языке я общаюсь только сам с собой. И, похоже, слегка тронулся на этой почве. Порой мне кажется, что я умер, и душа моя бродит по любимым московским улицам. Сны, сны... Иногда просыпаюсь — подушка мокрая от слёз. Мне немного осталось, Петя. И я вздрагиваю от мысли, что меня своло-

кут на кладбище в Эйлате и зароют в раскалённый песок... Папа с мамой упокоились на Хованском. Там деревья, пахнет землёй, и весной поют птицы. Ты бываешь в России?

— Конечно. Останавливаюсь у двоюродной сестры, дом на Фрунзенской набережной, окна глядят на Москву-реку и Нескучный сад.

— Боже мой, Нескучный сад! Любимое со студенческих времён место. Видел по телевизору.. Новодевичий монастырь отремонтировали, выкрасили древние стены...

— Только с парадной стороны, та стена, что обращена к пруду, серая, в потёках.

— На берегу пруда всё так же сидят рыбаки?

— Сидят. А лебедей нет, зато много уток.

— Уток... Ты надолго в Эйлате?

— Нет. Улечу послезавтра в Париж, у меня презентация новой книги, сам и оформлял. Только работа и держит на поверхности. Да ещё путешествия.

Михаил горько усмехнулся:

— А у меня одна работа: от койки добраться до туалета. Правая рука не работает, а левой писать так и не научился. Хорошо хоть речь восстановилась. У тебя в Париже семья?

— Нет. Один. После гибели Одиль я так и не женился.

— Гибели?

— Да. Её убили в Чечне.

— Прости, Петя, прими соболезнования. О чём твоя книга?

— Обо всём понемногу. Кстати, там есть эссе о московских художниках-авангардистах, что тебе понравилось. Точнее, несколько эссе. В Москве собираются открыть музей Анатолия Зверева.

— Да-а, музей... Пришли книгу, очень прошу. И поскорее. Я вряд ли переживу это лето. В июле температура в Эйлате поднимается до пятидесяти градусов. Пока спасает кондиционер...

В самолёте, едва застегнув ремни, я вдруг понял, зачем летал в Эйлат. Миша Чудновский, воспоминания — всё так, но подсознательно я хотел убедиться в своей правоте. «Колбасная» эмиграция затихала, о ней стали забывать. Легальные, попахивающие чесночком «диссиденты» расселились по Израилю, Европе и Америке, стали заурядными обывателями. Пострадали невинные люди, вроде Чудновского, для которого эмиграция стала подлинной трагедией.

Засветился экран телевизора, подвешенного к потолку. Электронный самолётик указывал острым носом на Европу,

где в серебристой дымке возвышался Париж, город с отмытыми дождём набережными, распухшей грязно-жёлтой Сеной и ещё сквозным, без весенней листвы, Люксембургским садом.

9

Я попросил портье вызвать такси. Сегодня я ехал в Венецию с единственной целью: проститься до следующего года. Венеция стала для меня своеобразным аккумулятором, подпитывающим жизненные силы. Такси неслось по пустынной улице. Слева, за густыми зелёными зарослями мелькнула серая полоска заводи. Таксист араб вяло шевелил синими губами. Молился? А может, пел? В Париж судьба поманила меня не круассанами и колбасой, а любовью к Одиль. И всё же корни, удерживающие меня на родной земле, оказались непрочными. Дунул ветерок, и понесло меня по городам и весям, как сухой ком травы перекасти-поле. Гибель Одиль сделала из меня Агасфера, обречённого на скитания по земле до Второго пришествия Христа. И мне уже не раз приходила в голову мысль: не оборвать ли до времени этот бессмысленный туризм.

Мои метания по свету не более чем поиски утраченного времени и бегство от самого себя. Встреча с Михаилом Чудновским вывернула целый пласт прошлого, пахнуло оттаявшей землёй, духами Одиль. Время героев шестидесятых—семидесятых прошло, смахнув с подиума фигурантов, — так прибой смывает птичьи следы на песке.

В порту Punta Sabbioni, у билетной кассы стояла небольшая очередь. Небесная голубизна блекла, обещая жаркий день. Через несколько минут отходило рейсовое судно в Венецию. Деревянный причал отозвался гулом под шагами туристов. Трап раскачивался на лёгкой волне, матрос в полосатой фуфайке ловко подхватывал пассажиров. На этом судёнышке я частенько пересекал лагуну. Сладковато пахнуло дизельным выхлопом. Я прошёл в салон, сел на скамейку и попытался вспомнить сон, терзавший меня нынешней ночью. Напротив села женщина лет сорока. В молодости она была очень хороша, сейчас лицо поблекло, на нём лежала печать хронической усталости. Русских туристов можно сразу выделить в толпе, особенно таких вот, сорокалетних — недорогие джинсы, майка, кроссовки, слегка подкрашенные от седины волосы. Небогата, видно, долго копила деньги, чтобы поехать в Италию. В рюкзачке бутылка воды, печенье,

сменная майка, косметичка, русско-итальянский разговорник. Едет одна, не в тургруппе, экономит на платных экскурсиях. Скорее всего, работает в бюджетной сфере: врач, учительница, заведующая детским садом.

Мне стало противно от своей пронизательности.

— Мадам, советую вам выйти на палубу, Венеция издалека тоже прекрасна.

— О боже, вы русский? Никогда бы не подумала.

— Я гражданин Франции, мадам.

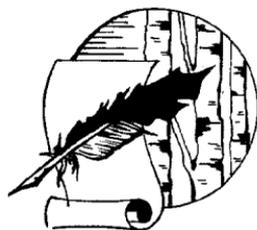
— Но говорите без акцента.

— Практика.

С внезапной горечью подумал, а кто я на самом деле? В России у меня, кроме Марианны, не осталось ни одной живой души, в Париже тоже. Одни родные пепелища... Вспомнил лицо Миши Чудновского, когда он говорил о Москве. От одной мысли, что через три часа я окажусь в своём номере отеля «Европа», мне стало нехорошо. Что потом? Ночное блуждание по барам, чтобы отключить сознание? Может, пригласить в номер эту даму? Скучно, да и не заменит она Одиль. Не заменит, нет. Нужно уехать, уехать завтра же. Только куда? Печальна судьба Агасфера.

Теплоход, миновав серо-стальную полосу возводимой дамбы, повернул направо, где проступал купол собора Святого Марка. Над дворцами и замками истаивала сизая дымка. Внезапно небо померкло, по лагуне хлестанул северо-западный ветер, и Гранд-канал из аквамаринового стал густо-синим, зубчатые волны отливали чёрную, вдалеке у причалов раскачивались катера и гондолы. Ветер сорвал с туриста шляпу, и она зависла над каналом, словно летающая тарелка.

Через несколько минут ветер стих, будто кто-то закрыл отверстие в куполе небосвода. Теплоход подходил к причалу.



Светлана СУПРУНОВА

ЗЕЛЕНЕЮТ БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ

Донбасс в крови. Опять летит снаряд,
И доползти до дома были б силы.
Стоит за шахтой бронзовый солдат,
И зеленеют братские могилы.

Он видит всё: огонь и чёрный дым,
Как чьи-то тени к погребу метнулись.
Уже под флагом жёлто-голубым
Они идут, *они* опять вернулись!

Чеканят шаг, *они* сегодня злей,
Заматерев за более полвека,
Прицелятся — не слышат матерей,
Курок нажмут — не видят человека.

Как на посту, прервав когда-то бег,
Стоит солдат под холодом столетий,
И за его спиной — ушедший век,
За плащ-палаткой — снова сорок третий.

И он сжимает крепко автомат.
Такое время жуткое настало,
Что кажется: не выдержит солдат, —
Из бронзы выйдя, спрыгнет с пьедестала.

НИНА

Живёт в небогатой квартире,
Ни мужа, ни даже детей,
Все годы одна в этом мире,
Без связей и нужных людей.

Всплакнёт ли когда, улыбнётся?
Ни радостей будто, ни бед,
Всё ладно, живёт как живётся,
Со шваброй спешит в кабинет.

В жару ветерка не попросит,
Мороз так мороз, ну и что,
Платок потеплее набросит,
Подденет жакет под пальто.

Живёт, никого не ужалит,
Всё мимо — молва, суета,
Картофелин пару отварит,
Закусит лучком — и сыта.

И кто-то сердечный найдётся
И как-то подыщет подход:
«Ну, как тебе, Нина, живётся?» —
«Неплохо», — плечами пожмёт.

* * *

Всюду, и в холод, и в зной,
В белом платочке, убогая,
Всё семенила за мной,
Словом обидным не трогая.

Мне бы на берег другой,
Села я в лодку забытую.
Слышу её: «Я с тобой»,
Слышу тоску неприкрытую.

... Шли средь болота и ржи,
Сколько исхожено, пройдено!
«Кто ты, бабуся? — скажи». —
«Родина, девонька, родина».

Стольких пришлось потерять
В эту шальную погоду.
«Буду ль кого вспоминать?» —
«Родину, девонька, родину».

Только и дел: дорожить
Тропкой последней, не пройденной.
«Чем до скончания жить?» —
«Родиной, девонька, родиной».

ЁЛКА

Её упрячут до поры,
Потом достанут из кладовки,
И разноцветные шары
Возьмут из старой упаковки.

В огнях мерцающих она
Который год по две недели
Стоит всё так же у окна,
Глядит на звёзды и метели.

А за окном привычный вид,
А за окном другая ёлка —
Без мишуры и не блестит,
И пахнет каждая иголка.

Синица прыгает легко,
Страхнула с ветки снег звенящий.
Так близко всё — и далеко
До ёлки этой настоящей.

ВАЛЕНТИНА

Простирнёт пододеяльник,
Ей успеть бы тут и там.
Валентина днём начальник
И техничка по ночам.

Свет погас, в домах уснули.
Залы чистые блестят.
Прикорнуть бы ей на стуле,
Только камеры следят.

Жизнь разъята на минуты,
По минутам день и ночь,
И одеты и обуты,
Сыты дети — сын и дочь.

Всех-то радостей — получка,
И не пусто в кошельке,
После швабры авторучка —
Как соломинка в руке.

После ноет поясница,
Выступит слеза порой,
После долго-долго спится,
Если завтра выходной.

Депутаты, суматоха,
Телевизор говорит.
Подойдёт к экрану кроха:
«Тише, дядьки, мама спит!»

* * *

Не видя ни поля, ни рек,
Как будто на крыльях летишь.
Куда ты спешишь, человек,
Куда ты всё время спешишь?

По лужам, по снегу, по льду
Ты бегал полвека, кажись,
И ел ты и пил на ходу,
Присядь на скамью, отдышись.

В машине включи тормоза
И выйди в рассветную тишь.
Мелькают улыбки, глаза,
И разве друзей разглядишь?

И кругом идёт голова,
И ты не расслышишь порой:
Все добрые в мире слова
Вдогонку летят за тобой.

Но только тебе всё равно,
Дела, суета — как напасть.
Осталось, пожалуй, одно —
Споткнуться и в травы упасть.

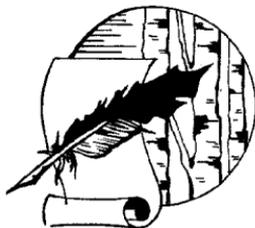
«ПОЭТ»

Просто быть поэтом неохота,
Вот идёт, доживший до седин,
Деятель заслуженный чего-то,
А ещё Почётный гражданин.

Кажется, фортуной поцелован:
Член союзов и лауреат,
И обласкан он, и титулован,
Обладатель премий и наград.

Май в разгаре, лопаются почки —
Вот уж где кончается покой!
На его странице строчки, строчки,
Но длиннее список послужной.

Грамоты, значки — всего пребудет,
Хватит хлама на недолгий век.
Отними всё это — просто будет
Несчастливый грешный человек.



Валентина ЕФИМОВСКАЯ

ГЕНЫ ПАМЯТИ

ПЕСНЬ КАЗАКА

Влажны вёсны в казачьей станице,
над полями, как бурки, туманы...
Память талой водою сочится
сквозь печальную песнь атамана:
в ней любовь и сородичей лица,
и мольбы чудотворной иконе,
и России святыя границы,
и в бою распалённые кони,
и могилы с родными крестами,
и Победное дедово знамя.

* * *

Смерть и бессмертие, тленный — нетленный,
Тьма беспросветная — свет...
Верю, вместилищу Божьей Вселенной —
Сердцу — антонима нет!

В ОГНЕ

Меняется природа вещества,
Когда огонь его строенье рушит,
Являя прах любого естества...
Но прахом никогда не станут души.

ГЕНЫ ПАМЯТИ

Меня не осуждайте, Бога ради,
не усмехайтесь — тяжек мой удел.
Я помню рукопашный в Сталинграде,
как в муках ленинградцев род редел.

Мне возразят: «Вас не было на свете,
когда в войне кровешной мир пылал».
Не принимаю замечанья эти —
в сраженьях русских я во всех была!
Я поднималась к смерти с Евпраксией,
Была с Космодемьянской казнена...
Мне судьбы эти пережить с Россией
дано, чтоб одолела смерть она.

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Мамы нет уже который год.
Нет... Но ничего не изменилось,
Так же дождь за окнами идёт,
Так же солнца скуповата милость.
Так же линза памяти чиста —
Дальше фокус, а картинка ближе.
Вижу я знакомые места:
Деревянный храм, в плену он выжил.
Отче Алексей у алтаря,
Богомольцы в купах фимиама.
Сквозь окно златит оклад заря
Образа, подаренного мамой.
Высоки Казанские кресты,
Белые над ними птичьи стаи,
К небесам Пасхальной чистоты
По молитвам души возлетают.
Прошлое не кануло вдали.
В безвозвратность время не уходит.
То, что стало прахом для земли,
В памяти спасение находит...

* * *

Дорога моя русская кровь,
Как завещанное колечко.
Предков жертвенная любовь
Запечатана в ней навечно.

Глубока моя русская кровь,
Как наследных печалей речка,
Что течёт в берегах веков
В дальний мир сквозь моё сердечко.

* * *

Разгулялась смерть по жизни,
целится косою вновь

в свет небес и ждёт, что брызнет
Солнца огненная кровь,
на Земле сжигая реки,
в пепел превращая твердь...
Смерти не понять вовеки,
что без жизни смерти — смерть.

* * *

Птицы знают, скоро ль будет дождь,
Звери чувят приближенье стужи.
Верю я, что ты ко мне придёшь...
Возвращайся, ты мне очень нужен!
Приоткрою на крылечко дверь:
У порога листья круговертью!
Вспомни вешний ветер и поверь,
Что любовь — родная дочь бессмертью...

* * *

Куда она, зачем летит —
Гусей вечерних стая? —
К заре закатной впереди,
От ночи улетаая.
Казалось, взор мой ей торил
На свет небес дорогу.
Летели птицы меж светил
Смиренно, словно к Богу..

ВЕСНА

Забрезжили стволы берёз
вблизи расхлябившихся тракторов.
Везёт навоза первый воз
с особой бережностью трактор.

Истаял снег в полях нагих,
земли подпитывая соки,
и, как застенчивый жених,
бледнеет Солнце на востоке.

С берложьего как будто сна
ленивы, хмуры дни-медведи:
впрягает пасмурно Весна
в свой выезд их... Но ярко едет!

БОЙНЯ

От редакции. Данная статья была написана автором летом прошлого года, когда укрофашистские войска бесчинствовали в Новороссии. За прошедшие полгода обстановка на Донбассе сильно не поменялась, и мы решили статью опубликовать, т.к. многие оценки тех событий оказались верными, а предвидение больших перемен в «нэзалэжной» остается актуальным и в наши дни.

Общая ситуация на Украине вошла в ту стадию, когда жизнь на наших глазах формирует самую настоящую историческую развилку, и мы, каждый своей мерой, становимся участниками этого увлекательного исторического процесса. Увлекательного, но для будущих историков. К сожалению, в текущей реальности всё это формирование исторической развилки означает для нас лишь то, что гражданская война, развязанная проамериканским украинским правительством на Донбассе, придет в каждый дом и станет убивать жителей всей остальной Украины, как это делает сегодня украинская карательная группировка на Донбассе.

Повторяю, что гражданская война уже ступила на территорию Украины и стала сеять смерть, посылая сотни цин-



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

ковых гробов по городам и весям «самостийной» Украины, плясавшей гопака на майданах и радовавшейся свержению «кровавого» Януковича. Но это лишь первые шаги. Смерть еще не доделала все свои дела на Донбассе, а потому она сегодня лишь приоткрыла дверь на Украину. Но уже совсем скоро она начнет свое беснование на тех самых майданах, где стада дураков скакали и сеяли ветер: «Москаляку на гіляку!»; «Москалів на ножі!»; «Слава нації! Смерть ворогам!».

Этот рукотворный ветер коричневой смерти стирает сегодня с лица земли промышленный Донбасс, сбрасывая его жителей из века XXI сразу же в век каменный. Но этот ветер уже рождает и ту самую грядущую бурю, которую обречена будет пожинать беснующаяся Украина, посеявшая адский ветер смерти и ненависти.

Миллионы украинцев, впавших под воздействием телепропаганды в коллективный милитаристский психоз, вдруг возжелали смерти своим братьям — «колорадам» и «ватникам» Донецка и Луганка, и смерть пришла в эти города. Но коса ее работает не избирательно, а потому еще сильнее, чем самих «колорадов», стала она косить новообращенное стадо украинских «патриотов». Факелы пылающих украинских бронеколонн, сожженных повстанческими батальонами, ярко осветили постапокалиптический мир разрушенных промышленных городов. Тот самый постапокалиптический мир, который родился на майдане в Киеве.

Большинство украинцев, взбесившихся на почве немотивированной ненависти к России и требующих крови «ватников», еще и еще, в силу массовой своей глупости, просто не могут сообразить, что, радуясь разрушению промышленных и жилых кварталов Донецка и Луганска «Градами», «Смерчами» и «Ураганами» украинской армии, они тем самым ментально программируют будущий облик своих собственных городов, куда немедленно заявится смерть, покончив со своими трудами на Донбассе.

Разглядывая с умилением фотографии разбомбленных карательной группировкой АТО Славянска, Донецка, Дебальцево и Шахтерска, усеянные горами женских и детских трупов, каждый националист должен был бы понимать, что на самом деле он видит Киев, Винницу и Львов 2015 года. Но даже самый циничный, умный и продвинутый в постмодернизме националист этого понять не может в принципе, ибо постоянно пребывает в состоянии навеянного коллективного антироссийского психоза и не способен мыслить логически и самостоятельно. Тем более не в состоянии сегодня мыслить разумно миллионы новообращенных «телебандеров-

цев», рекрутированных «Интером», «Плюсами» и «5-м каналом». Заведенные пропагандой, толпы украинских патриотов-неофитов, беснуясь перед своими компьютерами и телевизорами, они сегодня истерично требуют крови «ватников», и до самого последнего момента не способны будут понять, отчего это они захлебнулись своей собственной кровью и кровью своих детей.

Сегодня нет уже надобности писать длинные аналитические тексты. Возможно, еще имеет смысл делиться с читателями собственным ощущением реальности, но выражая его какими-то символами или образами, которые эта судорожная реальность рисует в воображении автора.

Бабочка грядущего уже рождается из куколки вчерашнего дня, и на то, какой она будет, нам уже не повлиять. Повлиять могла бы Россия, но лишь вчера и позавчера. Повлиять был в силах российский президент Владимир Путин, и он повлиял, предпочтя роль махатмы, трансцендентно созерцающего ход времени, но не роль хроноконструктора.

Нацисты жестоким террором и огнем подавили Русскую весну в Одессе и Днепропетровске, в Запорожье и Харькове. Глава Российского государства не оказал активной и действенной помощи восстанию русского народа на Донбассе, и восстание не смогло победить в те дни весны, когда для этого были все предпосылки. Но, с другой стороны, глава Российского государства и не встал открыто на сторону проамериканских врагов народного восстания, и не сделался его палачом, хотя окружение его к такому шагу подталкивало. Более того, В.Путин предпринял, по всей видимости, какие-то меры, чтобы не дать восстанию народа погибнуть в самые трудные дни.

Война на Украине под ложным флагом (против России), как воздух нужна украинской клептократической элите, чтобы списать на нее свои темные дела; чтобы списать на нее лопнувшие пузыри обещаний, выданных майдану; чтобы погубить на ее фронтах наиболее пассионарных и фанатичных «баранов» майдана («Хто нэ скаче, той — москаль!»), способных выставить самозваной проамериканской хунте кровавый счет за вселенский обман и предательство майдана. И следует признать, что пока со своей задачей — всё глубже втягивать украинское общество в гражданскую войну — украинская элита успешно справляется.

Гражданская война на Украине под вывеской «войны против России» нужна украинской клептократии еще и для того, чтобы на ней погибло как можно больше молодых мужчин, якобы убитых российскими войсками, о чем, не умолкая,

трещит украинский телевизор-дуроскоп. Миссия Порошенко и присных, предписанная им к исполнению американскими спонсорами майдана, — чтобы в каждую украинскую семью пришел хотя бы один гроб, который затем будет списан на Россию. Задача этого гроба, пришедшего из Донбасса, — утопить в крови и слезах, в потоке горя и в фонтанах лжи даже малейший шанс на восстановление союза Украины с Россией в будущем.

Безусловно, Россия сегодня не воюет с Украиной, в этом уверены как минимум двадцать из сорока миллионов живущих на Украине ее граждан. И доказательством этого (что Россия с Украиной не воюет) служит именно факт самого все еще формального существования государства с именем Украина. К сожалению, это не делает ситуацию менее драматичной.

Именно успешная информационная спецоперация проамериканской украинской элиты, которая внушила большинству проживающих на территории бывшей Украины граждан, что на Донбассе украинская армия воюет не с восставшим тамошним населением, а с «российскими боевыми и специальными подразделениями, агентами и диверсантами», только и позволяет этой самой элите удерживать власть в стране. Удерживать, но на безнадежно падающем «украинском тренде», и не более того.

Почему Владимир Путин не вводит войска на Донбасс для защиты тамошнего русского населения от геноцида, развязанного украинской армией и карательными зондеркомандами, политологи объяснили подробно, апеллируя множеством «неоспоримых» доводов. Не менее половины их и вправду звучат вполне убедительно. Но вот почему русский президент Владимир Путин не оказывает восставшему Донбассу действенной и широкомасштабной военно-технической и организационной помощи, даже самые подобоострастные адепты российского лидера убедительно объяснить не могут. Ведь даже сегодня, если бы Россия поставила повстанческой армии Донбасса достаточное количество снятой с консервации и отремонтированной советской бронетехники, артиллерии и средств ПВО и отправила тысячу-другую военных советников под видом интернационалистов-добровольцев, то прогнанный украинский режим не продержался бы против армии Стрелкова и трех месяцев. Эта ничтожная по меркам богатой России инвестиция в стрелковцев, которая даже при самом вольном допущении не превысила бы двух-трех миллиардов условных долларов, уже к Новому 2015 году вернула бы «российской короне» ее жемчужину — Украину в виде очищенной

от заразы галицкого нацизма Новороссии, простирающейся от Харькова до Ужгорода. Возвращение Украины в союз с Россией открыло бы путь к быстрому восстановлению российского контроля на всем постсоветском пространстве, что немедленно бы сделало путинскую Россию геополитическим субъектом первого ряда.

Это настолько очевидно, что неказание Путиным помощи восстанию на Донбассе вызывает всё большее и большее недоумение даже в самой России. Такая позиция главы российского государства требует какого-то пояснения. Политологи стараются вовсю, тиражируя самые разные теории, в зависимости от политических предпочтений. Но все эти объяснения так и остаются в ранге предположений по той простой причине, что сам Путин высокомерно не считает себя обязанным, хотя бы для проформы, прояснить для народа свою позицию. К тому же из окружения российского президента практически не бывает утечек в прессу.

Потому, пытаясь объяснить путинскую индифферентность по отношению к массовым убийствам украинскими властями русских жителей Донбасса и его нежелание оказывать помощь тамошнему восстанию, аналитики в любом случае вынуждены просто-напросто гадать, оперируя кто логикой, а кто увиденными картинками из хрустального шара. И все равно, усилия тех и других порождают одни лишь предположения, ибо проистекают не из достоверных фактов касательно путинских побуждений, которые тот тщательно скрывает.

Я в этом смысле не являюсь исключением и могу сделать всего лишь умозрительное допущение, почему глава российского государства поступает именно так, а не иначе. И я, безусловно, свое предположение сделаю в этой статье, как и, надеюсь, свои предположения продолжат делать все заинтересованные граждане. Ибо вектор от миллионов однонаправленных предположений, озвученных публично и ставших доминантой массового сознания, рано или поздно превратится в императив общественных ожиданий большинства граждан. И этот императив — тоже будет фактором конструирования будущей реальности наряду с противоположно направленным императивом — желанием каждого правителя (включая Путина) вытереть ноги о любые народные ожидания. К нашему счастью, реализовать подобные свои желания правители могут позволить себе не всегда. А потому, упорное давление экспертного и журналистского сообщества на Кремль с целью вынудить его небожителей встать на сторону восставшего Донбасса, несет безусловный положительный импульс.

Так почему же президент Российской Федерации Владимир Путин сквозь пальцы смотрит на массовое истребление карательной группировкой АТО на Донбассе украинских граждан, считающих себя частью русского народа, и не предпринимает никаких действенных мер по оказанию помощи пострадавшему народу? Перечислю, как и обещал, свои личные ощущения:

Восстание на Донбассе — это всамделишный народный порыв к социальной справедливости. И пускай никого не обманывает тот парадоксальный факт, что во главе де-факто «красноармейского» проекта Новороссии судьба поставила кондового «белогвардейца» Игоря Стрелкова. Полная победа народного восстания на Донбассе может вылиться лишь в одно — в социалистическую Новороссию, где олигархат будет репрессирован и экспроприирован.

При благоприятных обстоятельствах победное восстание, начавшееся на Донбассе, должно завершиться созданием комплекса условий, открывающих Украине (Новороссии) дорогу для построения на своей территории укрупненной версии Беларуси. Другое дело, если победа восстания будет неполной, да и не на всей территории бывшей Украины...

Владимир Владимирович Путин — первое лицо российского олигархического государства, один из столпов мировой политической элиты, тесно связанной с древней кастой ростовщиков, корпоратократами новых времен и мировым синдикатом спецслужб, охраняющих в планетарном масштабе сложившийся на сегодня мировой порядок. Тот самый «статус-кво Инферно», когда кучка супербогачей-социопатов считает себя вправе угнетать и даже истреблять трудящуюся часть человечества в любом месте земного шара по своей прихоти или во исполнение разного рода античеловеческих доктрин. И как бы ни жонглировали эвфемизмами сторонники и почитатели российского президента, Владимир Путин объективно является, по меньшей мере, идейно убежденным классовым врагом донецкого восстания. Парадокс истории, как и в случае Игоря Стрелкова, заключается в том, что спасение Российского государства на грядущем историческом изломе на все сто процентов зависит от успешного воплощения в жизнь проекта Новороссии, а значит — от полной и безоговорочной победы повстанческой армии Донбасса на территории всей Украины. Более того, личная безопасность Владимира Путина — адепта белогвардейского проекта для России — напрямую зависит от того, победит ли на Украине «Красная армия» белогвардейца Стрелкова, зараженная вирусом будущей социалистической государственности.

Но исторические парадоксы на этом не заканчиваются. Победа повстанческой «Красной армии» под руководством «белогвардейца» Стрелкова открывает чахнувшей в посткризисной стагнации «белой России», которой правит бывший красный чекист, а ныне белогвардейский «царь олигархии» Владимир Путин, путь для расширения ее до границ бывшего Социалистического Советского Союза. Ирония данной ситуации заключается еще и в том, что интеграция всего этого громадного пространства, с его неисчерпаемыми богатствами и первоклассным населением (по меркам остального постмодерного мира), может быть осуществлена лишь в рамках целенаправленной реинкарнации Сталинской социалистической Индустриализации и Коллективизации сельского хозяйства. Любая другая модель организации экономической жизни на воссоединенных территориях обрекает и саму Россию, и все эти территории на системный полномасштабный кризис и территориальный распад.

Потому глава Российской государственности, размышляя на тему, помочь или не помочь армии Стрелкова танками, артиллерией и ЗРК, ясно просчитывает последствия такого своего решения.

Перво-наперво, он отдает себе отчет в том, что после победы восстания на Донбассе никакая сила не удержит его в границах региона. Причина состоит как в том, что геноцид хунты требует отмщения, так и в том, что повстанческим лидерам тоже, как и главарям хунты майдана, нет никакого резона, получив в руки власть и вооружения, сворачивать военный проект и переходить к проекту мирного восстановления разрушенного войной региона. Ведь на мирное строительство, в отличие от военной кампании, не будет ни ресурсов, ни технологий, ни людского энтузиазма. Да еще перед стрелковцами встанет вопрос, как объяснить населению Донбасса, лишившемуся родных, близких, жилья, работы и сбережений всей жизни, что киевские организаторы геноцида останутся на свободе да еще и при бубновых интересах? А посему можно ни секунды не сомневаться, что если только повстанцам удастся отбросить войска АТО с территории Донбасса, то одновременно с отходом последнего бойца карательной группировки армия Игоря Стрелкова начнет наступление на Киев.

Во-вторых, Путин, будучи белогвардейским «царем олигархов», вполне комфортно мог бы управлять Донбассом, снова усадив на шею тамошнего населения местечкового воровского царька Ахметова с его бандитской шатией. Какие подобрать слова для такого рода отбросов, как Ринат

Леонидович, чтобы привести их к безоговорочному послушанию, Владимир Владимирович знает очень и очень хорошо. Но, к сожалению Владимира Владимировича, ему придется иметь дело с Игорем Стрелковым, который его гарантированно не поймет, если президент России, после победы повстанцев, попросит того снова посадить на верх «пищевой цепочки» Донбасса Ахметова и вернуть тому, как и всем остальным угнетателям времен самостийной Украины, их «священную частную собственность». Хуже того. Даже если бы Игорь Стрелков, что немислимо, но все же послушался Владимира Путина и предложил своим командирам совершить нечто подобное, он рисковал бы получить ярлык предателя, со всей последующей мерой причитающейся ответственности.

В-третьих, глава Российского государства осознает, что на второй день после того, как бывшие советские территории, силой оружия стрелковских бойцов, перейдут под его царственную длань, он должен объявить народу план новой де-факто военной жизни на будущие времена. План, который должен быть простым и понятным миллионам, и где эти самые миллионы смогли бы увидеть нарочито выставленную на всеобщее обозрение меру ответственности лично президента и его окружения за успех этого исторического начинания. Но какую такую Социалистическую Индустриализацию и Коллективизацию (кооператизацию) может провести Владимир Владимирович Путин, располагая в кадровой коллде такими «путинскими наркоманами», как Набиуллина, Кудрин, Медведев, Слюняев, Улюкаев, Дворкович, Прохоров, Греф, Вексельберг?

Но В. Путин не может не понимать, что по моральным меркам восставшего Донбасса, успешная поступь которого чем дальше, тем больше будет формировать этическую и правовую матрицу самой Российской Федерации, чуть ли не каждый деятель из его ближнего круга является вором, мздоимцем, откатчиком и социальным паразитом одновременно. Более того, каждый из этих деятелей сам все это прекрасно знает, как знает и то, что Путин тоже это знает. Все эти опереточные «путинские наркомы», жирующие в России, прекрасно отдают себе отчет в том, чем грозит им победа восстания даже в границах Донбасса, а потому делают всё возможное, чтобы такая победа не стала фактом реальности.

А еще, объявляя о воссоздании Нового Союза с автоматическим присоединением слова «социалистический», нельзя уже будет делать вид, как все эти годы, начиная с 90-х, что Запад с Россией не воюет. Объявляя о возрождении Социалистического Союза, самого страшного ужаса западной эли-

ты, и вовлекая народ в самый масштабный проект социального созидания XXI века, кто как не Путин понимает, что без войны, открытой и горячей, никто Россию на свободу не отпустит. А потому придется прямо указать российскому народу, как и всем братским народам, кто же их всамделишный враг. А реальный враг их — это Запад, и все его так называемые «общечеловеческие ценности». Но ведь сам-то «царь олигархии» Владимир Путин Запад врагом не считает. Запад с его «ценностями» для Путина — это естественная среда обитания. Путин не желает быть врагом Запада. Глава России, он демонстрирует это примером всей своей предыдущей жизни, желает быть полноправным членом «цивилизованного мира» во главе сильной России, и предпринимает усилия для достижения этого результата все годы своего правления. Того самого западного «цивилизованного мира», который большинством нормальных русских людей воспринимается как мир ублюдочный и дегенеративный.

Но беда Владимира Путина в том, что Запад назначил его «падшим ангелом» демократии еще даже раньше, чем привел к власти в России, свергнув ельцинскими руками триумvirат реформаторов: Примаков—Маслюков—Герашенко. И не просто назвал его врагом демократии, но и собирается демонстративно и показательно распять, а Россию расчленить и утилизировать, вместе с теми самыми «путинскими наркомками», которые об этом вполне могут и не догадываться, надеясь заслужить благосклонность западной элиты предательством своего кормильца Путина.

Российский президент все это безусловно осознает, как понимает и то, что у него и его страны на данный момент единственный шанс на выживание состоит в том, чтобы поднять брошенную Западом перчатку и продемонстрировать готовность воевать до последнего американца, но воевать не по американским, а по своим собственным правилам. И первым шагом в этой войне должен стать Парад Победы повстанческой армии в Киеве. А вторым шагом — денацификация Львова. Лишь после этого россияне по-честному получат возможность выйти на оперативный простор высокой геополитики!

Да и не может Владимир Путин все эти преобразования воплотить в жизнь самостоятельно, даже если бы искренне возжелал чего-то подобного. Ведь Новая Индустриализация на воссоединенных территориях реально возможна только лишь после учреждения Комитета Государственного Планирования. Но кто всё это грандиозное промышленное строительство будет возглавлять в условиях санкций, региональ-

ных войн и тотального эмбарго со стороны Запада? У Сталина были Молотов, Берия, Каганович, Микоян, Завенягин, Ванников, Тевосян и сотни других, преданных народу высококлассных управленцев-технократов, одержимых идеей переустройства мира и жаждой созидательного труда. А кто будет возглавлять Минсредмаш у Путина? Дворкович? Набиуллина? Слюняев?

Зачем могущественной России было тратить сотни миллиардов долларов на модернизацию собственной армии и ядерного щита, когда в решающий момент высший круг ее лидеров забоялся применить свой военный арсенал для уращения или уничтожения врага?

Вот и Путину становится не смешно, когда цепь его логических рассуждений доходит до этого момента. Да и самим Дворковичу и Слюняеву становится грустно, как только они подумают, что им могут поручить дело, за которое потом спросят, но не по-путински, а по-сталински. И Путин знает, что его соратникам становится от всего этого грустно, и они знают, что Путин об этом знает.

На всем современном политическом иконостасе России имеется один человек из тех, кто на виду, компетентность и дееспособность которого практически ни у кого не вызывают сомнения. Думается, что не вызывают сомнения и у самого Владимира Владимировича. Имя ему Глазьев Сергей Юрьевич. Но вся беда Владимира Владимировича в том, что Сергей Юрьевич, заняв пост премьера в нынешних условиях, и ясно понимающий свою меру политической, правовой и исторической ответственности, для проведения Индустриализации будет черпать инструкции не в методичках МВФ, как это делают сегодня назначенцы Владимира Владимировича в правительстве и Центробанке. Кроме того, Сергей Юрьевич, если он на самом деле возжелает делать реальное дело на поприще главы правительства, не рискнет взять на руководящие должности никого из выкормленного Владимиром Владимировичем высшего управленческого класса Российской Федерации. Наоборот, премьер-министр должен будет извести весь этот класс под корень, как какая-нибудь команда районных дератизаторов выводит крысиные гнезда в подвалах подведомственных учреждений. И Владимир Владимирович отдает себе отчет, что Сергей Юрьевич должен будет черпать свои кадры в стане людей, кардинально несогласных с Владимиром Владимировичем по многим вопросам, и этого никак не скрывающих. А парадокс кроется в том, что лишь идейные антиподы Путина, которых тот должен привести на высшие руководящие должности своими руками,

могут спасти Россию от экономического и социального краха, военного поражения и гуманитарной катастрофы в будущем. Но Сергей Юрьевич Глазьев сегодня даже не входит в ближний круг соратников российского президента. Речь о его возвышении мы ведем лишь как о событии гипотетическом, вероятном, но отдаленном в будущее, до которого еще надо дожить.

А Украина уже по-настоящему харкает кровью. Но взбесившаяся ее элита, вознесенная в свои кресла одурманенными толпами галицкого плебса на майдане, с каждым днем все больше и больше находит для себя приятным вкус человеческой крови и болезненно жаждет убивать как можно больше людей, радуясь каждому новому гробу и не делая различия между вкусом крови своих врагов-«колорадов» и своих сторонников-нацистов. Миссия элиты майдана — убить как можно больше украинцев в угоду американскому правительству. И остановить этот конвейер смерти, стартовавший инсценированным расстрелом снайперами майдана «небесной сотни», уже никому не дано.

По логике вещей, где-то к середине осени должен установиться силовой паритет между повстанческой армией и карательной группировкой Порошенко, а затем гражданская война, скатившись с терриконов опустошенного Донбасса, понесется на хлібні лани, у вишневі садочки і на безкрайні полонини новобандеровской Украины.

Уже совсем скоро наступит день, когда жаждавшие крови жителей Донбасса сотни тысяч «продвинутых» киевлян, требовавших в Фейсбуке «поджаривать «колорадов» и приветствовавших АТО, вдруг с удивлением, а затем и с ужасом сообразят, что артиллерийские дивизионы ополченцев уже размещаются вокруг Киева и полным ходом готовят штурм столицы. И великое будет благо, если главы хунты побегут и оставят город раньше, чем на него упадут первые снаряды. Ведь к Киеву подойдут уже не те идеалисты из такого далекого марта 2014 года, захватывавшие без боя здания областных администраций в Донецке и Луганске. Брать Киев штурмом придут суровые воины Империи, которые на дорогах гражданской войны потеряли своих боевых товарищей, свои дома, своих родных и близких и не собираются прощать своих врагов. А тысячи киевлян, винничан и хмельничан, истово требовавших «убивать ватников на Донбассе» и «сжигать самок «колорадов» с приплодом», вдруг поймут, что в их родных городах тоже проводится зачистка, как еще недавно ее проводили в Славянске, Красноармейске и Мариуполе нацистские батальоны «Азов» и «Днепр». И киевские креаклы,

вроде телеведущего выродка Кондратюка, геройствовавшие за клавиатурой и призывавшие в соцсетях к массовым убийствам, вдруг с ужасом обнаружат, что их заблаговременно вытертые из аккаунтов пассажи, где они призывали уничтожать дончан, предъявляются им на допросах в виде скринов, заранее скопированных службой безопасности Новороссии. Прогнившая киевская тусовка будет еще долго кусать себе локти, когда поймет, что за разрушенные по ее призыву и с ее одобрения сотни тысяч квартир трудящихся граждан Донецкой и Луганской областей им придется ответить своими квартирами и сбережениями, разрушением своего уютного потребительского мирка. И некуда им всем будет бежать, в отличие от главарей хунты, которые всю эту кашу заварили...

А затем повстанцы придут во Львов, откуда до этого уже героически сбегут все эти национальни провідники, заседавшие в Радах, все эти сотники майдана и командиры батальонов территориальной самообороны, так храбро кидавшие огненные бутылки в безоружных беркутовцев на майдане, а затем расстреливавшие без суда мирных жителей Донбасса во время зачисток.

Местные интеллигенты, теоретически обосновывавшие в своих «творах» необходимость убивать «ворогів нації», вдруг поймут, что им придется за базар ответить. А жители всяких Сокалів і Дрогобичів, Калушів і Трускавців, Надвірних і Коломий, Теревівель і Кременців с ужасом для себя сообразят, что в руках следователей Комитета госбезопасности Новороссии имеются списки всех сотен майдана и карательных батальонов, сформированных из жителей этих галицких городков, бесчинствовавших на Донбассе, с подробным описанием всех совершенных ими там преступлений...

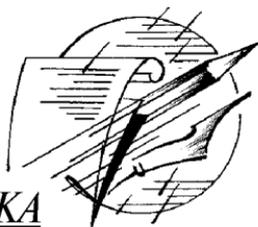
Людмила ФИОНОВА,
доктор, физико-математических наук

ВСТРЕЧИ В МЕКСИКЕ...

24 августа 2014 года по улицам Донецка ополченцы провели колонну пленных военных армии киевской хунты. Люди, стоявшие у обочин, с ненавистью скандировали: «Фашисты!» И пленные их понимали. Потому что они — тоже русские. Что же происходит на Украине? Перемальвается славянский, русский генофонд. Причём с обеих сторон. И тысячи погибших ополченцев надо прибавить к тысячам погибших «укров» — так мы получим сокращение численности русских на Земле.

Разумеется, в войсках хунты есть генетические отходы — прирождённые садисты, бандиты, готовые убивать за деньги. Но большинство — просто недалёкие, неграмотные, обманутые, не понимающие ситуацию, попавшие в каратели по принуждению. Их вряд ли стоит называть фашистами.

Полная сумятица в употреблении понятия «фашизм» происходит не только от невежества, но и от желания намеренно исказить ситуацию, затуманить общественное сознание фальшивыми штампами, вывести из-под удара истинных преступников и дать им свободу действий...



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Итальянское слово «фашио» — пучок — обозначает союз, объединение, т.е. изначально понятие «фашизм» было позитивным, оно сродни русскому слову «соборность». Но в политической практике XX века значение слова было перевернуто на противоположное — игра «в наоборот», оруэлловский новояз — типичный приём информационной войны. Сегодня в историческом контексте фашизм определяется как явление крайне негативное — доминирование узкой социальной группы, достигнутое с использованием агрессивных экономических, политических, силовых, криминальных методов, не ограниченных юридическими и нравственными нормами. Иными словами — это власть узкой социальной группы, утверждаемая путём неограниченной эксплуатации других групп, насилия, геноцида.

В массовом сознании народов, ставших жертвами нападения войск вермахта во Второй мировой войне, с понятием «фашизм» ассоциируется жестокость, разрушения, массовое убийство людей агрессором.

Понятие «фашизм», выросшее из Второй мировой войны, обычно привязывается к этнической группе — «немецкий фашизм». Ответственным за развязывание Второй мировой войны и все её беды назначен «немецкий фашизм», в конечном счёте, немцы. Мировой политический бомонд активно вдалбливает немцам чувство вины, добиваясь не только ментального подавления целой нации, записанной в нацию преступников, но и материальной компенсации за их вину. Всё зло, причинённое миру Второй мировой войной, персонифицируется фигурой Гитлера — демонического «фашиста». Однако такая картина далека от реальности.

Гитлер — фигура неоднозначная и, безусловно, не самостоятельная. Известно о «заговоре Джеймса Варбурга против христианского мира». (Варбург — немецкий финансист еврейского происхождения.) В 1929 году он заключил соглашение с финансовыми кругами Америки, которые пожелали установить единоличный контроль над Германией путем развязывания там «национальной революции». Задача Варбурга состояла в том, чтобы найти подходящего человека в Германии, и он вошел в контакт с Адольфом Гитлером, который до 1932 года получил от него 34 млн. дол., что позволило финансировать его движение. Среди еврейских банкиров Берлина, финансировавших НСДАП — Оскар Вассерман и Ганс Привин. Среди американских спонсоров Гитлера была банкирская династия Ротшильдов. Есть данные о том, что кре-

дит на Вторую мировую войну Гитлеру дали ФРС США и банк Англии

В декабре 2010 года эту версию поддержал митрополит греческого города Пирея Серафим: «Барон Ротшильд финансировал одновременно и еврейскую колонию в Палестине, и предвыборную кампанию Адольфа Гитлера... Адольф Гитлер был инструментом в руках мирового сионизма, и дом Ротшильдов финансировал его с единственной целью: убедить евреев покинуть Европу и создать в Палестине свою новую империю».

Из многочисленных исследований на эту тему следует однозначный вывод: Гитлер был лишь инструментом в руках мировой финансовой системы, немцы были лишь тараном в её руках. Всюду в мире, где возникает война или революция, за спиной предъявляемых миру агрессоров прячется в тени финансист — автор всех политических и социальных катаклизмов, извлекающий из них выгоду.

Человечество истребляется финансовым фашизмом. Ряд исследователей называют это социальное зло с помощью такой же этнической привязки — «еврейский фашизм»: американец Дэвид Дюк (он использует также термин «еврейский супернацизм»), русские публицисты Борис Миронов и Константин Душенов, еврейский писатель Эдуард Ходос.

И хотя евреи, безусловно, составляют ядро мирового финансового капитала, определять фашизм в чисто этническом ключе значит сужать представление о явлении, которое носит не столько национальный, сколько сословный характер. Источник финансового фашизма — паразитарные социальные группы посредников-финансистов, эксплуатирующие и подавляющие создателя.

То, что подаётся общественному мнению как этнический фашизм — немецкий, украинский (западенский), не самостоятельное явление, не изначальное зло, а производная финансового фашизма. Они не возникли и не существовали бы без банковского капитала.

Русские и немцы убивали друг друга по сценарию, написанному ротшильдами, варбургами и т.п. Их учили ненавидеть друг друга Геббельс с немецкой стороны и Эренбург с российской («Убей немца!»). Оба пользовались технологиями информационной войны, изложенными в трудах известного сиониста Теодора Герцля.

Вот мнение немецкой стороны: «Проповеди ненависти Ильи Эренбурга... придали сопротивлению очень острый и ожесточённый характер... Подавляющее большинство немцев не видело для себя иного выхода, кроме борьбы. Даже

явные противники нацистского режима становились теперь отчаянными защитниками своей родины» (Вальтер Люден-Нейрат. «Конец на немецкой земле. Итоги Второй мировой войны». М.: Изд.-во иностранной литературы, 1957).

Сегодня всё это калькируется на Украине, где киевские СМИ взращивают вражду между русскими и украинцами по рецептам Герцля, а занимается этим на киевском ТВ его единокровник Савик Шустер. Формирует тупую и стопроцентно манипулируемую толпу и, казалось бы, дурацкое «Кто не скачет, тот москаль!» Превращение украинских детей в идиотов — это тоже преступление финансового фашизма. Тем более, что идиоты быстро превращаются в трупы на восточном фронте. Дезориентируют общественное сознание и российские вроде бы патриотически настроенные «учёные», которые ищут плохие национальные особенности у «западнцев». Разумеется, характеры разных народов различаются, но превратить массы людей в садистов и убийц под силу только банкам, которые в состоянии финансировать легионы продажных политиков, политтехнологов, журналистов, которые будут настойчиво ввинчивать в мозги граждан вражду друг к другу, разжигая её до градуса звериной ненависти и войны. И сегодня украинцы западные убивают украинцев восточных ради интересов американских компаний, ради того, чтобы финансовый фашизм смог расширить своё нынешнее присутствие в России, чтобы до конца разграбить её, истребить.

«В 1945 году Советский Союз победил фашизм» — этот расхожий штамп широко распространён, хотя ничего общего с действительностью это утверждение не имеет. В 1945 году героическими усилиями советского народа было сломано только оружие фашизма — армия вермахта, но не сам фашизм. Русский солдат дошёл до Берлина, хотя ради победы над фашизмом ему следовало бы дойти до Нью-Йорка. Но дойти туда ему бы не дали, ибо агенты влияния американских банков сидели не только в Берлине, но и в Москве. Истинный фашизм — финансовый фашизм — в результате Второй мировой не только не был побеждён, он небывало окреп на руинах Европы и России, на миллионах трупов русских и немцев, на непоправимом катастрофическом истреблении генофонда белой расы (сегодня белых на Земле менее 8%, и цифра эта продолжает падать).

В результате Второй мировой цитадель финансистов — США — стала мировым гегемоном и обеспечила себе будущее процветание, поставив под контроль разрушенную Европу с помощью плана Маршалла. Сионистское финансо-

вое лобби стало настолько мощной силой в мире, что смогло реализовать проект создания этнократического государства Израиль — источник тяжёлых проблем Ближнего Востока, источник трагедии палестинского народа.

Окрепший после 1945 года финансовый фашизм смог сформировать и материально обеспечить мощную «пятую колонну» в «стране-победительнице», планомерно подводя к развалу СССР. Финансовый фашизм в 1991 году вернулся в Россию, добившись успехов, немыслимых для Гитлера. В обличье чубайсов и гайдаров фашизм сел в правительство России. Он использовал не немецкие войска, а других киллеров — олигархов, либералов, продажных политиков, чтобы делать то, что делал всегда — грабить, убивать, разрушать экономику, калечить людей физически, умственно, нравственно.

И нынешняя руина на месте бывшей могучей советской державы — дело рук финансового фашизма, увы, непобеждённого.

Обретя небывалое могущество за счёт поглощения активов разрушенного Советского Союза, банкиры выстраивают мировой порядок, исходя из своих нужд и наплевав на всех, неуклонно забирают под свой контроль все ресурсы планеты. Серьёзных препятствий на этом пути фашизм не встречает, ибо мировая политика находится в руках назначенцев финансовой системы, а мировое общественное мнение формируется (вернее, искажается) олигархическими СМИ.

И порабощённая финансовым фашизмом Европа под управлением своего хозяина — Америки — сегодня единым фронтом выступает против России. И не вразумляет её судьба практически растворяющихся под гнётом финансистов и процветавших при социализме стран Балтии, Польши, Чехословакии, Югославии. Потому что ведущие европейские политики — креатуры американских банков.

Финансовый фашизм — мировое зло. И справиться с ним в состоянии только союз всех народов. Потому так много усилий пропагандистский аппарат олигархата направляет на стравливание народов. И помпезные ежегодные празднования Дня Победы в России — это не только патриотический наркоз для убиваемого народа, но и постоянное взбадривание вражды между русскими и немцами, подновление раздиравшего их клина.

Возвращаясь к параду пленных в Донецке — шедшие по улицам голодные и оборванные «укры» — никак не фашисты. Они — тупое орудие в руках истинных фашистов, расходный материал, пушечное мясо, в конечном счёте — жерт-

вы фашизма, ибо одна из целей АТО на востоке Украины — сжечь топливо майдана, приведшего к власти киевскую хунту.

Жертвоприношение Украины

Да, их надо наказывать как киллеров младшего звена, но больше того — просвещать. Вот когда по улицам Донецка проведут упитанного и хорошо одетого Беню Коломойского в одной связке с прочими олигархами, тогда можно будет говорить о начале борьбы с фашизмом. Самом начале, ибо Коломойский, Порошенко и прочие лица украинской хунты и олигархата — лишь мелкое низовое звено мирового финансового фашизма.

О победе над фашизмом можно будет говорить, когда усилиями всего мирового сообщества будет организован Международный трибунал Нюрнберг-2, на скамьи которого сядут не мелкие исполнители, как в прежнем Нюрнберге, а истинные фашисты — миллиардеры и миллионеры, банкиры и владельцы транснациональных корпораций — авторы дефолтов и кризисов, бросающих 99% человечества в нищету, авторы революций и войн, спонсоры атомного оружия и лабораторных вирусов, трансгенных продуктов и наркотиков, гей-парадов и ювенальной юстиции.

В основе каждого крупного состояния — мошенничество, эксплуатация, насилие, убийство, т.е. фашизм. Только сделав всех олигархов клиентами следственных органов и удалив из человеческого сообщества само это понятие — олигарх, мы дадим шанс выжить русским и немцам, западным и восточным украинцам, всем нормальным людям. Это — шанс для спасения цивилизации. Единственный, последний шанс, ибо финансовый фашизм несовместим с жизнью на Земле.

Кофе доньи Магдалены

В начале девяностых на зарплату научного сотрудника в России стало невозможно прожить. Можно было пойти торговать, или сажать картошку, или просто бедствовать. Был и ещё один путь — эмиграция. Так пара русских физиков попала в Мексику.

Куэрнавака — лучший город в Мексике. Лучший климат в мире. Круглый год — плюс двадцать пять, плюс красота, плюс вечное цветение. Эта горная долина так и называется — Вечная Весна. И потому почти половина жителей — иностранцы. Богатые старики — восточный шах, американский вла-

делец сети супермаркетов... Есть и те, что приехали работать — на дне долины, где самая жара — промзона: японский автомобильный завод, итальянская трикотажная фабрика... Рабочие — дешёвые мексиканцы. Начальство и специалисты — иностранцы. На верхних уровнях долины, в прохладных красивых предгорьях появился и стал разрастаться академгородок — институт физики, биологии... Жилые кварталы — между научными высотами и промышленным дном. В поисках жилья русские, исходив всю Куэрнаваку, пришли в дом итальянца и сразу почувствовали что-то родное

«Русские?» — маленький сухонький старичок по имени Джино, кажется, обрадовался. И пригласил прийти в гости вечером, сказал: «Там всё и решим».

К семи часам большая гостиная низкого дома Джино была полна. Высокие каблуки дам стучали по керамическим плиткам пола, обычного для жаркой Мексики. Элегантные светлые костюмы мужчин, нарядные платья дам, лёгкий запах духов и по-мексикански обильные украшения... Светский раут. По какому поводу?

«О, это обычно для нас, каждый вечер соседи собираются к нам пить кофе!» — Навстречу новым гостям с обширного дивана поднялась хозяйка — донья Магдалена — прямая, стройная и лёгкая. Заботливо уложенные волосы, свежая помада, немножко румян и красивая блузка. Неужели ей, как и Джино, за восемьдесят?

Так много белых лиц... Марко — контролёр качества костюмов с итальянской швейной фабрики, Карло — художник-дизайнер, оттуда же... В Италии сегодня трудно найти работу. Русских приняли как своих. Джино сдал им маленький флигель и даже сделал скидку на квартплату:

— Это такая радость, что вы будете жить у нас! И каждый вечер просим к нам, на кафесито.

Все называли эти встречи «кафесито» — по-испански «маленький кофе». Для всех это было как праздник. Центром компании были итальянцы, но приходили и соседи-мексиканцы: высокий чин банка в Куэрнаваке дон Густаво и адвокат из Мехико Чема — в задушенной смогом столице невозможно дышать, и состоятельные горожане покупали в Куэрнаваке второй дом для отпусков и выходных, как дачу; расстояние в 80 километров по прекрасной дороге — пустык. Постоянным гостем был инженер-электрик Пачеко и его жена — бывшая балерина. Бывший механик-наладчик итальянских вязальных машин Джино и нынешние мастера трикотажной фабрики, экономист, адвокат — они все могли позволить себе дом в райской Куэрнаваке с апельсиновым са-

дом и голубым бассейном. Для двух русских профессоров это было недостижимой мечтой.

— Ваша страна победила в той страшной войне. Почему же вы так плохо живёте? Почему вынуждены эмигрировать? — недоумевал Чема. И русские не знали, что ему отвечать. Женщины вздыхали, жалели их — это так печально жить вдали от семьи, от родных мест.

Маленькие чашечки с кофе, которые донья Магдалена выносила ровно в восемь на подносе в гостиную — это было не главное. Главным были беседы.

— Я тоже эмигрировал, но я был вынужден, — Джино словно оправдывался. — При Муссолини был порядок, была работа, мы уважали его. Теперь его называют фашистом. Но разве это был фашизм? Когда убили Муссолини, не стало работы, продуктов. Я ездил на велосипеде за много километров за молоком и не всегда его привозил. Наш сын болел, худел, мы боялись его потерять, и тогда я сел на пароход.

Центром общества были итальянцы. И соединяло их одно — любовь к своей Италии. Марко летал в отпуск домой и привозил какую-то итальянскую травку. Это было огромное событие для всей итальянской общины: к дому Джино то и дело подъезжали машины, чтобы получить драгоценность — крошечный отросток и попытаться вырастить у себя в саду.

— Плохо приживается, — жаловался Джино, — сухо здесь, жарко и земля не та. Всё не то.

Он показывал русским чахлый виноград — лозу тоже привезли из Италии. А Магдалена собственноручно поливала — лелеяла жалкий кустик розмарина и редко-редко обрывала с него листок — для приправы. И улыбалась смущённо:

— Я помню этот запах с детства. Мама всегда готовила с розмарином, у нас на севере Италии его полным-полно.

Джино подолгу рассказывал русским, какие замечательные ягоды растут в его родных местах в Италии. Судя по описанию, это была смородина, и Джино смотрел на русских ласково, родственно — у них росли те же ягоды. И для русских итальянцы были почти родня. И Магдалену все знакомые звали совсем по-русски — Леной.

На кофе к Джино приходили не только итальянцы, но и немцы.

— Нас здесь немало, немцев, итальянцев, тех, кто приехал в Мексику после войны, — говорил Джино. — Раз в год мы встречаемся, устраиваем банкет в моём саду. Вы тоже приглашены. Мы не возьмём с вас обычный взнос. Вы — наши гости. Все очень рады, что с нами будут русские

За столы, поставленные прямо на траве под апельсиновыми деревьями, усаживались те, кого называют немецкими

фашистами. Герман бомбил Киев, Вильгельм воевал под Брянском, Франц — под Воронежем. Все они дружески улыбались русским, пожимали руки. Это был шок.

— Меня забрали в армию совсем мальчишкой, я ничего не понимал. Я попал в плен, в лагере под Воронежем выжил только потому, что русские женщины подкармливали меня, жалели — такой молоденький.

Когда все расселись, Франц подошёл к русской и попросил, смущаясь:

— Есть одна замечательная русская песня, там припев «бомбом». Она напоминает мне о России. Спой, пожалуйста!

Русская пела «Вечерний звон», а немец стоял, приложив правую руку к сердцу — так слушают гимн. По его лицу капилась слёзы. Может, для него это был реквием по его загубленной молодости, исковерканной жизни? И сидевшие под мексиканскими апельсинами немецкие и итальянские фашисты слушали, затаив дыхание.

— Конечно, не все из нас хорошо относятся к вам, — говорил Франц, показывая на хмурого древнего старика за дальним столиком, — мы зовём его «полковник», он вас ненавидит, он и нас сторонится, он служил в СС.

У этих людей было всё — красивые дома, прислуга, деньги. Но они жались друг к другу, как дети, лишившиеся матери. И сквозь улыбки благополучия проглядывала тоска по родной Италии, родной Германии. Они несли эту тоску сквозь десятилетия. Это было скорбное братство людей, которых обидели, обездолили, отняв Родину.

Когда обед уже кончался, за большим круглым столом собрались немцы, итальянцы, русские. Но первым заговорил мексиканец — дон Густаво.

— Я много лет работаю с банкирами, я знаю, на что они способны ради денег. Война — их рук дело. И этому не будет конца, пока вы — русские и немцы — не объединитесь.

И все согласно кивнули — немцы, русские, итальянцы, мексиканцы...

Франц пригласил русских в гости, познакомил с мексиканской женой — он не смог найти в Мексике молодую немку. Всё, что он смог сохранить в память о родине — занятие предков. Франц вырос в деревне и в своём мексиканском саду завёл маленькую птицеферму. Он ходил среди своих уток и кур так, словно здесь был его настоящий дом.

Вскоре донья Лена принимала дорогую гостью — старенькую итальянку. Похоронив мужа, та улетала домой в Пьемонт, чтобы последние дни пожить на родине. На родине умереть.

— Я тоже хотела бы вернуться, — говорила Лена, — но я не могу. Здесь я больше пятидесяти лет, здесь вся моя жизнь.

Меня стрижёт одна и та же парикмахерша уже сорок восемь лет. Когда мы встретились, она была девочкой, ученицей. И всем этим вещам годы и годы, — она обвела рукой гостиную. Стулья точёного дерева грубой мексиканской работы от времени потемнели и потрескались, сиденья, плетённые из пальмовых листьев, разлохматились... — А этот большой диван, на нём всем места хватает, подарили те, кто приходит на кафесито. Давно это было, в день нашей с Джино золотой свадьбы. Мы вместе больше шестидесяти лет...

Едва перевалив за девяносто лет, Джино вдруг занемог и быстро стал терять силы. К нему пригласили старенького врача-итальянца, а потом старика-священника, тоже итальянца. Перед смертью Джино хотел видеть только своих. Но в последний день попросил позвать русских. И несвязно говорил только об одном — об Италии. И о том, что он был вынужден уехать. Вынужден. «Я скучал по Италии всю жизнь, всю жизнь...» — бормотал он.

На похоронах донья Лена шла, опираясь на руки русских, самых близких людей.

А перед их отъездом она поделилась самым заветным — рецептом своего восхитительного кофе. Она долго рассказывала, какие сорта кофе надо смешать...

— Но самое главное — кофеварка. Это — итальянская кофеварка, кафетера, здесь таких не делают. — Лена насыпала кофе в кофеварку маленькой ложечкой из серебра Таско — по одной на каждого гостя и одну ложечку сверху. — Это — для кафетеры, — объясняла она. — И ещё — частичка души... Я делаю это от всего сердца!

Донья Магдалена проводила русских до такси, хотя после смерти мужа почти не выходила из дома. Она гладила их по щекам, плакала и повторяла:

— Помните, здесь ваш дом. Мы всегда будем ждать вас. Всегда.

После мексиканской жары особенно хочется снега. Мексика больше ценит учёных, чем Россия, поэтому на мексиканские деньги можно покататься на горных лыжах даже в Альпах, в дорогой Австрии. Вечерний автобус шёл из Инсбрука среди нарядных альпийских деревушек. Старик на соседнем сиденье обрадовался русским.

— Я воевал с вами, — он указал на пустой рукав, — я был егерь, хороший стрелок, меня забрали в армию молодым. Без правой руки плохо, но я не держу на вас зла.

Прощаясь, он пожимал им руки уцелевшей левой рукой и всё повторял:

— Знайте, мы — не враги. Нас стравили. Мы — не враги...

РАСКАЗЫ

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Откуда-то издалека, от первоистоков памяти, всплывает эта история... Кто ее рассказывал? Бабушка? Мама? Или, может, кто-то из чужих людей, ночевавших тогда у нас? Сколько их проходило тогда мимо по разворошенной, обугленной войною земле...

А история была такая...

Крестьянин услышал в церкви, что Господь Иисус Христос, наш Спаситель, принял мученическую кончину на кресте, и поэтому теперь каждому православному свой крест надобно нести. И задумался крестьянин, как только русский мужик умеет задумываться, уже ни на что более не отвлекаясь и не беспокоясь более ни о чем. А обдумавши все, отправился в лес, нашел подходящее дерево и, повалив его, смастерил крест. Потом топор в пенек воткнул, перекрестился и, взвалив крест на плечи, двинулся в путь. Куда? А куда глаза глядели...

Тяжел крест, но нести надо, раз взялся...

И долго мужик шел. Может, неделю, а может, месяц. Главное, что



ПРОЗА

всю оставшуюся жизнь... А в конце жизни пришел он к монастырю. Остановился у входа, а войти не может — слишком велик крест оказался, не проходит в ворота.

Предлагали мужику: дескать, сними с плеч крест, разберем его, пронесем через ворота, тогда снова поднимешь на плечи...

— Нет, — отвечал мужик. — Никак нельзя. Невозможно его с плеч снять, покуда до конца не донесу...

Ну, нельзя, так нельзя.

Остался он с крестом за стеною монастыря.

Прошел день и наступила ночь.

Утром пошли монахи в церковь — стоит мужик с крестом за воротами. Никуда не ушел. Дальше ему идти некуда...

Игумен к мужику вышел.

— Так, мол, и так, — говорит. — Не проходит в ворота крест твой. А стену ломать монастырскую не положено. Да и опасно очень — враг приближается... Как без стены оборонимся?

— Не надо ломать... — отвечает мужик. — Я тут постою, пока силы будут...

Прослезился игумен и в келью к себе ушел — молитву творить.

И было ночью видение игумену. Утром собрал он братию и благословил монастырскую стену разбирать.

Разбирают ее монахи, а стена не в теперешние времена делана, не разбирается никак. Каждый камушек вырубать приходится.

Несколько дней и ночей трудились, покуда проломили стену. А только ввели мужика с крестом в монастырь, тут и враги...

Скачут необозримые полчища. Стрелы летят тучами. Сабли сверкают...

Думали монахи, что погибель монастырю наступает. Прямо в пролом мчится вражья конница...

А мужик, едва только вошел в монастырь, слабеть стал, прислонился с крестом к стене, в аккурат пролом им закрыв, перекрестился и помер...

— А враги? — спросил я. — Они ведь в монастырь хотели ворваться!

— Не ворвались... — заверил рассказчик. — Никто тот крест сокрушить не смог. Сказывают, что тракторами его тащили, да он не поддался. Немцы танками пытались свалить, а он все равно стоит... И сейчас, сказывают, на том же месте, куда и поставили. Никто, никакая сила не может сдвинуть...

Перекрестился рассказчик, завершая свою историю.

И с этим исчезает он в сумерках детской памяти... Только крестное знамение и осталось от неведомо откуда и неведомо

куда шедшего мимо нашего дома по обугленной послевоенной земле странника...

Но и сейчас, через столько лет, закрываешь глаза и видишь, как движется старческая рука, творя это крестное знамение...

ИЗУРОДОВАННОЕ ЛИЦО

На Валааме с первого дня начали жить по военному распорядку: безжалостно ранняя побудка под звуки горна, физзарядка в трусах в любую погоду, подъем военного флага... Однако стоило предоставить учащимся свободное время, как они нам преподнесли сюрпризы, — мы явно недооценили потенциал своих подопечных. Мальчишки разбрелись по острову, лазали по утесам, забирались в многочисленные скиты и сохранившиеся после войны с белофиннами доты, приволакивали в лагерь разнообразную церковную утварь, гильзы и прочие «сувениры».

Г. Эндзелин

— Не знаю, как и назвать то, что я видел тут... — проговорил мой собеседник, пожилой, довольно представительный мужчина. — Я и сейчас себя верующим человеком не считаю, а тогда и вообще не задумывался об этих вещах... Но вот что было... Приезжал я тогда на Валаам по командировочным делам... Больше десяти лет с тех пор прошло... Монастыря тогда еще не было, только музей...

Управившись с делами, я отправился вечером осмотреть природу и местные достопримечательности. Забрел, конечно, и на территорию самого монастыря. Долго бродил здесь, пока не столкнулся со своим соседом по гостиничному номеру. Сосед у меня хороший мужик был, только уж очень страшный. Все лицо — в чудовищных шрамах. И днем на него смотреть нелегко, а тут, в сумерках, среди сырости храма — просто как током меня ударило. Отшатнулся даже.

— О, господи! — говорю. — Извините, пожалуйста...

Но сосед не обиделся.

— Не берите в голову, — говорит. — Другие в обморок падали, бывало.

— Где это вас? На Невском пяточке, вы говорили?

— Можно сказать, что на Невском пяточке...

— Простите... А почему так неопределенно?

— Потому что, если разобраться, то раньше это произошло. Еще здесь, на Валааме...

— Как это? — спросил я. — Ничего не понимаю...

— Это верно... — сказал сосед. — Понять тут действительно ничего невозможно. Я ведь, дорогой товарищ, в морской школе учился. Как взяли мы Валаам у финнов, монахи сбежали, а в монастыре казармы сделали и нас сюда на практику привозили... И все как положено было. Учеба... Строевая подготовка... Политзанятия... Еще комиссар, его Исаак Львовичем почему-то звали, на атеистическую подготовку нас водил. Выдаст каждому по кошке... Это такая проволока на швабру намотанная, и ведет в храм. Лики святых со стен сдирать. А нам что? Мы же краснофлотцы будущие! Так шаркаем по стенам швабрами, что до кирпича побелку сдираем.

И вот однажды привел нас Исаак Львович сюда.

— По свя-ятым разойдись! — командует. — Приступить к уничтожению!

Мне преподобные Сергей и Герман достались.

Я кошку в руки взял, проверил — хорошо ли проволока держится, потом преподобных оглядел, прикидывая, откуда ловчей к уничтожению приступить.

И вот тут, понимаешь, с глазами Сергея встретился...

Смотрит он на меня, как будто живой. И главное, без страха смотрит, а задумчиво так, словно высмотреть пытаюсь, что я за человек. И я...

Ты понимаешь, я и сам, как будто не на него, а на себя смотрю... И тоже сообразить пытаюсь, что я за человек...

Сколько я простоял так, не знаю. Тут комиссар, Исаак Львович, ко мне подлетает.

— Юнга Иванов! — кричит. — В чем дело?

— Не знаю, — говорю, — Исаак Львович... Чего-то странно мне.

— Странно?! — закричал комиссар. — А ну, швабру в руки, юнга Иванов! Выполнять приказ! Предрассудок уничтожить!

Он кричит так, а изо рта слюна прямо в лицо мне летит. И такая слюна жгучая у него, что кожу палит...

Я уже и не понимаю ничего. Словно столбняк напал. Но швабру поднимаю и медленно так железной проволокой по лику преподобного провожу...

А потом уж и не знаю, что со мной было. Очнулся в постели...

Товарищи по школе, конечно, посмеялись надо мною. Девчонка, говорят, ты, а не моряк. Но посмеялись и позабыли. И я тоже позабыл, тем более что война тогда началась... Разбросало нас всех... Кто куда попал... Кто-то за Урал учебу про-

должать отправился, кто-то в Москве остался, а я в Ленинград попал, на Невском пятачке оказался... Вот где ад был... Из наших, почитай, никого целыми не осталось. И я бы тоже не остался живой, если бы молиться не стал. Прямо передо мной тогда мина разорвалась... Но я, — вы, конечно, не поверите! — не разрыв перед собою увидел, а преподобного Сергия... Как тогда в церкви... И как тогда, очнувшись уже в госпитале. Сам цел, а лицо все иссечено осколками...

Да... — проговорил собеседник. — Такую вот историю мне юнга Иванов рассказал.

— Чего же здесь удивительного? — сказал я. — На войне много таких историй происходило. Почти с каждым фронтовиком какое-нибудь чудо было. Мне один фронтовик говорил, дескать, с кем чуда не произошло, все *там* остались лежать...

— Верно, конечно, про чудеса... — согласился собеседник. — Только тут другое... Мы ведь с бывшим юнгой Ивановым в храме разговаривали как раз возле стены, на которой фреска. Преподобные Сергей и Герман Валаамские... Похоже, что юнга Иванов эту фреску и должен был считать, как комиссар приказывал... И вот посмотрел я на Сергия и снова словно током ударило. Лик его, ну точь-в-точь как лицо у юнги Иванова изуродован был!

— Как же так? — помолчав, спросил я. — Как же вы себя верующим человеком не считаете, если такое видели?

— Как? — собеседник попытался усмехнуться. — Не знаю... Видеть всякое приходилось, да столько всего наделано, что страшно, понимаете ли, верить. Страшнее всего это для нас...

На этот раз моему собеседнику удалось усмехнуться.

Хотя, может быть, лучше он и не пытался бы усмехаться...

КРАСНОАРМЕЕЦ ЛУКОВ

С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской буденовки,
Что где-то в шкафу мы нашли.

— Никому не нужен русский человек, ни начальникам своим, ни правителям, которые давно бы уже нашу страну в аренду сдали, если бы не стало, наконец, русских... — запальчиво говорила наша спутница, а я молчал, потому что возразить на это было нечего.

— Так-то оно так, — сказал я. — Только порою кажется, что и самому себе русский человек тоже уже не нужен...

— Так ведь зато Богу нужен... — тихо, но убежденно проговорил отец Андрей, останавливая машину. — Я иногда читаю Жития святых и думаю, что все это про нас, про нашу Родину написано...

— Как это? — спросил я.

Я действительно не мог понять, о чем говорит мой спутник, не мог сообразить, зачем он остановил здесь, на краю оврага, машину... Конечно, красиво было. Круто уходил вниз обрывистый склон, заросли кустов в ложине, кажется, собирали в себя вечерние сумерки... А с другой стороны шоссе тянулись бесконечные луга, нежно освещенные заходящим солнцем...

— Это у нас все и было, что в книжках про святых пишут... — убежденно повторил отец Андрей, усаживаясь на бревнышке на краю обрыва.

Мы присели рядом с ним.

— Не согласны? — спросил отец Андрей. — Ну, ладно, я тогда вам про красноармейца Лукова расскажу...

— Расскажите... — согласился я. — Про красноармейца, батюшка, тоже интересно послушать, хотя и непонятно, какое отношение красноармейцы к святым имеют? Вы еще про буденовку что-нибудь вспомните...

— И про буденовку тоже обязательно скажу! — сказал отец Андрей. — В общем, мне отец рассказывал, что это сразу после Гражданской войны случилось. Война уже кончилась, а по русским деревням все равно чекисты рыскали, людей мучили и убивали... Вот приехал такой отряд и к нам в село. Отрядом командовал товарищ Фогельсон, а в отряде у него и венгры были, и латыши, и китайцы, и даже русский один в буденовке со звездой. Его красноармейцем Луковым звали, отец запомнил это, потому что все его в отряде шпыняли всячески, и только и слышно было:

— Красноармеец Луков! Принеси ведро воды!

— Красноармеец Луков! Беги быстрее к товарищу Петерсу. Пусть он явится немедленно!

— Красноармеец Луков...

Отец тогда еще мальчишкой был, не понимал ничего, крутился возле чекистов... А чекисты эти не просто так к нам приехали. В воскресенье, когда народ на обедню пошел, товарищ Фогельсон приказал своим чекистам окружить храм и, когда служба закончилась, чекисты погнали всех прихожан к оврагу за селом. Когда чекисты выстроили их вдоль обрыва, вышел к ним в черной кожанке с наганом в руке товарищ Фогельсон.

— Кто из вас в вашего Христа не верит, может до дому идти! — сказал он.

Только и не шевельнулся никто...

— Еще раз спрашиваю! — повторил Фогельсон. — Вы всё поняли? Если вы не дураки, можете идти домой!

Отец было дернулся выйти из строя, поскольку по малости лет дураком себя не считал, а дома у него на рыбалку намечено было идти, но дед удержал его.

— Ну-ну! — сказал Фогельсон. — Тогда я с вами персонально беседовать буду...

Он подошел к стоящему на краю шеренги батюшке и, ткнув его наганом в живот, потребовал:

— Говори быстрее, что Христа не было! Говори, что это попы толстопузые выдумали его, чтобы народ обманывать!

— Не... — перекрестившись, сказал священник. — Я этого тебе, господин чекист, никак не могу сказать, потому как верую во единого Господа Иисуса Христа Сына Божьего...

Договорить «Символ веры» он не успел — короткое пламя вырвалось из нагана товарища Фогельсона и столкнуло батюшку с обрыва. Бездыханный покатился он на дно оврага.

Страшно закричала красавица попадьа.

— Продолжим культурно-просветительную беседу! — невозмутимо сказал товарищ Фогельсон, подходя к попадье. — А ты, красавица, что скажешь насчет поповского обмана. Ты ведь не желаешь отправиться в овраг?

— Верую во единого Бога Отца Вседержителя! — сдавив в себе крик, отвечала красавица попадьа, и товарищ Фогельсон, сморщившись, нажал на курок.

Когда были расстреляны все патроны и семь человек уже лежали на дне оврага, товарищ Фогельсон перезарядил барабан и подошел к отцу.

— А ты мальчик? — спросил он. — Чего ты дрожишь? Ты, наверно, застыл и хочешь домой? Скажи, что не будешь ходить в вашу дурацкую церковь и иди играть! Ну!

Отец молчал, и товарищ Фогельсон уже начал поднимать свой наган, когда вдруг между ним и отцом встал красноармеец Луков.

— Отпусти мальчика, товарищ Фогельсон! — сказал он твердо. — Я за него встану!

Он вытолкнул отца из строя и встал на его место рядом с дедом.

На несколько мгновений товарищ Фогельсон как бы окаменел, страшным было его искаженное лицо, но вот что-то дернулось в лице, и к Фогельсону вернулась возможность двигаться.

— Вот ты и выдал себя, товарищ Луков! — сказал он, криво усмехаясь, и вдруг закричал истошно и тонко. — Снимай нашу буденовку, гад!

Красноармеец Луков стащил с головы буденовку со звездой и перекрестился. А товарищ Фогельсон, выхватив у него буденовку из рук, выстрелил. Но так получилось — то ли это дед поддерживал Лукова, то ли еще что! — красноармеец продолжал стоять и после того, как расстрелян был весь барабан, и упал с обрыва только когда Фогельсон столкнул его в овраг. Сам он, тяжело дыша, повернулся к товарищу Петерсу.

— Кончайте всех! — приказал.

— А этого? — кивая на отца, спросил товарищ Петерс.

— Этого? — переспросил товарищ Фогельсон, глядя на отца. — Нет, товарищ Петерс! Этот мальчик помог нам разоблачить опасного врага! Мы наградим его! Получай, юный пролетарский герой!

И он нахлобучил на голову отца луковскую буденовку со звездой. Отец только услышал, как прогремел залп... Когда он стащил закрывшую ему глаза буденовку, никого уже не было на краю оврага, а чекисты, не спеша, как люди, сделавшие свое дело, уходили к дороге.

Отец Андрей замолчал.

— Это здесь было? — тихо спросила наша спутница.

— Нет... — сказал отец Андрей. — Отец в детдоме рос, а когда вырос и поехал в село, уже и села не нашел, не то что оврага... Хотя и в этом овраге тоже, наверно, кого-то расстреливали...

— Наверное... — согласился я, наблюдая, как запыльхал на дне оврага запутавшийся луч заходящего солнца. — По всей Руси это было...

Стало тихо.

Только звенели в траве кузнечики да солнце стремительно заливало овраг закатною кровавой краснотой.

ВЕЧЕРНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Анатолий Дмитриевич Гирькин возвращался с прогулки, когда среди молоденьких елочек за поселком встретил Ежукву. На плече — коса на темном от времени косьевище, на глазах — тёмные очки в дорогой оправе, следом две беленькие козочки, явно не местного происхождения, подпрыгивают.

Поздоровалась лишь тогда, когда Гирькин — «Здравствуйте, Белла Ивановна!» — сказал.

— И вы, господин олигарх, не чихайте! — ответила.

— Белла Ивановна... Белла Ивановна! — вздохнул Анатолий Дмитриевич. — Ну, какие олигархи сюда приедут? Они, небось, и в Москве нечасто показываются... А я — пенсионер обыкновенный и больше ничего, хотя и был, конечно, раньше директором... А что, Белла Ивановна, вы на ночь глядя на сенокос собрались?

— В народе говорят: хотя и сзади, да в том же стаде... — сказала Белла Ивановна, игнорируя вопрос. — У нас, господин олигарх, поселок стеклянный. Всё видно.

И она двинулась дальше, и только козочки беленькие, пушистые, не иначе как Белла Ивановна за ними в специальный питомник ездила, — Ме! Ме-е! — продолжали возмущаться Гирькиным.

Вот под это «меканье» и забрал Анатолий Дмитриевич по ошибке влево, а когда сообразил, что ошибся, уже подходил к красноватому взгорку старого кладбища. Только тут и опомнился. Покачал головой, и, присев на торчащее из земли каменное надгробие, закурил сигарету.

Сразу за кладбищенской рощицей расстился пустырь, посреди которого неведомо сколько лет назад застыл трактор с выбитыми стеклами, так и не доехал он до бочки с аммиачной водой, темнеющей чуть в стороне.

«Всю красоту засрали... — вздохнул Анатолий Дмитриевич. — Только издали и можно еще смотреть». И, поморщившись, отвернулся к реке, текущей за кладбищенской рощей. Здесь картина открывалась более пристойная. Тут садилось солнце, и недвижная гладь воды была залита бегущими всполохами солнечного света.

1

Приезжая в поселок, Анатолий Дмитриевич бывать здесь не любил. Тут в шестьдесят третьем году, когда его только распределили после института в поселок, стояла большая белокаменная церковь. Эту церковь, сооруженную по проекту архитектора Константина Тона, и взорвал тогда Гирькин... Нет-нет! Взрывали, конечно, сапёры, приехавшие из города, но без Гирькина, выбранного тогда секретарем комсомольской организации лесозавода, церковь имела шанс уцелеть...

Тогда главный инженер мастерских Костя Ежуков, приехавший в поселок вместе с Гирькиным, нашел у местного краеведа документ, в котором было написано, что церковь построена по проекту архитектора Константина Андреевича Тона.

— А знаете, кто такой этот Тон?! — горячился Ежуков. — Это архитектор, который строил Большой дворец в Московском Кремле! Нам не разрушать церковь надо, а взять ее под охрану поселкового совета!

Было это на районном партхозактиве, и Гирькин до сих пор помнил, как восхищенно смотрела на Ежукова Белла Аверкина, которая ходила тогда в первых районных красавицах и работала инструктором райкома комсомола... И тогда словно кто-то толкнул Гирькина. Он поднялся и сказал, что всё так, как говорит уважаемый товарищ Ежуков, да не совсем...

— Малость преувеличивает товарищ Ежуков архитектурную ценность культового строения в поселке... Проект, действительно, архитектору Тону принадлежит, но это не особый, отдельный проект, а типовой... Как пятиэтажки, которые сейчас строят. Во многих городах и поселках они стоят... Только пятиэтажки наши в коммунизме, который к 1980 году у нас в стране построят, нужны будут, а эти типовые храмы вряд ли кому там потребуются. Нам и Кремлевского дворца, чтобы в коммунизме товарища Тона вспоминать, достаточно.

Вообще-то Гирькин тогда только накануне от Ежукова и узнал, что храм по типовому проекту построен, и если бы спросили его, где еще подобные сооружения имеются, не смог бы ответить, но так ловко он сумел употребить полученные сведения, что никто не стал вопросов задавать. Заулыбались посмурневшие было члены райкома, и даже сам первый секретарь товарищ Абрамович в перерыве подманил пальцем Гирькина и спросил: не с его ли отцом Димой Гирькиным он перед войной в областной партшколе учился?

А уж *как* инструктор райкома ВЛКСМ Белла Аверкина смотрела на Гирькина, когда он с секретарем райкома разговаривал, Анатолий Дмитриевич и сейчас, сорок пять лет спустя, помнил...

2

На том районном партхозактиве и назначили Гирькина ответственным за ликвидацию осинового гнезда религиозного культа. И Гирькин оправдал доверие. Хотя и имелись в поселке среди старушек несознательные личности, но комсомольское оцепление сдержало темные религиозные массы, и взрыв был осуществлен, как потом на районной партконференции отметили, на должной идеологической высоте.

Анатолий Дмитриевич жалел только, что не удалось перед взрывом — районный фотограф не приехал, а у школьного

учителя физкультуры пленка в фотоаппарате кончилась! — запечатлеться на групповом снимке, но что делать, недаром говорится, что не умеем мы своей памятью дорожить.

Впрочем, Гирькин и без фотографии до сих пор все подробности этого взрыва совершенно отчетливо помнил. Храм сначала чуть приподнялся вверх, а потом рухнул наземь, пропав во вздыбившейся земле и кирпичной пыли. Когда осела пыль, на месте белоколонного храма только пригорок из кирпичей остался. Да еще трава вокруг и могильные надгробия покраснели, словно кровь на них проступила.

3

На этом кладбище среди торчащих из земли могильных камней и сидел сейчас Гирькин, разглядывая сквозь легкий сигаретный дым речную даль. Пожалуй, это тогда и случился счастливый поворот в его карьере, и он не застрел на лесозаводе, а начал подниматься вверх и перед перестройкой стал директором весьма солидной фабрики в Питере. И хотя в олигархи не выбился, конечно, — это Белла Ивановна из-за того на него бочку катит, что он на собрание местной партиячейки отказался прийти пять лет назад! — но вполне прилично себя обеспечил. И счет у него какой-никакой, а имелся, и четыре квартиры в Питере, и особнячок загородный. Так что и им с женой хватит, и внуку Алешке останется... Жалко, конечно, что сына Леонида не уберегли, но зато внука вырастили! Ну и здешний свой дом в поселке тоже не забывал Анатолий Дмитриевич. Всё-таки хорошо тут, а главное — патриот он, если разобраться, и посёлок — своей малой родиной почитает и гордится ею!

Докурив сигарету, Гирькин затушил ее, смяв о надгробие, на котором сидел. Но тут же стряхнул окурок на землю, и даже пепел с камня счистил. Зачем это сделал, он и сам не понял. Какая-то неожиданная возникла мысль, и надо было прислушаться... Давно уже думал Анатолий Дмитриевич что-нибудь хорошее для поселка сделать.

Можно было, например, завод выкупить или совхоз, но как только начинал прикидывать Анатолий Дмитриевич, что все свои сбережения в здешние убытки всадит, так и гасло благое намерение. Что-нибудь хорошее, конечно, хотелось для поселка сделать, но зачем же, как говорится, стул под собою ломать?

И вот сейчас он подумал: а зачем завод, при чем тут сельское хозяйство? Не по-русски это, да и всё равно будут считать, что для себя старается! Нет! И гостиницу в поселке он

тоже не станет устраивать. Потому что не поедет никто в эту гостиницу, а кормить штат бездельников с какой стати? Да и вообще, не надо никакого предпринимательства! Лучше просто взять и восстановить, например, это кладбище, чтобы как в Америке или где-нибудь в Германии было... И начать восстановление надо прямо сейчас, своими руками расчистив эти затянутые в сумерки земли надгробия...

Чтобы проверить замысел, Анатолий Дмитриевич счистил дёрн с надгробия, на котором сидел... И обрадовался, когда обнаружил высеченные буквы... Даже сердце ойкнуло. С трудом, на ощупь, разбирал Анатолий Дмитриевич буквы, а когда сложил их, не сразу понял, *что* это.

«Гирькин АД» — было вырублено на камне...

4

Вот так и бывает... Хорошее дело задумал, а тебе в ответ, будто кипятком прямо в душу плеснули.

Долго Анатолий Дмитриевич, не шевелясь, сидел на корточках перед надгробием, словно выдать себя неосторожным движением боялся. Но ничего не менялось, не исчезало наваждение. Более того, в лучах заходящего солнца высветились неровности на надгробие, и слова «Гирькин АД» сейчас совершенно отчетливо читались. И кровавой кирпичной красноты на холме тоже будто бы прибавилось в лучах заходящего солнца. Даже жутковато стало...

Конечно, Гирькин такую жизнь прожил, что испугать, а тем более смутить его трудно было. В коммунизм он перестал верить, еще работая на здешнем лесозаводе, потом с годами, на больших должностях, и вера в человека в нем угасла, а уже в начале девяностых, когда за отступное пришлось свою фабрику чеченам отдать, и в капитализм Анатолий Дмитриевич перестал верить. Слава богу, что хватило у него ума откупные деньги чеченцев в недвижимость вложить, а то на голой-то пенсии и демократию во главе с Владимиром Владимировичем Путиным можно возненавидеть... И никогда, ни комсомольцем, ни предпринимателем не верил Анатолий Дмитриевич ни в какую мистику.

С трудом поднялся он на затекшие ноги.

Еще минут пять-десять, и уйдёт с земли пронзительный свет, быстро загустеют на поселковых улочках сумерки...

Не теряя времени, Анатолий Дмитриевич снова оглядел расширенное надгробие.

«Гирькин АД» — темнели на камне буквы.

Впрочем, на этот раз Анатолий Дмитриевич рассмотрел в надписи и кое-что новое. В слове «Гирькин» буквы стояли плотно, а в слове «АД» они чуть-чуть отстояли друг от друга.

«Это же инициалы! — озаренно сообразил Анатолий Дмитриевич. — Ну, точно... Гирькин — фамилия, а АД — инициалы. «А» и «Д»... Кстати, мои... Анатолий Дмитриевич... Хотя и не «Д» это... Нет тут черточки... Это земля так затвердела. Ну да, вот он счистил ее, и видно, что «Л» это... Это Гирькин А.Л. Например, Андрей Львович или Антон Лаврентьевич какой-нибудь».

Открытие это сразу успокоило Анатолия Дмитриевича. В самом деле, совпадение, конечно, не слабое, но с другой стороны, Гирькины в поселке — это Анатолий Дмитриевич точно знал! — и до него жили. Вполне возможно, кого-то из них и похоронили на кладбище у церкви.

Скрылось за рекою, за заречным лесом солнце. И сразу сошел со старого кладбища красновато-красный оттенок, снова превратилось оно в обыкновенный, заросший травой пригорок.

И с надгробия тоже стекли таинственные знаки. И даже досадно стало, что так просто объяснилась загадка. Правильное объяснение Анатолий Дмитриевич нашел, но как-то скучновато получилось.

Анатолий Дмитриевич выкурил еще одну сигарету и, не торопясь, зашагал по набережной к своему дому.

Стекала и с речной глади закатная позолота. Река возле берегов потемнела, темнота эта сгушалась в непроницаемую черноту у лесозавода, и только на фарватере вода как бы чуть-чуть приподнялась светлой полосой, сливаясь с бессолнечным воздухом. Прямо к темной прибрежной воде подступали квадратики огородов, а между ними в густой траве догнивали старые лодки...

Когда Анатолий Дмитриевич уже подошел к своему дому, показалось, будто кто-то окликнул его. Он оглянулся, но никого не видно было в сгущающихся сумерках.

— Странный какой-то день... — сказал Анатолий Дмитриевич дома.

— А что? — спросила жена, выходя из кухни. — Случилось что? Чего долго-то так?

— Да ничего вроде не случилось... — сказал Анатолий Дмитриевич. — Я, когда из леса выходил, знаешь, кого встретил? Ежукову!

— Какую Ежукову?

— Ну, Беллу Ивановну... Не помнишь разве? Она меня олигархом обозвала, дура такая... Правильно говорят, здесь поселок такой, кто ни приедет, сразу его за большого начальника принимают! И он потом чего хочет, то и творит с народом, пока не заберут наверх или в тюрьму не посадят...

— Погоди... — сказала жена. — Ты лучше расскажи, чего тебе там привидилось? Какую ты Ежукову видел? Белла Ивановна померла еще пять лет назад!

— Как померла?! — проговорил Анатолий Дмитриевич. — Ты...

Он не договорил, потому что совершенно отчетливо вспомнил, что и в самом деле умерла ведь Белла Ивановна. Точно умерла. Тогда еще говорили, что расстроилась она, когда Гирькин отказался на собрание местной партиячки прийти! Глупости, конечно... С чего умирать из-за этого?

— Это она и устроила... — сказал Гирькин. — Вот ведь до чего вредная баба...

— Померещилось, — сказала жена. — Там место такое шальное, что часто мерещится всякое... Пошли ужинать! Остынет всё.

7

Ужинали молча.

— Налей чаю... — попросил Гирькин. — Чего-то совсем сегодня голова тяжелая. И спал плохо...

И он замолчал, глядя на белых козочек, что прыгали на фарфоровом лугу на чашке.

— По телевизору говорили, что погода меняется... — сказала жена. — Вот и гуляет давление.

— А под утро какие-то кошмары снились... Алешку нашего видел. Он мне истории рассказывал, которые от ребят в оздоровительном лагере услышал. Страшные такие... Там, понимаешь, мать похоронили, а на следующий день дети стали исчезать из семьи. И вот только один отец и остался в доме. Так он даже раздеваться не стал, чтобы не уснуть. А когда полночь наступила, смотрит, выходит из печи мать, а за нею гроб черный выползает. Ну, отец схватил топор и изрубил гроб. И так, понимаешь, устал, что тут же и свалился без чувств, а когда проснулся, видит: вокруг-то дети лежат порубленные...

— Ужас какой... — сказала жена. — Тут и не только Ежукова привидится!

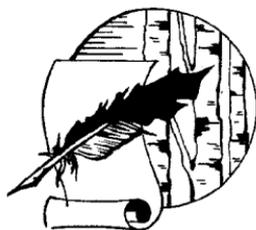
— Да... — сказал Гирькин. — А Алешка не звонил?

— Его мать на дачу повезла. Как приедут, обещала позвонить...

Она не успела договорить, когда резко зазвонил телефон.
— Да? — снимая трубку, сказала жена. — Это ты, Настя? Что?! Что с Алешей, Настя?! Разбился? Насмерть?!

Анатолий Дмитриевич смотрел, как, уронив телефонную трубку, медленно оседает на пол жена, но двинуться не было сил, каменная тяжесть сдавила сердце, и ему казалось, что смотрит он откуда-то из темноты могильного надгробия, на котором высечены были буквы «Гирькин А.Д.».

И всё различал он сейчас... И опрокинувшуюся фарфоровую чашку, на которой, как будто по небу, беззаботно прыгали белые козочки, и чай, что расплзался коричневым пятном по столу, тяжело впитываясь в холщевую скатерть... И храм, который чуть приподнялся вверх, чтобы рухнуть на землю, пропадая во вздыбившейся земле и кирпичной пыли, тоже видел он... И всё длилось и длилось это мгновение.



Андрей ГАЛАМАГА

СВОЙ КРЕСТ НЕСТИ

ПЕЙЗАЖ

Полмира объехав без дела,
Поймешь, что полжизни отдашь
За русский пейзаж черно-белый,
Березовый зимний пейзаж.

На дальнем пригорке — деревня,
Сороки пустились в полет,
А рядом, меж редких деревьев
Охотник с собакой бредет.

Петлянье дороги окольной,
Следы лошадиных подков;
И темный шатер колокольни
На фоне сплошных облаков.

Мой друг, путешествий любитель,
Меня перебьет, в простоте.
Он где-то подобное видел.
В Германии? в Польше? в Литве?

Пейзаж этот больше фламандский.
Вот Брейгель, типичный пример.
Подумаешь, кончились краски.
Остались бы уголь да мел!..

В Антверпене не был я в жизни
И спорить теперь не готов.
Но вдруг этот Брейгель Мужицкий
Был родом из наших краев?

Согласен, что это абсурдно.
Но что, если я не один,
Вдруг так же считают подспудно
Датчанин, француз или финн?..

Уютно чернеют домишки,
Со снежной зимою в ладу,
И черную шайбу мальчишки
Гоняют на белом пруду.

* * *

Привычка русская свой крест нести,
Ни исповедать, ни постичь ее —
От ошущенья бесполезности
До состоянья безразличия.

Весь опыт прошлого ни разу нам
Не удалось принять за правило,
И руководствоваться разумом
Ничто нас так и не заставило.

Но мы стоим перед напастями,
И перед силой не пасуем мы;
И разве тем грешны отчасти мы,
Что каждый раз непредсказуемы.

Так что внушать чужие истины
И мерить нас своею мерою?
Мы не исполним стоя гимн страны,
Но вспомним *Отче наш* и *Верую*.

И как бы ни досталось крепко нам,
Мы всё не ропщем тем не менее;
И в пику посторонним скептикам
Несем свое предназначение.

Мы просим силы и усердия,
Чтобы с пути не сбиться крестного,
У Серафима и у Сергия,
У Пушкина и Достоевского.

И в битве, где бессильно знание,
За нас судьба — святая схимница;
И воздаянье ждет нас на небе,
И не пройдет, и не отнимется.

* * *

Его стая для славы растила,
Он привык побеждать. Но теперь
Кровь сочится в траву, и насилиу
Рыщет по лесу раненый зверь.

На мгновенье он выпал из круга,
И, стыдливо потупив глаза,
От него отвернулась подруга,
От него отказались друзья.

Только смерть где-то рядом, все ближе
Шаг за шагом. Чего ожидать?
Он матерый, он знает, как выжить.
Он не знает, зачем выживать.

Лишь мучительно чувствует, что это
Исключительно волчий вопрос,
И пока не получит ответа,
Он не сможет бороться всерьез.

На границе звериного лого
Он приляжет на хвойный настил.
Он поверил бы в волчьего бога,
Если б тот за него отомстил.

Он не станет зализывать раны,
Гнать страдание, гордость и стыд,
И умрет оттого, что упрямо
Пораженья себе не простит.

* * *

Она сидела и скучала,
Откинувшись к диванной спинке,
И из салфеток вырезала
Восьмиконечные снежинки.

Подрагивал огонь огарка,
И было не до разговора.
Лишь ножнички сверкали ярко
Из маникюрного набора.

Так длилось с полчаса примерно.
Она вставать не торопилась.

Я никогда не знал наверно,
Что на уме ее творилось.

Чему-то молча улыбалась,
И, как рождественская сказка,
Прекрасней ангела казалась
Согревшаяся кареглазка.

Рок, над которым был не властен,
Я пробовал умилосердить,
И бесконечно верил в счастье,
Как верит праведник в бессмертье.

О, боже, как я был беспечен,
Мне было ничего не надо,
Кроме сошедшего под вечер
Рождественского снегопада.

Снежинки кружевом бумажным
Стелились по полу лениво,
Как в фильме короткометражном
Из довоенного архива.

Понять, что происходит с нею,
Я все пытался сквозь потемки.
Но становилось лишь мутнее
Изображение на пленке.

И я признался, что навряд ли
Смогу остановить мгновенье.
Едва мелькнув в последнем кадре,
Она исчезла в затемненье.

КАНУН

Туман в низинах расстилался пеленою,
Внезапный ветер набегал и пропадал;
И до утра, готовясь к завтрашнему бою,
Не спал в сраженьях закаленный генерал.

Рассвет все ближе. Но, покуда час не пробил,
Он зорким взглядом обводил притихший стан;
То тут, то там мелькал его орлиный профиль,
И все бесшумно расходились по местам.

Он назубок усвоил истины простые:
Не лгать, не трусить, не сдаваться, не стонать.
Он знал доподлинно, как велика Россия,
И доброй волею не стал бы отступать.

Пристало ль русским перед пулями склоняться,
Когда на знамени — нерукотворный Спас!
Мы насмерть станем за родную землю, братцы,
И вместе выживем. А впрочем, как Бог даст.

Пусть грянет бой, какой от века был едва ли,
Пусть супостату будет белый свет не мил;
Чтоб через двести лет потомки вспоминали
Тех, кто за Родину себя не пощадил.

Он не застанет час, когда под вечер смолкнут
Орудий залпы, посвист пуль, снарядов вой.
Он будет гордо умирать, шальным осколком
Смертельно раненный в атаке роковой.

Светлело небо в ожидании восхода;
Вот-вот над полем вспыхнет новая заря.
Начало осени двенадцатого года.
Грузинский князь — на службе русского царя.

* * *

Юрию Баранову

Мы успели родиться на шестой части суши —
На восток до Камчатки и до Кушки на юг.
Мы умели смеяться и играть без игрушек,
И не всякого сразу допускали в свой круг.

Мы сбегали с уроков на футбольное поле;
Мастерили ракеты из конфетной фольги,
И таинственный запах бертолетовой соли
Ни химчистки, ни стирки одолеть не могли.

Мы не ждали послушно, когда стукнет шестнадцать,
И на взрослые фильмы пробирались в кино.
Мы с пеленок учились ничего не бояться
И не верить, что будет — чему быть суждено.

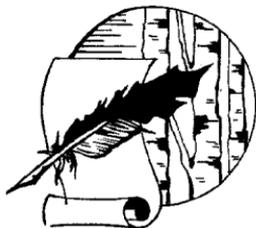
Мы чуть свет выбирались из постылой постели,
Каждый день продлевая хоть на крохотный час;

Мы быстрее выросли, потому что хотели
До поставленной цели доходить каждый раз.

Мы от края до края по земле колесили,
От Карпат до Байкала все нам было — свое.
Мы страну, где родились, называли Россией
С большим правом, чем нынче называют ее.

Где-то строились башни, где-то рушились стены;
Мир дробился на части и кроился по швам.
Мы сумели не сгинуть через все перемены,
И, кому было трудно, шли по нашим следам.

Мы ни совесть, ни веру никогда не попрали.
Что нам новый порядок или старая власть.
Если мы в этом мире до сих пор не пропали,
То, уж будьте надежны, нам и впредь не пропасть.



Алексей КРЕСТИНИН

ПРИСЯДЕМ У РЕКИ...

* * *

Январь. Растаял снег. Заблудшая зима.
Плюс пять — на Рождество, на Святках, как в апреле.
Опять пришёл циклон, верней — сошёл с ума,
И мне за ним сойти на праздничной неделе.

Застолья и гульба... Вот старый Новый год...
Но где же старина, свеченье звёзд, морозец?
Промокший Дед Мороз нырнул в проём ворот,
Усталый и хмельной артист-бородоносец...

О, если б выпал снег! О, если бы январь
Сверкал бы и хрустел!.. Я стал бы жить, как раньше.
Но улица черна... Перегорел фонарь...
Аптеку отнесли на двести метров дальше.

* * *

Куда ж теперь?
На все четыре стороны...
Но там всё то же:
Небо и Земля,
А между ними — купола и вороны,
И дышит всё,
И умереть нельзя.
Нельзя пропасть — круги пойдут по воздуху
И всё, что есть, до неба донесут,
И жизнь мою, дремучую, бесхозную,
Встряхнув, представят на вселенский суд.
И я скажу,
Что видел землю Русскую,
Что вместе с ней бывали в дураках.
И водка жгла, и огурец похрустывал,
И вороны гнездились в куполах.

Ещё скажу, что рос я вместе с ивами
Над речкой с дивным именем Облив,
И что тогда могли мы быть счастливыми,
Свободу со стрижами разделив;
Что лучший день — Христово Воскресение;
Борис и Глеб — любимые князья —
Хранят для нас надежду на спасение,
Твердят одно — что умереть нельзя.

* * *

В зоопарке такому зверю
Одиноко среди людей.
Не люблю зоопарк, старею.
Год от года рычать трудней.

Та же клетка и лица те же,
Каждый хочет достать рукой.
Где ж вы, где ж вы, леса медвежьи,
Над плескучей от рыб рекой?

А лесов уже нет в помине...
Говорят — я реликт Земли.
Я исчез. И меня отныне
В книгу Чёрную занесли.

* * *

Всё строже стража у ворот
Утерянного рая,
Мутней вода, скудней земля,
Озлобленной народ.
Процесс идёт, а мы стоим
Древнея, вымирая,
Под блуд рекламы, рёв толпы
И пошлый анекдот,

Под небоскрёбный мат, под шум
Асфальтового лета,
Под кадры вавилонских дней,
Забившие экран, —
Всё приближается к концу
Спектакля, драмы, света,
К итогу Библии, к тому,
Что видел Иоанн.

ВЫСШАЯ МЕРА

Страшно, товарищи, страшно,
Дамы и господа:
Пьёт Горюнова Наташа,
Колется Танька-Беда,
Курит Тверская Вера
Лет с десяти, поди.
Вот она — высшая мера.
Господи!
Господи...

* * *

Не во времени мы, а в пространстве,
Потому, что у нас Сибирь,
Потому что мы с чукчами в братстве,
И снега... и в снегах — снегирь.
Потому что ведут дороги
В непомерные ширь и даль.
И о чём ни шепни, в итоге —
Записал всё Владимир Даль.

ЖУРАВЛИ

В октябре аукнешь лето,
А откликнется зима.
Посмотри, какого цвета
Эти клёны-терема!
Цвета золочёной грусти
О цветущем, о былом...
Крикни вдаль, и боль отпустит —
Та, что слева, под крылом.

* * *

Давай присядем у реки
И разожжём остатки лета,
Так, при конце тепла и света,
Ясней свечение строки —

Ещё пронзительней Рубцов,
И пронзательнее Тютчев,
И в нашей памяти дремучей
Слышнее голоса отцов.

ПОГУБЛЕННЫЕ УНИКУМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ

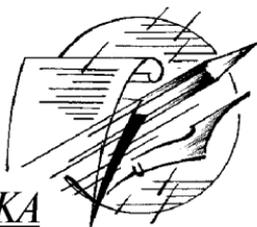
Советская держава имела могучие крылья, и Запад не смел угрожать СССР.

Сейчас во всём мире принято унижать нашу страну и одновременно подчёркивать «достижения» западной авиапромышленности. При этом успехи Советского Союза старательно умалчиваются. А как было на самом деле?

В своё время Советский Союз создавал уникальные самолёты и вертолёты, которые прославили не только отечественную авиапромышленность, но и нашу страну в целом. И сегодня некоторые из них эксплуатируются в разных странах мира.

Но при этом мало кто упоминает, что многие советские авиационные комплексы опередили своё время на десятки лет. Даже сегодня, изучая их возможности и сопоставляя лётно-технические характеристики, ясно, что они были поистине прорывными!

В данной статье ставится цель показать некоторые загубленные образцы боевой авиатехники, которые могли бы либо серийно строиться, либо после глубокой модернизации успешно эксплуатироваться ещё долгие годы.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Печальная судьба Т-4

Советский ракетноносец Т-4 даже сейчас является уникальной машиной, несшей высокоточное оружие. Так как СССР непрерывно пытался найти дешёвое «противоядие» для борьбы с королями океанов — американскими атомными авианосцами, было принято решение создать новейший авиационный ударный комплекс. Он должен был состоять из сверхскоростного самолёта, который мог бы обнаружить в заданном районе авианосное соединение, и гиперзвуковой ракеты, способной на скорости, в 4—5 раз превышающей скорость звука, пробить мощную систему ПВО авианосца и поразить его ядерным зарядом.

В конструкции планёра были применены новейшие по тем временам высокопрочные металлические материалы, такие, как титан и нержавеющей сталь. Также для самолёта были изготовлены теплостойкие агрегаты топливной системы.

Этот авиационный комплекс не имел аналогов в мире; Т-4 опередил своё время минимум на 20—25 лет. В этом бомбардировщике многое было новым. Впервые в СССР для кабины Т-4 был разработан индикатор навигационно-тактической обстановки, где на телевизионном экране данные бортовых радаров накладывались на электронное изображение микрофильмированных карт, охватывающих поверхность почти всего земного шара.

На самолёте впервые была установлена электрическая дистанционная следящая система управления двигателями, работающая как от рук пилота, так и от автомата тяги.

Кроме того, был установлен перископ для обзора вперёд — на случай аварийного отказа механизма отклонения носовой части. Подобное решение впоследствии нашло применение на гражданских лайнерах Ту-144 и «Конкорд». Максимальная скорость Т-4 достигала 3200 км/ч, бомбардировщик поднимался на высоту до 25 000 метров, дальность полёта составляла 6000 км.

Однако из-за дороговизны проект был свёрнут. Справедливости ради нужно отметить, что принятый на вооружение в 1987 году сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 при этом тоже стоил не меньшего количества денежных средств; при его создании были использованы некоторые инновационные решения, отработанные на Т-4.

Короткая карьера МиГ-27

На вооружение фронтовой авиации СССР в 1975 году поступил истребитель-бомбардировщик МиГ-27, который так-

же опередил своё время. По словам лётчика-испытателя Валерия Меницкого, был создан уникальный авиационный комплекс с современным вооружением.

Ещё более эффективным оказался МиГ-27К, оснащённый прицельно-навигационным комплексом ПрНК-23К, в состав которого входили цифровая электронно-вычислительная машина «Орбита-20-23К» и лазерно-телевизионная прицельная система «Кайра». На момент создания, по совокупности характеристик, МиГ-27К являлся **лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире**. Всего было выпущено 764 МиГ-27 (в том числе 197 МиГ-27К).

Однако в 1993 году в связи с тотальной нехваткой средств началось массовое списание МиГ-27 с последующим расформированием полков и сдачей машин на базы хранения. Большинство сданных на базы хранения самолётов находилось в отличном состоянии, но ввиду отсутствия финансирования и, соответственно, должного ухода, они быстро утратили боеспособность. Первая чеченская война вновь вызвала интерес к этому самолёту (главный конструктор А.А. Попов несколько раз лично выезжал на базы хранения для определения возможности постановки на крыло МиГ-27), но «двадцать седьмые» в большинстве своём оказались уже непригодны к полётам.

События на юго-востоке Украины ещё раз подтвердили важность наличия на вооружении сверхзвукового истребителя-бомбардировщика. Дело в том, что штурмовик Су-25, несмотря на свои сильные стороны, на сегодняшний день стал более уязвимым перед современными средствами ПВО и ПЗРК. Низкая максимальная скорость (около 980 км/ч) с полным боезапасом не позволяет штурмовику совершить эффективный противозенитный манёвр. Сверхзвуковой «МиГ» имеет намного больше шансов уйти от вражеских ракет.

МиГ-27 успешно прошёл боевое применение во многих вооружённых конфликтах. Так, во время войны Сирии против Израиля в июне-сентябре 1982 года сирийские «МиГи», даже повреждённые, наносили удары по вражеским целям и возвращались на свой аэродром.

МиГ-27 прекрасно показал себя во время войны в Афганистане. Мощная шестиствольная 30-мм пушка ГШ-6-30, ракеты Х-25 и Х-29 оказались страшным оружием для душманов, а боковые бронеплиты спасли жизнь не одному лётчику: потерь «МиГи» не понесли.

Отлично показал себя МиГ-27МЛ в ВВС Индии и Шри-Ланки. Нанося удары по позициям боевиков «Тигры Осво-

бождения Тамил-Илама», «МиГи» были лидерами в совместных боевых звеньях с «Кфирами» и J-7. По словам западных лётчиков, МиГ-27 превосходил такие западные машины, как «Торнадо», «Ягуар», израильский «Кфир» и другие.

Что касается безопасности полётов и происшествий с наиболее тяжёлыми последствиями — то и в этом отношении МиГ-27 выделялся в лучшую сторону. Его показатели безопасности в несколько раз опережали любые другие типы машин фронтовой авиации.

Ми-14 сознательно убили

В 1976 году советская противолодочная авиация получила отличный вертолёт-амфибию Ми-14 с современным оборудованием и вооружением, которое позволяло успешно бороться не только с подводными лодками, но и надводными целями. Кроме того, винтокрылая машина несла на борту тактический ядерный заряд мощностью в одну килотонну.

Вертолёт серийно производился на Казанском авиазаводе в 1973—1986 годах. Всего было произведено 273 машины. Два газотурбинных двигателя ТВ3-117М, которые впоследствии были установлены на Ми-17, обеспечивали большую надёжность и неприхотливость вертолёта-амфибии.

Основой бортового комплекса Ми-14ПЛ являлась поисково-прицельная система «Кальмар», включавшая в себя РЛС, опускаемую гидроакустическую станцию «Ока-2», вычислительную аппаратуру и оборудование связи. На более поздних версиях (Ми-14ПЛМ) вместо «Кальмара» была установлена более совершенная система «Осьминог», оснащённая мощной бортовой вычислительной машиной, позволявшей решать большую часть поисковых и ударных задач в автоматическом режиме.

На базе Ми-14ПЛ была создана также поисково-спасательная версия Ми-14ПС. Снятое противолодочное вооружение позволило разместить отсек на 10 пострадавших, снабдить кабину лебёдкой с сеткой, на которой можно было одновременно поднимать с воды до трёх человек. Также машина оснащалась сбрасываемыми спасательными плотами, прожектором и поисковым локатором.

Ещё один вариант Ми-14БТ — буксировщик тралов. Это был противоминный вертолёт, буксирующий контактные и неконтактные тралы (парами или в одиночку).

Ми-14 наводили такой страх на генералов из Пентагона, что после переговоров Горбачёва с Рейганом в 1987 году чиновниками было принято решение нанести на хвостовые бал-

ки вертолётов чёрные пунктиры, так как «Ми́ли» было **невозможно засечь даже с помощью спутников!** А в 1996 году Ми-14ПЛ были полностью сняты с вооружения морской авиации России (тем самым Ельцин выполнил требования американской администрации о дальнейшем разоружении нашей страны).

Мало кто знает, что Ми-14 превосходно показал себя в Ливии. Однажды, в 1981 году в районе города Бенгази пропал истребитель МиГ-21. Поисковые группы бросили, помимо Ми-14-х, и французские «вертушки» «Супер Фрелон». Дело кончилось тем, что французские машины оказались чрезвычайно капризными — за два дня из-за жары у них обнаружили до 40 неисправностей. А советские «Ми́ли» работали как часы и успешно выполнили свою задачу.

Кроме того, в начале 1982 года прошли учения с участием подводных лодок. Наши винтокрылые машины обнаружили субмарину, постоянно поддерживали с ней контакт, имитировали тактические бомбовые удары, но когда на смену «Ми́лям» пришли «Супер Фрелоны», контакт был безнадежно утерян, а подлодка как бы в насмешку всплыла между двумя висящими вертолётами. Вскоре Ми-14 стали базироваться в Триполи, а Ливия закупила ещё 16 советских машин.

После объединения Германии США получили два Ми-14, но ничего подобного американские специалисты так и не сумели создать. Зато наибольшую выгоду для себя извлекла Польша — ВМС этой страны до сих пор эксплуатируют «Ми́ли». Для Североатлантического блока Ми-14 оказался ценным подарком...

В-12 — уникальный винтокрылый исполин

В-12 (Ми-12) — самый тяжёлый и грузоподъёмный вертолёт, когда-либо построенный в мире. Отличительной особенностью винтокрылой машины являлось боковое расположение винтов на крыльях обратного сужения, которые приводились в движение четырьмя двигателями Д-25ВФ.

В-12 разрабатывался как сверхтяжёлый транспортный вертолёт с грузоподъёмностью свыше 30 тонн, для перевозки компонентов межконтинентальных баллистических ракет для частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), создание позиционных районов для которых планировалось в районах без дорог с твёрдым покрытием.

Первый полёт В-12 совершил 10 июля 1968 года (лётчик-испытатель Василий Колошенко). В феврале 1969 года вертолёт поднял 31 030 кг полезной нагрузки на высоту 2910 мет-

ров. 6 августа 1969 года В-12 поднял груз в 44 205 кг на высоту 2255 метров, установив мировой рекорд грузоподъёмности для вертолётов, **который не побит до сих пор**. Даже сейчас лётные данные В-12 являются выдающимися:

диаметр главного винта — 35 метров;

максимальная скорость — 260 км/ч;

крейсерская скорость — 240 км/ч;

перегоночная дальность — 1000 км;

практическая дальность — 500 км;

практический потолок — 3500 м;

экипаж — 6–10 чел;

полезная нагрузка: нормальная — 20 тонн груза, максимальная — до 25 тонн;

в пассажирском варианте В-12 мог перевозить 196 пассажиров.

Однако по непонятным причинам, несмотря на успешные испытания винтокрылой машины и рекомендации Государственной комиссии, программа Ми-12 была прекращена, а вся тяжесть работ легла на вертолёты Ми-8, Ми-17 и Ми-26, которые по своим возможностям существенно уступают советскому гиганту.

ГРОБ СЕРГЕЯ МИТЯЕВА

РАССКАЗ

Медленно, словно через силу, они восходили по выжженному склону, то и дело пугливо косясь на придорожные заросли, настороженно всматриваясь в каждый новый поворот дороги. Несмотря на окружающее безлюдье, глаза их смотрели затравленно, а в неуверенных, несмелых движениях, во всём облике сквозила подавленность и боязнь, словно у подсудимых в ожидании обвинительного вердикта.

Вероятно, это шествие виделось издали несколько необычным: русские мужчины и женщины, понуро, но упорно бредущие куда-то вверх, к вершине поросшего колючим бурьяном холма. В последнее время русских и в центре Душанбе то почти не встретишь, а тут целых полтора десятка, да ещё на диковатой, заброшенной окраине...

Впрочем, причина, заставившая людей пуститься в путь, становилась ясна до жути, стоило лишь приглядеться повнимательнее. Плавно покачиваясь, она безмолвно плыла во главе этой реденькой, немногочленной колонны на плечах четверых носильщиков, заключённая в дерево гроба, дошатого нека-



ПРОЗА

зистого гроба, обитого сверху чем-то красным, но сильно выцветшим — его, судя по виду, не покупали в похоронном бюро, а мастерили сами впопыхах, на скорую, не слишком умелую руку.

Скорбную ношу, как и полагается, несли мужчины. Время от времени они по одному сменяли друг друга, дабы дать отдох своим занемевшим, натёртым плечам. Идти оставалось ещё прилично — до кладбища, сползавшего с вершины по склонам, оставалось не менее чем полкилометра.

Следом за мужчинами брели женщины, держа в руках кто перевитый траурными лентами венок, кто лопаты с верёвками, кто букетик чахлах цветов. Вдова среди них была заметна сразу. Чёрная и поникшая, она сумрачно шагала сразу за гробом, и её глаза, полные горестного бессилия, казались остановившимися, недвижимыми.

Было только десять утра, но солнце жгло без милосердия, совсем как в слепящий полдень. Пожилой таджик на тархтыщем пропылённом «пазике», привёзший их всех к подножию кладбища, дальше ехать отказался наотрез, хотя и взял деньги за всю дорогу наперёд:

— Не обижайтесь, уважаемые, но я тоже жить хочу, — повторил он несколько раз и широко распахнул заднюю дверь своей колымаги, недвусмысленно приглашая поскорее извлечь гроб из салона. — Туда. — Он хмуро мотнул головой в сторону склона, по которому пролегал путь к могилам. — Вы сами идите, одни.

Его не упрашивали.

Во-первых, потому как отлично знали и сами, что их жизни могут там в любой момент оборваться. Люди сейчас повсюду гибли десятками и сотнями каждый день, и никто не мог поручиться, что вооружённые, остервенелые от крови «вовчики»¹ не бродят где-нибудь совсем рядом. А во-вторых, потому что видеть лишний раз таджиков, тем более во время похорон, никому не хотелось.

Тот, кого теперь несли хоронить, был убит ими два дня назад. Его, Сергея Митяева, молоджавого тридцатипятилетнего инженера с городской ТЭЦ, зарезали прямо на улице, в соседнем с его домом квартале, куда он отправился разузнать, не завезли ли в продуктовый магазин хлеба. Трём таджикским юнцам, старшему из которых не исполнилось ещё, наверное, и двадцати, уж очень понравились наручные часы, которые Сергей с утра по привычке надел на руку.

Час спустя, когда искромсанное ножевыми лезвиями, окровавленное тело подобрали и внесли в квартиру сердоболь-

ные соседи, пара робко жмущихся по углам русских тёток переговаривалась вполголоса:

— На часы позарились, зверьё. Зарезали до смерти... Среда бела дня...

Никто не голосил, не заходился в крике — даже овдовевшая жена инженера. Окрестные русские жильцы, пришедшие помогать, были печальны и молчаливы. Все проклятия были здесь давно уже выкриканы, а слёзы — выплаканы. В приглушённых словах собравшихся слышалась лишь недоумённая горечь: до каких же пор будут продолжаться эти грабежи и резня? До каких пор русских людей будут здесь вот так убивать?!

Впрочем, раздавались и иные голоса:

— Вот чёрт же его дёрнул часы надеть, — проронила, насупившись, одна из женщин, помогавших обмывать тело. — Будто не знал, что нынче вокруг творится.

Тон её по отношению к покойнику сделался столь категоричен и суров, будто это именно он, а не озверевшая шпана, оказался единственной причиной произошедшего несчастья.

Некоторые из явившихся соболезновать охотно вторили таким речам, стоило только убитой горем вдове выйти в другую комнату. По их мнению, инженер Митяев и впрямь поступил неразумно — рискнул хоть чем-то привлечь на улице внимание полудиких, алчных до всякой поживы памирских горцев.

— Ох, да тут за рубль, за кусок хлеба растерзать готовы, а он с часами пошёл... — враз посыпались причитания запуганных, уже привыкших всего бояться женщин. — Лучше отдал бы их к чёрту — пусть подавятся.

Только один парень, собственноручно смастеривший из строительных досок надмогильный крест, мрачно скрипнул зубами:

— Да на них, гадов, не напасёшься. Не за часы, так за светлые волосы глотку перережут.

Парень этот, Дима Масленников, жил неподалёку, через квартал. Несмотря на молодость, слыл он человеком решительным и упрямым, не прощавшим обид и не дававшим спуска. В мрачные дни погромов², всеобщего ужаса, смятения, паники, он одним из первых стал собирать вокруг себя стойких и несломленных. Их немногочисленная, интернациональная и разновозрастная дружина «некоренных» — русские, украинские, татарские, немецкие служащие и милиционеры, заводские слесари и водопроводчики, врачи и инженеры — вышла охранять микрорайон. Вооружились кто чем: охотничьими ружьями, ножами, ребристой арматурой,

дубьём. Пистолетов было всего четыре на полсотни мужчин, автоматов — ни одного. Малодушные и трусы, вжимая головы в плечи при отзвуках оружейной пальбы, при виде вздымавшихся над центральными кварталами копотных столбов дыма, заведомо считали дружину обречённой и разбежались по чердакам и подвалам. Но погромщикам хватило демонстрации и этого скудного арсенала в руках отнюдь не парализованных страхом мужчин. Свирепствуя в других частях города, к ним они не сунулись. Их страстью было иное — глумиться, грабить и убивать безнаказанно. И это отвратное открытие, пожалуй, отпечаталось в памяти Масленникова в те дни едва ли не сильнее всего.

Пару месяцев спустя ему, как и Сергею Митяеву теперь, вот так же «повезло» напороться на уличных грабителей — двоих небритых, диковатого вида парней, внезапно загородивших дорогу и без лишних слов выхвативших ножи. Но Масленников, к их заметному удивлению, не оробел и не попытился растерянно и боязливо, а наоборот, боевито взмахнул длинной, остро наточенной отвёрткой.

— Вон! Пошли вон! — рявкнул он, рассекая ею воздух. — Р-р-располосую!

Если бы у тех были пистолеты вместо ножей, они, конечно, уложили бы его на месте без раздумий. Но их не было, а поножовщина с тем, кого они поначалу сочли лёгкой добычей, сулила лишь раскромсанные лица и распоротые животы. Потому таджики нехотя отступили, пожирая его глазами, шипя сквозь зубы русские и таджикские ругательства.

Все дни этой вдруг вихрем поднявшейся вакханалии Масленников мечтал раздобыть настоящее оружие. Купить его можно было у одного знакомого токаря, который теперь зарабатывал на жизнь тем, что перedelывал газовые стволы на боевые. Масленников знал, что подобное оружие ненадёжно, что в нём может переклинить затвор или случиться осечка, но у него — электрика при домоуправлении, сына пожилой медсестры — не хватало денег даже на такое.

«Эх, самому, что ли, грабануть кого? — горестно размышлял он иной раз. — Не пропадать же зазря, в самом деле».

Он предчувствовал, кожей осязал, что однажды ни его, ни любого другого из здешних русских не сможет выручить никакая отвёртка с ножом.

Масленников предлагал и Сергею раздобыть денег, скинуться и запастись оружием сообща, говорил, что русскому человеку в Таджикистане теперь без него не жить. Но тот покивал-покивал головой, да только купить так и не собрался. Да и в дружину-то он пошёл тогда так, словно на казнь...

Траурная процессия добралась уже до середины склона, когда один из нёсших гроб мужичков вдруг приостановился.

— Ну, печёт, — приглушённо выдохнул он, высвобождая левую руку и отирая взмокшее, красное лицо. — Сегодня что-то уж совсем неважно.

Шедший належке Масленников быстро вынырнул из-за спин и подставил плечо.

— Пойдёмте, — призывно бросил он, жестом давая понять утомившемуся, что готов его заменить. — Уже недалеко. Там передохнём.

И правда, большую часть пути они преодолели. Ещё каких-нибудь двести — двести пятьдесят метров на пекле по глине и камням — и они вступят в пределы кладбища, поравнявшись с оградами крайних могил. А затем уже, переводя дух в тени росших там ветвистых тополей и акаций, побредут дальше, к выкопанной накануне могиле, петляя узкой тропкой среди решёток, крестов и каменных надгробий.

Масленников занял место в ногах покойника неслучайно. Вчера он с двумя товарищами приехал сюда с лопатами и, выбрав место — такое, чтоб располагалось обязательно в тени деревьев, но не слишком далеко от входа — вырыли могилу. Копали они, ни у кого ничего не спрашивая, не представляя никаких справок, никаких бумаг. Да и некому теперь стало их спрашивать — вся кладбищенская администрация куда-то исчезла, и её одноэтажный домик, располагавшийся сразу за главными воротами, уж пару месяцев стоял пустым и запертым на замок.

Убитый Сергей Митяев, равно как и его жена, были в Душанбе новосёлами и обрести родней не успели. Как и подавляющее большинство местных «некоренных» обитателей — учёных, строителей, медиков, рабочих, — они прибыли сюда, повинувшись тому могучему, страстному порыву, что десятилетиями устремлял миллионы им подобных на дальние, забытые богом окраины, дабы превращать угрюмые ледяные бухты в громыхающие кранами океанские порты, пыльные и бесплодные долины в орошаемые плодородные сады, а глинобитные кишлаки — в миллионные мегаполисы. И встретились, и поженились они тоже здесь, сыграв свадьбу в душанбинском кафе и созвав туда тех, с кем работали, с кем жили по соседству, с кем делили хлеб и кров все эти годы. Никто среди тех, кто в тот знойный июльский вечер беззаботно веселился и танцевал под модные песни советской эстрады, и помыслить не мог о столь скорой, страшной развязке. Зато она, придя неотвратимо,

рассчитала сполна всех. И возложила на них, сроднившихся, скорбное бремя — носить друг друга на кладбище.

— Сюда, сюда, направо, — деловито указывал дорогу Масленников, разворачивая гроб в нужном направлении и поворачиваясь сам. — И вон по той дорожке.

Люди, молчаливо повинувшись ему, двинулись в указанную сторону, к проходу между могильными решётками. Преодолев, наконец, самую крутизну, все, не сговариваясь, прибавили шаг. Они знали, что у самых оград жгучий, «кусающий» жар сделается менее мучительным. Здесь, под раскидистыми ветвями, в умиротворяющей тени, тут и там пробивалась зелёная, невыгоревшая трава, струились вьюны, оплетавшие своими сочными стеблями крашеный металл ограждений. Изобилие зелени всегда отличало русские кладбища от мусульманских. Здесь — свежесть, птичий щебет, шорох листвы, там — опалённые склоны гор, без кустика и травинки, немые, словно сама смерть.

Гроб уже был под сенью деревьев, и нёсшие его с облегчением вдыхали нежаркий кладбищенский воздух, про себя радуясь, что за время пути не встретили ни души. Их надежда на благополучное возвращение потихоньку начинала крепнуть.

Направо, мимо причудливого металлического памятника-пропеллера на могиле какого-то лётчика, затем налево, опять налево. Покойного уносили всё дальше по тропинкам каменно-железного некрополя.

А вот что произошло далее, находившиеся в хвосте похоронной процессии поняли не сразу. Те, кто шёл первыми, внезапно, словно по команде, замерли на месте или даже с оторопелыми возгласами стремительно отшатнулись назад — так, будто вдруг увидали под ногами змею. Но остальные, не успевшие ни узреть, ни разгадать причину столь внезапного смятения, ещё продолжали двигаться дальше и, наталкиваясь на вперёдистоящих, создавали в нешироком проходе бесстолбовую толчею.

— Не надо! Не надо!! — вдруг истошно завопила одна из женщин, и от одного её крика многих пробрал озноб.

Бросив венок, она рухнула наземь, умоляюще простирая перед собой руки.

Но этот надрывный вопль и жалкая, коленопреклоненная поза лишь распалили свирепость тех, в ком она полагала вызвать жалость.

Едва лицо женщины коснулось травы, как поверх голов остолбеневших людей, сбивая ветви высившейся за их спи-

нами акации, полоснула очередь, здесь, в кладбищенской тиши кажущаяся особенно громкой.

— Лежать! Всем лежать, свиньи! — рывкнули из-за ближайшей ограды.

В голосах, резанувших ухо совсем уж диким, чужеродным акцентом, не чувствовалось и намёка на уважение к чужому горю.

Растерянные, оцепеневшие от ужаса люди — кто сразу, кто мгновением позже — повалились на землю. Все понимали, что им — безоружным — пререкаться и перечить нельзя, ибо вошедшие в раж погромщики не знали пощады.

Впереди послышался довольный смешок, и трое недобрых молодцев, держа оружие наперевес, не спеша показались из-за могил. Ради чего они забрели на русское кладбище в такой час — выкурить ли несколько косяков анаши или распить бутылку водки вдали от глаз старших сородичей — мало занимало пришедших на похороны. Взгляды тех из них, кто не уткнул помертвевшее лицо в траву, упёрлись в тёмные дыры оружейных стволов, с демонстративной решимостью направленных на этих беззащитных, жмущихся друг к дружке людей. Два «калаша» и «макаров» — этого было вполне достаточно, чтобы к одному лежащему в гробу трупу без промедления прибавить ещё полтора десятка.

— Х-ха! Ха-ха! — победно гоготнул тот, что сжимал рукоять пистолета. И, обернувшись к соплеменникам, пролопотал что-то на своём.

Те с самодовольством ослаблились, собирая в крутые ямочки мышцы округлых, коричневатых, будто дубовая кора, лиц.

— Чего только один принесли? Мало же, — хохотнул другой и дёрнул стволом в сторону гроба.

Первый, выглядевший заметно моложе двух других, поребячи кривляясь, взял лежащих на прицел:

— Ничего, сейчас много ящиков станет, — в его угрозе чувствовалось и глумление, и злая подначка.

Он, словно подрастающий хищник, казалось, вступал в недолгую игру с обречённой на съедение жертвой.

— Ребята, ну мы ж покойника несём, — не поднимая головы, взмолился кто-то из мужичков. — Дайте хоть похоронить по-человечески.

Голос его сипел и срывался, словно у подростка, готового разрыдаться от нежданной обиды. Однако эта смиренная, жалостливая просьба вызвала у бандитов приступ лютости.

— Всех вас, русаков, в землю зарыть! — пролаял молодчик с автоматом, на глазах меняясь в лице.

В его сужившихся, потемневших глазах не осталось и тени насмешки.

— Всех вас к шайтану! — скрипнул зубами другой.

Его рука быстро сдёрнула предохранитель, и палец лёг на спуск.

— Аллаху акбар! — взревели все трое, беря гроб на мушки.

Хлёсткие очереди и отрывистые, резкие, словно удары молотка, пистолетные выстрелы в мгновение ока пробили в нём множество дыр. Те, что были с автоматами, палили, не утруждая себя точным прицеливанием, и от их размашистых очередей земля вокруг гроба взрывалась удушливыми пылевыми фонтанами. Зато юнец, зверски морща прыщавое лицо, стрелял наверняка, явно стремясь попасть в ту часть гроба, где помещалась голова трупа. Расстреливаемый гроб шатался и подскакивал, будто живой. Одни пули с сухим треском вырывались из него наружу, отбивая от досок острые продолговатые щепки, другие застревали внутри, в теле покойника, производя глухой сыромятный звук.

— А-аа-аааааа!!!! И-иии-ииииии! — не помня себя, завывали, завизжали женщины, топя лица в пыли и закрывая головы руками.

Их скорчившиеся тела напоминали неуклюжие, кургузые кули, неизвестно зачем разбросанные посреди могил.

— М-рр-рррраааа-зии! — зарычал Масленников, вцепившись зубами в собственный рукав.

Приколоченная крышка несколько раз подлетела кверху и, лишившись большей части скреплявших её с краями гроба гвоздей, сдвинулась в сторону.

— Б....! — выругался по-русски таджик и со всей дури ударил по ней ногой.

Окончательно сорванная, она с приглушённым стуком отлетела в сторону, в заросли чего-то разлапистого и чрезвычайно колючего, открывая взорам «вовчиков» мёртвое тело. Вид человека, погибшего более двух дней назад и всё это время пролежавшего в духоте маленькой плохо проветриваемой квартирке, был отталкивающим и тяжким, как и ударивший в нос смрадный дух. Потемневшее, обезображенное тленом почти до неузнаваемости лицо, вспухшие багрово-синюшные губы, матовая кожа окоченело сомкнутых на груди рук — всё это было теперь разворошено, растерзано, вспаханно десятком пронзивших мёртвую плоть пуль. Голова покойника, изначально уложенная на маленькую аккуратную подушку, теперь свернулась на бок и из полуоткрытого рта на белую ткань гробовой обивки медленно истекала вязкая, цвета загустелой крови, струйка.

— Ф-фу, падаль, — скорчив гримасы отвращения, таджики отпрянули.

Юнец с пистолетом, шагнул к лежащему на земле кресту, приподнял его, упирая одним концом в землю, и, с силой топнув ногой посередине, переломил.

— Аллаху акбар! — проорал он вновь, зашвыривая изломанный крест туда же, куда минуту назад улетела гробовая крышка.

Больше таджики ничего не сказали, а только плюнули в ту сторону, где остался лежать расстрелянный гроб, и, закинув автоматы на плечи, направились к выходу. Они шли, не оглядываясь, ровной, уверенной походкой людей, исполнивших непростое, но необходимое дело, и ничто в их облике не выдавало ни волнения, ни тягостных дум.

Русские, приподняв головы, смотрели им вслед: кто в немом ступении ещё не отступившего смертного страха, а кто люто, с ненавистью. Секунда, другая, третья — спины «вовчиков» продолжали неспешно удаляться, постепенно скрываемые из виду оградами и ветвями. В угрюмом оцепенении друг явственно прозвучали судорожные всхлипы вдовы, подползшей на коленях к гробу. Давясь рыданиями, исторгая из горла что-то отрывистое, почти звериное, она расправляла на покойнике всклокоченный дырявый пиджак и вновь подсовывала ему под голову вспоротую подушку, пачкая в струившихся изо рта выделениях ладони и пальцы.

Все, кто был тогда на кладбище и сумел затем выбраться из Таджикистана живым, впоследствии вспоминали тот день, содрогаясь. Но адское видение раскуроченного гроба с расстрелянным, изрешеченным мертвецом терзало их в России ничуть не реже, чем в те первые дни и недели после похорон.

На улицах русских городов они почти сразу отворачивались от попадавшихся навстречу таджикских лиц, едва лишь скользнув по ним сведущим, но сумрачным взором. Всякие среди них встречались, и намётанный глаз среднеазиатского уроженца почти безошибочно определял, кто здесь бадахшанец, кто кулябец, кто бывший «вовчик». Неужоженные и неопрятные, в замызганных комбинезонах и спецовках, они проходили мимо когда тихими одиночками, когда шумными оравами, производя вокруг гомон и гвалт.

Многое, многое вспыхивало в такие моменты в душах русских людей, провожавших в Душанбе в последний путь Сергея Митяева, инженера-энергетика тридцати пяти лет. Вставало перед глазами само кладбище, в особенности каким оно сделалось после войны³ — уже покинутое, зарастающее бурьяном. Оживал звук, производимый проносящимися над головой пулями. Осязался суховатый привкус глинистой

пыли, в которую они что есть сил вжимали тела и лица. Ощущались усилия одеревенелых мускулов, заставившие их, униженных и оплётанных, подняться на ноги и, шатаясь, побрести дальше к могиле, опустить в неё нетвёрдыми руками останки и торопливо забросать их землёй, дико озираясь на близлежащие кусты...

Вспоминалось всё это и Масленникову, который, навсегда покинув Таджикистан в 95-м, немало помыкался по разным весям и окончательно осел под Петербургом лишь через много лет. Пожалуй, он — единственный среди всех них, кто, повстречав очередного темнолицего строителя или дворника, не торопился отвернуться в сторону и прибавить шаг, а наоборот, даже приостанавливался, вглядывался пристально и пытливо. Но всякий раз отворачивался, разочарованный, досадливо сплёвывал в сторону: нет, и этот гастарбайтер не из тех. Опять не из тех.

Отчего-то в нём жила твёрдая уверенность, что те их мучители тоже выжили. И не просто выжили, а перебрались вслед за ним сюда, в Россию. А может, и ранее его — кто знает! Словно наяву, он отчётливо представлял их, облачённых в синие, со светоотражающими лентами на плечах, рабочие робы, то карабкающимися по строительным лесам с ведрами и валиками, то копошащимися в грязи котлована. Конечно, за двадцать лет они изменились. Плечи их наверняка изрядно ссутулились, кожа лиц пошла морщинами и загрубела, глаза поблекли, и вместо былой злобной спеси в них тлела ныне только усталая понурость, нужда.

Подобных глаз Масленников, четвёртый год работавший охранником при различных стройках, повидал уже тысячи: молодых и не очень, преимущественно тёмно-карих, но иной раз и светлых. И всегда, когда на объект прибывала новая партия среднеазиатских рабочих, он, словно невзначай, подходил к ним поближе, искал, пытался узнать. Он не сомневался, что встретив хотя бы одного из той троицы, никогда не пропустит мимо. Узнает его моментально, даже если пройдёт ещё двадцать лет, и перед ним за то время промелькнут ещё десятки тысяч таких вот узбекских, киргизских, таджикских рабочих. Узнает, чтобы...

И действительно — однажды он узнал.

А произошло это вот как. В тот позднеосенний вечер, студёный и непроглядно серый, иззябший Масленников сдал, наконец, сменщику пост и привычно направился к автобусной остановке, собираясь ехать домой. Домом ему служила маленькая однокомнатная квартирка в Ломоносове, где он уже пять лет обитал вдвоём с продавщицей местного гастро-

нома, сорокалетней разведённой — женщиной грубоватой и сильно курящей, но, в общем-то, душевной и не злой. Стройка, которую выпало ему охранять, располагалась под Стрельной, посреди обширного, но давно заброшенного парка с руинами пансионата советских времён, который теперь один строительный воротила вознамерился превратить в элитный ночной клуб. Пост его — наспех сколоченная фанерная будка, тесная и продуваемая сквозняками — находился на дальней оконечности уже расчищенной под строительство территории. Для того, чтобы выйти к шоссе, соединявшему десятки километров петербургских предместий вдоль залива, Масленникову требовалось сначала пройти через всю стройплощадку, а затем ещё и через длинную, выложенную прямоугольными бетонными плитами, почти неосвещаемую аллею, выходные ворота которой выводили к самой остановке. Сжимаемая стынувшие под влажным морским ветром пальцы, он осторожно ступал по проложенным сквозь цементно-землистую грязь хлипким настилам, раздумывая, не купить ли по дороге домой бутылку-другую пива: от каждодневного многочасового созерцания тёмных, по-муравьиному мельтешащих строителей в нём всё чаще пробуждалось тоскливое желание выпить.

«Белорусов бы наняли, что ли. Или хотя бы молдаван. А-то с этими урюками — тоска зелёная», — сходя с настила на ведущую к аллее дорожку, досадливо фыркнул Масленников.

Досада его была пустой. Белорусы и молдаване почти полностью вывелись на петербургских стройках ещё несколько лет назад, и он это отлично знал. Да и сам этот величавый, надменный город теперь чернел на глазах, как чернеет пойма азиатской реки от нанесённого весенним разливом ила.

Скользкий, шаткий настил остался позади. Дорожка тоже. Где-то за спиной ещё раздавались взвизгивания лебёдок, скрежет мешающих раствору лопат, голоса рабочих, но свет прожекторов, направленных на возводимые стены и перекрытия, не достигал тенистой, засаженной по бокам тополями аллеи, заставляя Масленникова напрягать зрение. Однажды, вот так же идя к остановке после смены, он, споткнувшись в потёмках о глубокую и размытую щель между двумя плитами, упал и сильно расшиб колено. Одинокий фонарь мерцал желтоватым маяком далеко впереди, у самых выходных ворот, и шагать до него оставалось не менее пары сотен метров.

Масленников преодолел уже половину пути, но, подойдя к низкому мостику, перекинутому через заиленную, заросшую ряской и камышом протоку, вдруг сбавил шаг. На светлом, выгнувшемся вверх плавной дугой покрытии моста, слева,

возле самого каменного парапета, замаячила какая-то неясная масса. Размеров она была внушительных, с сидящего на корточках человека, и располагалась так, будто её нарочно привалились к ограждению.

«Мешок? — рассеянно предположил он. — Но откуда?»

Только за часы его сегодняшнего дежурства мешков с цементом «КамАЗы» навезли на стройку десятка четыре. Может, какой-то из них потерялся по дороге? Это было бы объяснимо: мост имеет не крутой, но всё же подъём, поэтому доверху загруженный грузовик, взбираясь на него, да ещё в сумерках, вполне может наклонить кузов таким образом, что из него незаметно выскользнет часть поклажи.

«И чёрт с ним, — решил он, подавляя секундное желание вернуться назад и сообщить о находке прорабу. — Никто его сейчас тут не тронет, а поедут назад — сами увидят при свете фар».

Почти не сомневаясь в правильности своей догадки, Масленников взошёл на мост, намереваясь пройти мимо, как вдруг то, что поначалу показалось ему высоким, плотно набитым мешком шевельнулось и издало неприятный, коробящий звук, каким обычно сопровождается отхаркивание мокроты.

Масленников враз повернул голову.

«Тьфу ты! Бомж, что ли?»

Не раз случалось, что на территорию стройки забирались бродяги, ища здесь не только укрытия для ночлега, но и поживу в виде проволоки, арматуры или кусков железа, пригодных для сдачи в металлолом. Начальник охраны требовал бить таких непрошенных гостей смертным боем, и Масленникову в часы смены тоже пару раз доводилось криками гнать обратно за забор засаленных, дурно пахнущих оборванцев.

Преодолевая брезгливость, он сделал шаг в сторону человека — теперь он уже ясно различал, что перед ним человек — и, вынув из кармана мобильный телефон, осветил тому лицо. Он приготовился увидеть опухшую, небритую физиономию закутанного в извазюканное тряпьё босяка, которого теперь придётся поднимать на ноги и выпроваживать с территории прочь, однако то, что проступило перед ним в голубовато-электронном отсвете дисплея, заставило Масленникова вздрогнуть.

Нет, не потому, что человек, сидящий на холодных цементных плитах моста, истекал кровью, лившей и из разбитого, смятого в бесформенный комок носа, и из глубоких, очевидно, ножевых, порезов на руках и груди. Вид кровоточащих ран, изувеченной плоти, белых, смертных лиц, сделался при-

вычным Масленникову ещё с Таджикистана. Дрожь пробрала его оттого, что, несмотря на сильные увечья и скудное освещение, он почти мгновенно узнал само проглянувшее из мрака *лицо*.

— Он,— пробормотал Масленников, впиваясь взором в человека, опиравшегося спиной о парапет, видимо, из последних сил.— Он — точно!

Душанбе, русское кладбище, продырявленный гроб, торжествующие ухмылки таджиков — эти давнишние картины ожили в мозгу Масленникова со столь необычайной яркостью, что он мгновенно вспомнил такие детали, которые, казалось, за двадцать прошедших лет не смогла бы удержать даже самая цепкая память. Вот один из таджиков вскидывает автомат, и на его сжимающей цевьё смуглой пятерне алеют свежие царапины, оставленные, вероятно, шипами кустов; вот другой, выхватывая из-за пояса пистолет, невольно вскидывает край выцветшей футболки, оголяя бронзовый поджарый живот; вот монотонно жужжат над гробом синие мясные мухи, соблазнённые трупным запахом...

Налетел порыв ветра, вздымая палую, но ещё не успевшую намокнуть под дождями листву, и Масленникову на миг даже почудилось, будто в её шелесте, в шелесте высившихся вокруг полуобнажённых тополей, кустов, жухлой травы он ясно улавливает другой шум, производимый переломленным крестом, врезающимся в ежевичные заросли.

— Чего ж ты здесь расселся и мычишь, как скотина? Думаешь, я тебе помогу? — Усмешка его вышла короткой и нервной, но полной злорадства.

Таджик меж тем с усилием поднял полуобморочные глаза, и его нетвёрдая рука указала в сторону ворот.

— С ножами... трое... у магазина... порезали...

В его слабой, сбивчивой речи сейчас не слышалось прежнего резкого акцента, однако черты лица, да и сам он изменился мало. Да, возмужал. Чуть погрузнел. Над левой бровью теперь красуется пунцовый, словно раскрытая роза, причудливой формы шрам. Нет уже гнойных прыщей на щеках и лбу, а неряшливая щетина на подбородке — уже не прежний юношеский пушок. Но всё равно это он — тот самый таджик, что прицельно палил из «макарова» по гробу и ломал об колено крест. Тот самый...

Но как, чёрт побери, он здесь оказался? Да ещё в таком жалком виде: израненный, чуть живой...

Масленников, продолжая озарять его подсветкой мобилника, отметил, что на таджике одета хоть и здорово испачканная, вываливающая в грязи, но та же фирменная куртка, ка-

кие носят рабочие на их стройке. Того же фасона, того же синего цвета со светоотражающими полосами на груди и плечах. Даже надпись «Балтстрой» с логотипом их подрядчика видна над левым нагрудным карманом, проступая сквозь пятна крови и грязевые разводы.

Он что, из новой бригады, которую привезли на объект этим утром? И кто его так измордовал? Местная шпана, ненавидевшая пришлых чужаков?

Таджик тем временем, собрав остатки сил, упёрся правой ладонью в парапет и сделал попытку встать. Сразу у него это не получилось: сначала он приподнялся на одно колено, затем, сделав неуверенное, судорожное движение, попробовал выпрямиться в полный рост. Однако, только начав разгибать спину и распрямлять ноги, споткнулся, потерял равновесие и грохнулся на плиты моста.

— Не уходи... пожалуйста. Не уходи, — взмолился раненый, страдальчески протягивая к Масленникову руки.

Он, конечно, и помыслить не мог, что с этим странно безучастным человеком в чёрной форменке «чоповца» ему уже доводилось встречаться прежде.

Но мольба не смягчила жаждущего отмщения сердца. Масленников присел перед таджиком на корточки и взял его за ворот.

— Что, урюк, не признал ты меня? — спросил он, нарочно освещая своё лицо. — И кладбище душанбинское не помнишь? Тогда, в девяностом? И как в гроб стрелял, тоже?

Масленников всячески старался придать голосу выражение зловещей холодности, но слова в сильнейшем волнении слетали с его губ сумбурно и невпопад, точно аккорды со струн расстроенного инструмента. Последнюю фразу он и вовсе выкрикнул, со всей мочи рванув за густо заляпанный красным ворот.

Распростёртый на бетоне таджик безмолвствовал. Лишь противно хлопал разбитым носом да тарашил глаза, в которых явно читались и страх, и неугасшая до конца надежда.

— Где ж теперь твой ствол? — Движения Масленникова были резки и угрожающи. — Там, в Душанбе припрятал?

По выражению лица таджика он понял, что тот принимает его за уличного мародёра.

— Уважаемый, нет у меня ничего, нет... всё забрали... всё..., — забормотал он, захлёбываясь, и даже потянулся рукой к карману, словно желая показать, что тот совершенно пуст и поживиться действительно нечем.

Ярость в душе Масленникова вдруг начала сменяться ощущением бессилия — таджик его совершенно не узнавал.

И, скорей всего, не узнал бы даже в том случае, если бы он в подробностях описал ему ту их давнюю встречу. Этот бывший боевик, может, вообще, перестрелял с десяток русских (а поглумиться, не отнимая жизнь, успел над доброй сотней) — легко ли ему теперь припомнить того, кого однажды, много лет назад он несколько минут продержал под пистолетным дулом? Тем паче, что обезображенные русские трупы он наверняка видел не один раз.

Масленников слегка отодвинулся назад, бросил взгляд по сторонам, в глухую тьму ненастного вечера. Кругом не было ни души, и даже у выходных ворот, скупо освещённых далёким фонарём, не маячило ни единой фигуры. Шум на стройплощадке также подзатих — рабочие, закончив смену, видимо, готовились разбрестись по расставленным возле неё вагончикам-халупам, где, наскоро отужинав традиционными макаронами с чаем, поскорее залечь спать, дабы дать отдых утомлённым мускулам.

Масленников отпустил ворот и опустил руку, нечаянно коснувшись пальцами плиты. Пальцы ощутили влагу, но она отдавала не промозглым холодом осенней сырости, а не иссякшим ещё теплом живого человеческого тела. Глянув под ноги, Масленников увидел перед собой кровь, целую лужу крови, успевшую вытечь из резаных ран. В мягком электронном свете она выглядела совсем тёмной и густой, словно сироп. Тёмными, почти чёрными, казались и следы — размашистые мазки, оставленные шаркающими, заплетающимися ногами. Очевидно, кем-то изувеченный за забором, на улице, таджик, преодолевая себя, тащился к стройке, но не дошёл и, изнемогая, упал на мосту.

Сколько он ещё протянет? Минут десять? Пятнадцать?

Масленников снова взглянул ему в лицо. Оно, несмотря на природную смуглость, было бледно, и даже за те минуты, что он провёл подле таджика, бледность эта зримо усилилась.

«Околеет ведь от кровопотери», — понял Масленников, угрюмо оценивая размеры кровавых луж.

Таджик действительно казался до крайности ослабленным. Движения его делались всё медлительнее и реже, словно у смертельно утомлённого, впадающего в оцепенение человека. Он более не делал попыток встать, ничего не говорил и, судя по замутнённому взгляду, уже плохо соображал, что происходит вокруг.

Масленников растерялся. Много, много раз он представлял себе встречу с каждым из той троицы с кладбища. Встречи эти рисовались ему по-разному: и случайными, бестолково неожиданными, в сутолоке уличной толпы, и желанно осоз-

нанными, явившимися итогом долгих усилий, поисков, слежки. Его воображение создавало картины сцен неотвратимой, обдуманной мести — одну суровее другой. Но все гневные, неистовые слова, что он предвкушал бросить в лица врагам, все взмахи рук и ног, с помощью которых он думал повергнуть их, устрашённых и подавленных, на землю, все усилия мышц, вложенных в яростные, сокрушительные удары, — всё это вдруг в нём померкло.

Он никогда не страшился схватки, ничуть не сомневался в своей готовности убить (а по его разумению, за то надругательство единственной искупительной карой могла служить лишь смерть), но и помыслить не мог, что судьба однажды введёт его в столь дикое искушение. Что она, будто вознамерившись сполна испытать в нём человечность, поставит перед выбором: хладнокровно добить беспомощного врага или же пощадить, снизойдя до его теперешней немощи. Пощадить — и словно бы оставить неотмщёнными страдания тех, кого вот такие же «вовчики», не моргнув глазом, резали десятками в пылающем, беснующемся Таджикистане.

Не моргнув глазом... Но ведь он же, он же... не скудоумный и одержимый дикарской ненавистью варвар.

Правая рука Масленникова медленно вползла в карман, где лежал сложенный нож. Он привык каждодневно носить его при себе с тех давних пор, когда ещё жил в Душанбе. Впрочем, необходим ли он сейчас? Глаза, продолжавшие машинально шарить по сторонам, заметили у обочины уже не один увесистый бульжник, коим можно было без труда размозжить череп таджику. Проломить, и спокойно, не оглядываясь зашагать к остановке, почти не опасаясь того, что кто-то будет всерьёз вести расследование. На стройках, что ему доводилось охранять, рабочие-среднеазиаты погибали уже не раз: кто-то, сорвавшись в сырую погоду с верхотуры, ломал себе шею или хребет, кого-то, подловив в окрестностях, забивали насмерть шайки озлобленных русских юнцов. Но ни подрядчикам, ни милиции обыкновенно не бывало никакого дела до подобных смертей. Грязный, замурзанный гастарбайтер не вызывал у них ничего, кроме бесконечной брезгливости и отчуждения.

Рука Масленникова так и замерла. Он не вынул нож, не схватил камень. Вместо этого он вновь взглянул в лицо умирающему, который, уже перестав шевелиться, век пока не сомкнул. А меж них, в раскосых тёмно-карих глазах, медленно гасло сознание, густела мертвенная поволока.

Масленников, даже дивясь себе, глядел в них без злорадства, скорее скорбно. Одинокий, он присутствовал здесь не

как мститель или палач. Но и судьёй себя не ощущал, ибо и сам не ведал в полной мере законов, по которым мог бы судить людей, промелькнувших перед ним в крови и хаосе тех давних, страшных лет. А кто ведал? Может, его народ, слепо, но жестоко начавший воздавать за поругание своих собратьев во всех этих «станах»...

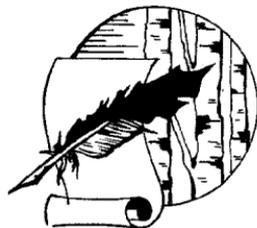
Сумрачный, он убрал, наконец, мобильник, повернулся и пошёл к остановке. Пошёл нарочито быстро, дабы поскорее перестать слышать тяжкое предсмертное дыхание оставшегося на мосту человека.

И, продвигаясь сквозь тьму, к одиноко горевшему вдали фонарю, размышлял о многом.

¹ «Вовчики» — жаргонное обозначение сторонников так называемой «исламской оппозиции» начала 90-х годов XX в. в Таджикистане.

² Имеются в виду массовые беспорядки и погромы на национальной почве, прокатившиеся по Душанбе в феврале 1990 г.

³ Гражданская война в Таджикистане между сторонниками светской власти (т.н. «юрчиками») и исламистами (т.н. «вовчиками»), наиболее активная фаза которой пришлась на середину—конец 1992 г.



Андрей РЕБРОВ

СВЕЖИЕ ЗВЁЗДЫ

* * *

Месяц речной — всё взрослее и строже...
Веет бессмертьем от звёздной воды.
Юность ушла... И за лунной дорожкой —
Свежие звёзды — как чьи-то следы.

Время течёт... Но, о Вечности мысля,
Долго гляжу я, как в детстве, с мостка —
В воды реки, углублённые высью,
И ощущаю: как юность — близка...

В НОЧЬ НА 1 СЕНТЯБРЯ

Шум голосов
вдалеке
еле слышен.

С каждой дождинкой,
темней и
темней...

Кем-то гитара
забыта
у вишен.

Дождик
играет
на ней.

Сердце стучит
то сильнее,
то глуше.

Руки,
устав от прощаний,
дрожат.

До сентября
не засну:
буду слушать,

как наполняется
влагою
сад.

* * *

Сверкают в сердце годы молодые,
Торопят кровь их звёздные лучи,
Светя о том, что дни мои земные —
Лишь всполохи в космической ночи.

Даруя сердцу миг любви минувшей,
Они с возросшей силой колют грудь.
И каждый день, во тьме веков сверкнувший,
Преосвещает мне грядущий путь.

РУЧЕЙ И Я

Кромешной ночью
снится
бег ручья.
Ручью,
быть может,
снится
жизнь моя...

Быть может,
чудо
вдруг случилось
с нами, —
и в эту ночь
мы поменялись
снами?

Иначе как,
проснувшись,
я пойму:
что так студено
сердцу моему?

* * *

Хоронили юношу-солдата...
И старик, счищающий с лопаты
Сыру землю вечного пути,
Обронил как будто виновато:

«Жизнь прожить — не поле перейти».

И лицом, иссушенным увечьем,
Полыхнув, как плачущие свечи,
Юный воин, выживший в той сечи,
Возразил на старческую речь:

«Не хватило жизни человечьей,
Чтобы поле сечи пересечь».

НА ЗАКАТЕ

Кружится вран над старой бороздою,
Где солнца щит ржавеет в ковыле.
И небеса — красны, как поле боя,
Как поле битв, истекших на земле.

И на кресте заросшем и былинках,
На каждой пяди вечности окрест
Горят, горят дождевики, как кровинки,
Как кровь солдат, излитая с небес.

ЗЕРНО

Я по-младенчески пытливо,
Должно быть, становясь взрослей,
Гляжу — как вызревшие нивы
Клонятся жертвенно к земле.

И, как дитя, прижавшись к пашне,
Вдруг познаю бессмертье я:
В зерне — что скоро, в землю падши, —
Умрёт во имя Бытия.

ЛЮБОВЬ

Выйди ночью за порог
Со свечой в руке —

И увидишь огонёк
В дальнем-далеке.

Это я, храня свечу
От семи ветров,
Твоему огню шепчу:
«Выведи под кров».

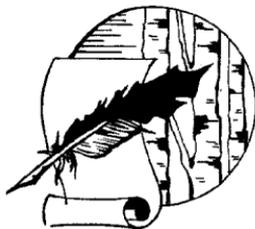
* * *

Ты шёл по дороге завьюженной,
белой,
Дивясь незнакомым местам...
А где-то у зеркала свечка горела,
Ждала тебя милая там.
Свечу выносила,
и ночь от порога
Бежала в лохмотьях теней.
...А ты уходил
и не знал, что дорога
Опять приведёт тебя к ней.

* * *

Рождает время прежние сюжеты,
Но ни строку, ни дни не двинешь вспять, —
Знать, свыше предначертано поэту
В душе чужие жизни продолжать.

Вживляя в строфы прожитые годы,
Он ощущает смертное родство
С грядущей высью русского народа,
В чьих душах — длиться вечности его.



Ольга ДЬЯКОВА

СНЕЖНЫЙ ГОСТЬ

* * *

Взгляда накал и размах,
Отяжелевшее веко.
Мера любви моей — страх,
Страх потерять человека.

Слёзы, как звёзды в глазах,
Нежностью будут светиться.
Милый, твой смех на губах
Эхом во мне повторится.

Ночью, когда холода
Смело нацелены в сердце,
Пальцами вижу тебя
И не могу наглядеться.

БОЛЬ

Вьюга выла, как волк,
Угодивший в ловушку.
Заболевший висок
Я вдавила в подушку.

Жизнь томительных дней
Подошла к изголовью.
Может, страх перед ней
Я считала любовью?

Тучи сжали луну.
Небо словно провисло.

У мороза в плену —
Прошлогодние письма.

Час четвёртый пошёл.
Вьюга стелется низко.
Шёпот льётся, как шёлк,
Что спасение близко.

* * *

Ветер хлопал полами плаща,
Ночь блестела рыбьей чешуёю.
Проходила робкая душа
По одной тропе с душой чужою.

И у неба в чёрных волосах
Не тускнела жёлтая монета.
Не заметен был прощальный взмах
В холод улетающего лета.

Просто ветер выбился из сил.
Где-то рядом зажигались окна,
Но их свет почти не доходил,
Оставляя на листве волокна.

Может, счастья не было и нет?
Может, то судьбы незрячей козни?
Берега свои поджёт рассвет,
Чтобы взгляд не тосковал по звёздам.

* * *

Обгоняет прохожий с ношей,
Унося суету сует.
Заметён Петербург порошей,
Медный всадник глядит сквозь снег.

Ни меня, ни тебя не видит,
И заблудшим векам грозит.
Время бьёт, не щадя, навывлет,
Выщербляя седой гранит.

Незнакомец свернул за угол
И растаял в морозной тьме.

Вьюга новый связала узел
И взвалила на плечи мне.

Я б ответила ей слезами,
Если б рядом был кто-нибудь.
Но должны выбираться сами
Мы, стихию приняв за путь.

Развязала я вьюжный узел,
Как сцепленье самой судьбы.
И тогда, что казалось грузом,
Стало лёгким глотком воды.

* * *

Сквозь буран, седой и колкий,
Поездов неслись свистки.
Ветер крал бельё с верёвки
И расшатывал мостки.

Ты спешил ускорить встречу,
В снег вминая твёрдый шаг.
А в окне горел под вечер
Абажура красный мак.

Вместо трепетного страха
В сердце — творческая злость.
Нет сильней её размаха.
На пороге — снежный гость.

* * *

Замшелые камни веков сторожат
Лесные могилы погибших солдат.

Пилотки их стали ладьями небес,
Поёт о бессмертных нехоженный лес.

В затишье глухом каждый камень — судьба,
И вместо надгробий — стволов череда.

Щетинятся ели, и где-то вдали
Гремят поезда безраздельной земли.

И небо военной картой висит,
И звёзды на касках достигли орбит.

* * *

Из города податься
В задумчивость зари.
Успеть на шесть пятнадцать,
Платформа номер три.

О, есть места такие,
Где всё в тебе поёт.
Зовут цветы живые
Отзывчивей народ.

В груди разлито чувство,
Что люди мне близки.
Я знаю: сердце — русло,
Исток моей реки.

Струится воздух лета
С водою наравне,
Как будто бросил сети
Апостол в тишине.

И оттого походка
Свободна и легка.
В прибрежных травах лодка
И шляпа рыбака.

О ВОССОЕДИНЕНИИ С РОДИНОЙ

Реакция «официальной» России на трагедию Новороссии, на фоне всё более наглой поддержки украинских нацистов Западом, показала, чего больше всего опасались власти. Даже многие западные СМИ отмечали, что победа Новороссии обозначила бы победу новой, подлинной, патриотической России. Что, по сути, привело бы к началу ее очищения от всевозможной скверны, вдоволь накопившейся за очень многие десятилетия. Соответственно, лидеры Новороссии стали бы серьезными конкурентами властей предержавших в РФ, причем с высокими шансами на замену этих властей.

«Игра в русскость» нынешней российской «элиты» едва ли оказалась бы успешной в присутствии лидеров Новороссии на общероссийском политическом поле. А вот приход во власть по подлинному волеизъявлению русских граждан — деятелей подлинно русской, патриотической ориентации — серьезная угроза для русофобской социально-экономической, внутривластной и морально-нравственной системы, «выстроенной» в России.

Потому и случилось в Новороссии то, что случилось...



РУССКИЙ ВОПРОС

Многие российские и зарубежные эксперты считают, что в Новороссии, после воссоединения РФ с Крымом, **поверили** в то, что российская власть решила на возрождение русской государственности, на усиление роли Русской Нации в государстве российском. И, соответственно, на постепенное собирание (федеративное или конфедеративное) русских территорий, отторгнутых большевиками в пользу «братских» республик. Причем во многих из них русские и сегодня составляют большинство населения, несмотря на лихолетья изошрённой, а то и прямой русофобии.

Выходит, напрасно поверили? Потому что вернуть России Крым и помогать волеизъявлению и борьбе Русской Новороссии — это, как оказалось, отнюдь не одно и то же.

Политический хаос на Украине, сложившийся к середине марта 2014 г., и отсутствие в тот период на Западе единой линии военно-политического и экономического поведения в отношении Украины не могли не привести к воссоединению Крыма с Россией. На этот шаг решились ещё и потому, что власти РФ предвидели резкое усиление влияния и присутствия Запада на Украине. Поэтому воссоединение с Крымом произошло быстро и с известными военно-политическими выгодами для России.

Но, опять-таки, российский «истеблишмент» вовсе не хотел «продолжения», точнее — Русской Весны. Да и не ожидал он, что воссоединение Крыма трансформируется, причем столь быстро, в Русское освободительное движение по всей Новороссии, которое проникнет в РФ и, естественно, будет получать растущую поддержку со стороны русских в самой РФ.

Поэтому первые симптомы иезуитского отношения к востанию в Новороссии появились уже в начале июня 2014 г., когда российская сторона фактически «упразднила» вопрос, в том числе в рамках ООН, об ответственности за чудовищный геноцид русских в Одессе 2 мая 2014-го...

Правомерно, с учетом вышеупомянутых факторов, предположить дальнейшее усиление дискриминации русских во всех других странах бывшего СССР. Тем более что, например, дерусификация в Северном, Северо-Восточном Казахстане и других районах этой страны вообще не комментируется в официальных кругах нынешней России. Как же, ведь Казахстан входит в так называемый «Таможенный союз» вместе с РФ и Белоруссией. Правда, эти «союзники» не поддерживали ответных санкций РФ против Запада, не осуждали кровавых бесчинств киевской хунты и официально не заявили о признании ими воссоединения Крыма с Россией. И если Белоруссия выступила против «Крымской» антирусской-

ской резолюции ООН, предложенной Западом, то Казахстан предпочёл воздержаться...

Но есть примеры иного отношения к соотечественникам. И, пожалуй, в первых рядах здесь, — Индия.

В конце 1940-х Индия предотвратила исламистский геноцид индусов и родственников им народностей в северном штате Джамму и Кашмир. С тех пор часть этого штата — индийская. В конце 1950-х Индия воссоединила 5 портовых городов Франции на индийской территории, а в 1961 году — Гоа и 3 других португальских района на западном побережье страны. А в начале 1970-х Индия военными и политическими средствами пресекла геноцид индусов Востока (восточных бенгальцев), развёрнутый войсками Пакистана. И всячески способствовала независимости Восточной Бенгалии — в рамках государства Бангладеш, дружественного Индии и поныне. Кроме того, в 1975-м Индия воссоединила бывшее княжество Сикким (в Гималаях), отторгнутое от Индии британскими колонизаторами в начале XX века.

Но когда в ряде северо-восточных районов Индии в 1961 году возникла угроза геноцида проживавших там китайцев и родственников им этносов, КНР, исчерпав политические средства, ввела свои войска на эти территории. А в 1962-м их большая часть была включена в состав Китая.

КНР и «Китайская республика на Тайване», вопреки противодействию со стороны Запада, оказали максимальное экономическое, военно-политическое давление на Индонезию, Малайзию и Бирму во второй половине 1960-х и в середине 1970-х, чтобы там были прекращены гонения на местных китайцев, что вскоре и прекратилось.

Нелишне также напомнить о жесткой и успешной политике Малайи по воссоединению с экс-британскими малайскими территориями на соседнем Северном Борнео в первой половине 1960-х (что привело к созданию единой Малайзии). И о столь же успешной поддержке Индонезией освободительной борьбы индонезийцев в середине 50-х — начале 60-х на голландских островах в теперешней Восточной Индонезии, что привело к созданию единой Индонезии, простирающейся от Индийского до Тихого океана.

Нелишне напомнить, к примеру, и о поддержке Польшей, только что созданной (в конце 1918 г.), освободительной борьбы поляков в ряде районов Юго-Восточной Силезии, германской в тот период. Польша смогла добиться от Антанты и Лиги Наций плебисцита в этих районах в 1921—1922 гг. В результате, большая часть тех районов воссоединилась с Польшей.

Имеются и другие примеры успешной борьбы за воссоединение народов с их исконной, исторической родиной. И решающая роль в решении этого стратегического вопроса принадлежит, конечно, родине...

Сергий КАРАМЫШЕВ,
иерей, публицист, г. Рыбинск

МАТЬ И МАЧЕХА

И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! Отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте первой живое дитя, и не умерщвляйте его: она — его мать.

(3 Цар. 3; 24-27)

Если встать на точку зрения новорожденной Новороссии (в XVIII веке это наименование было только географическим, теперь же стало политическим), думается, не будет возражений по поводу того, кто для нее является матерью, а кто — мачехой.

В историческом, культурном и любом другом отношении, мать — разумеется, Россия. Однако в последние годы населению Новороссии всеми силами навязывалось иное: будто Украина — ее истинная, натуральнейшая «ненька». И как премудрый Соломон посредством испытания открыл истину, так теперь Сам Господь Бог проверяет, кто для Новороссии мать, а кто — мачеха.

Если еще полгода назад у кого-то были в этом отношении сомнения, теперь они должны развеяться, как утренний туман. Россия, не как государство, а скорее как единый живой организм, шлет на защиту Новороссии от убийц-маньяков своих лучших сынов, она же шлет сюда мегатонны грузов, без которых очень скоро наступила бы голодная смерть, при этом наемники из порошковских войск отстреливали бы обезумевших от голода людей, как мишени в тире.

Украина действует по описанному в Книге Царств принципу: «...пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». Вот и рубят: целые города обращены в руины, целые селения стерты с лица земли. Украина, уставши нести бремя вдовства, уже давненько (да, собственно, в аккурат тотчас после своей пресловутой независимости), что называется, погуливала на сторону. А под кривлянья и улюлюканье еврошутов и вовсе обручилась с Евросоюзом. Но с этой «окаянной» Новороссией не видать никакого личного счастья. И злая мачеха, делая вид, что пеленает и всячески пестует чужого ребенка, улучив подходящий момент, тотчас его с остервенением бьет и душил. Злая мачеха никогда не полюбит Новороссию и всегда будет желать ей смерти по причине неисправимой зависти к истинной матери — России. Все «мирные» инициативы Киева предназначены лишь для отвода глаз — чтобы в подходящий момент немедленно задушить беспечно уснувшего ребенка.

Однако Новороссия, как в старых русских сказках, мучает не по дням, а по часам. В отличие от гулящей мачехи, она стремится к самодостаточности. И пока порошечки с яценюками ходят по миру с протянутой рукой, требуют войск, вооружений и личных гонораров, Новороссия сжимается в железный кулак, создает свою объединенную армию. Рыхлая в политическом отношении Украина со все более озлобленным населением и свободно передвигающимися вооруженными бандами, непременно об этот кулак разобьется. В лице людей, дорвавшихся здесь до власти, она хочет отождествить себя с Европой — пусть попробует. Для подлинного тождества одного лишь самовнушения недостаточно, даже имитации маловато. А главное: общество, занимающееся с утра до вечера самовнушением с имитацией, теряет собственное лицо, перестает быть исторической личностью, наконец начинает путать мифы с реальностью. И сколько бы ни кричали адепты «незалежности»: «Украина превыше всего!», Европа будет относиться к ним как к пьяным комедиантам, время от времени науськивая их на Россию.

Однако украинская мечта — слиться в экстазе с Европой — в самый момент слияния умрет. Да и вождельный экстаз сре-

ди зимы в холодных квартирах и с пустыми желудками получится какой-то натянутый. Что же будет, так сказать, в сухом остатке? Тяжелый выбор под аккомпанемент зимней вьюги между чужой — европейской — и своей, правда, основательно забытой, русской, идентичностью. Бывает, что человек совершенно искренне считает себя орлом, или львом, или бабочкой. Но после столкновения с действительностью наступает прозрение, прежняя, призрачная, идентичность, отбрасывается, и начинаются энергичные поиски новой, а точнее, просто основательно забытой, старой, подлинной идентичности.

Мы надеемся, что «неньке» Украине уготована именно такая судьба. Тем важнее значение Новороссии — этого узла Русского мира, который может примирить в себе всю Русь, временно отпавшую от единства и ходящую путями погибельными. Когда части бывшей, изобретенной политтехнологами, Украины, обретают русскость как драгоценное сокровище, они, сбросив морок лживой пропаганды, возвращаются домой, от злой и продажной мачехи к любящей матери.

Александр ШУМСКИЙ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ!

В Константинополе будет жестокая битва между русскими и европейцами. Прольет-ся много крови.

Старец Паусий Святогорец

Последние мировые политические события вновь обостренно ставят на повестку дня вопрос о будущем направлении развития нашего Отечества. Пойдет ли Россия по пути имперскому, а значит — вселенскому, или же она пойдет по пути изоляционистскому, то есть регионально-местечковому? За последние годы опубликовано большое количество материалов, посвященных этой проблеме. Преимуществен-

но в этих материалах содержится критика позиции русских националистов, утверждающих, что имперский вселенский путь погубит Россию, что наше Отечество должно прекратить жить для других, помогать другим, кормить других и должно заняться исключительно собой, то есть жить только для себя. И вот снова приходится говорить на эту тему.

В этой связи хочу обратить внимание читателей на один из эфиров тележурналиста Владимира Соловьева, который последовал вскоре после подписания минских договоренностей о прекращении военных действий на территории Донецкой и Луганской республик.

Как всегда, на эфире Владимира Соловьева «зажигал», по меткому слову нашего президента, Владимир Жириновский. Скажу откровенно — мне очень не по душе, что этот господин постоянно участвует в самых серьезных обсуждениях судьбоносных для моего Отечества событий. Я этому человеку, в принципе, не верю. Он уже не раз демонстрировал свою полную аморальность, откровенно лгал, передергивал, оскорблял людей (вспомните его омерзительные и похабные высказывания в адрес беременной журналистки). И все ему сходит с рук! У Жириновского хамское поведение, и он очень напоминает злого размалеванного клоуна из фильмов ужасов. Мне совершенно не смешно от его выходок. Но почему-то очень многие, да практически все серьезные политики, политологи, аналитики и т. п. благодушно посмеиваются, когда выступает Владимир Вольфович. А клоун-то, между тем, говоря порой формально правильные вещи, ведет свою весьма опасную и нерусскую игру. На эфире Владимира Соловьева Жириновский поднял вопрос о том, должны ли мы создавать новые антизападные военно-политические блоки? Владимир Вольфович заявил, что такие блоки нам не нужны, что они дискредитировали себя еще в советское время, когда мы по договорным обязательствам оказывали нашим союзникам всевозможную бескорыстную помощь, а они, эти союзники, после распада СССР показали нам шиш и фактически стали нашими врагами. Поэтому вывод Жириновского простой: отныне Россия должна заботиться только о себе. И не кормить своих будущих недругов. Путь, предлагаемый Владимиром Вольфовичем, и ведет как раз к пагубному для России изоляционизму. Именно на идею русского изоляционизма делает сегодня ставку Запад, прежде всего США, так как российские либералы пока деморализованы. И кем же тогда оказываются российские изоляционисты, как не агентами влияния? Меня неприятно удивило то, что никто из участников эфира, а там были весьма авторитетные люди, серь-

езно не возражали Жириновскому. Большинство даже, как мне показалось, с сочувствием отнеслось к его словам. Хотя, чему здесь удивляться? Ведь Жириновские-Сатановские явно стали преобладать на эфירהх Соловьева.

Кто-то скажет: «А как же призывы Жириновского дойти до Индийского океана и опустить в него усталые русские ноги? Как же его другие вполне империалистические словеса?». Но ведь эти призывы и словеса гроша ломаного не стоят и являются лишь прикрытием для его главной националистической местечковой идеи, называемой изоляционизмом. Когда из уст Жириновского раздается призыв к Владимиру Путину стать императором, то лучшего способа дискредитировать имперскую идею не придумаешь.

А между тем Жириновский абсолютно неправ в своей оценке значения союзнических отношений, которые выстраивались в свое время руководством СССР с другими странами. И военно-политические блоки были тогда необходимы, и иные формы союзнических отношений. Да, зачастую СССР оказывал помощь другим странам, не получая практически ничего взамен. Да, потом страны «Варшавского договора» повели себя бесчестно и не только отвернулись от СССР, но и начали наносить нам подлые удары в спину. Но ведь так было во все времена со всеми слабеющими империями. Исторических примеров можно приводить десятки. Пока советская империя была сильна, ее союзнические отношения имели неопределимое значение. А главное, что через различные формы взаимодействия и сотрудничества, через оказание слаборазвитым и политически незащищенным странам бескорыстной помощи, СССР создал систему безопасности, которая на духовном языке, на языке Священного Писания, называется «Удерживающий». И эта система безопасности, созданная СССР, десятки лет удерживала мир от окончательной гибели и сдерживала бешеного кабана под названием США. А Жириновский рассуждает, как обычный ростовщик: вложили, а потом ничего не получили с прибылью и даже понесли убытки. Разве это не ублюдочная логика?! Но, с другой стороны, ничего удивительного здесь нет, потому что Владимир Вольфович всегда был патологическим антисоветчиком. Если бы СССР не выстраивал свою уникальную систему безопасности, включающую в себя различные блоки и союзы, нас уже давно не было бы на свете, в том числе и Жириновского. И сегодня, если Россия снова поставит задачу стать империей, а другого выхода у нас просто нет, то ей придется идти на создание новых военно-политических блоков и иных союзов, возможно весьма рискованных и даже экономичес-

ки убыточных. Но только таким образом наше Отечество сможет остаться верным своему высшему предназначению, данному Богом, — быть удерживающим мир от окончательной гибели. Но Жириновский человек неверующий, поэтому он, по большому счету, ничего не понимает.

Как ни странно, многие полагают почему-то, что Достоевский был таким большим альтруистом, если не сказать мазохистом, желающим, чтобы Россия растворилась во всемирном всечеловеческом служении, стала бы всем служанкой, отдав себя на общечеловеческое поругание. Даже гениальный Константин Леонтьев в оценке мировоззрения Достоевского склонялся к такому мнению. А между тем ко взглядам Достоевского эти рассуждения никакого отношения не имеют.

Всем советую внимательно перечитать «Дневник писателя» Достоевского, в частности, главу «Утопическое понимание истории» (июнь 1876 г). Данную главу, на мой взгляд, следует рассматривать как тезисы к грандиозной стратегической программе по построению Русского мира и всеславянской цивилизации, как альтернативу западному американскому глобализму. В этой главе Достоевский не просто обосновывает наше русское всемирное предназначение, но и называет условия, при которых оно только и может состояться. Он пишет: «Ибо там (т.е. у других народов. — А.Ш.) каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения... Кто хочет быть выше всех в Царствии Божиим — стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале».

А дальше самое главное: «Само собою после Петра обозначился и первый шаг нашей новой политики: этот первый шаг должен был состоять в единении всего славянства, так сказать, под крылом России». Очевидно, что под слабыми крыльями никого не собрать. Здесь величайший русский пророк очень четко формулирует мысль о том, что только сильная и мощная Россия в состоянии служить всему человечеству. И ни о каком растворении России в этом всечеловеческом служении речи быть не может. Россия должна служить с позиции силы, но не с позиции насилия. Достоевский продолжает: «И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтобы их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству...»

То есть, речь у Федора Михайловича идет о создании всеславянской цивилизации, вместе с Грецией, во главе с Россией. Здесь Достоевский развивает генеральную мысль Николая

Данилевского. Очевидно, что только эта цивилизация в состоянии защитить мир от западного безбожного глобализма.

Но ведь невозможно оспорить тот факт, что советская империя, называемая СССР, несмотря на свою атеистическую идеологию, весьма далеко продвинулась по пути осуществления проекта Достоевского—Данилевского. Система международной безопасности, созданная СССР, включающая в себя всевозможные блоки и союзы, красноречиво это подтверждает.

Но духовно-стратегическая мысль Достоевского не знает пределов. Он ставит вопрос о центре всеславянской цивилизации: «Само собою и для этой же цели, Константинополь — рано ли, поздно ли, должен быть наш... Это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы». В этих словах заключена вся сущность так называемого «Восточного вопроса».

Как известно, товарищ Сталин задумывался о взятии Константинополя после победоносного завершения Великой Отечественной войны, но все же не решился. Однако здесь важен сам факт того, что Иосиф Виссарионович размышлял на эту тему, вполне вписываясь в стратегическую программу Достоевского. Возможно, Сталину для решимости не хватало православной идеологии. Ведь Достоевский, обосновывая необходимость взятия Константинополя, особый акцент делал на Православии: «Итак, во имя чего же, во имя какого нравственного права могла бы искать Россия Константинополь? Опираясь на какие высшие цели, могла бы требовать его от Европы? А вот именно — как предводительница Православия, как покровительница и охранительница его». Со взятием Константинополя Достоевский связывал «настоящее возрождение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение Креста Христова и окончательное слово Православия, во главе которого давно уже стоит Россия».

Сколь актуально сегодня звучат эти слова Достоевского? Актуальнее даже, чем в его время! Сегодня Россия вновь Православная Держава. Русская Православная Церковь расправила крылья и восходит от силы в силу. Она, несомненно — лидер всего Православного мира. И сегодня складываются условия для окончательного решения «Восточного вопроса» в пользу России и всего славянского мира. Запад, я уверен, почувствовал именно это! Он будет делать все, вплоть до ядерной войны, чтобы «Восточный вопрос» никогда не был решен в пользу русско-славянского мира. «Западный вопрос» уже окончательно решен в пользу безбожия и содомии, все духовные родники Запада пересохли. Ему нужен Восток для продления своего безумного существования.

Поэтому «Константинополь должен быть наш!» Тогда мы сможем помочь и умирающему большому Западу, и воскресим, по слову Алексея Хомякова, его «дорогих покойников». Воссоединение Крыма с Россией, а также неизбежное, в той или иной форме, присоединение к нам Новороссии создают все предпосылки к тому, что Черное море станет Русским. Об этом убедительно говорится в одном из афонских пророчеств. Значит мы в состоянии будем установить свой контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, а оттуда и до Царьграда рукой подать. О том, что Константинополь будет отобран у турок и вновь станет центром Православия, пророчествовал величайший подвижник XVIII века священномученик равноапостольный Косма Этолийский. У этого святого много пророчеств, и все они пока сбываются. О Константинополе святой Косма пророчествовал следующее: «Красные жилеты изгонят турок из Города. В Городе прольется столько крови, что в ней сможет плавать трехлетний бычок». Величайший подвижник благочестия нашего времени старец Паисий Святогорец так понимает эти слова святого Космы: «В Константинополе будет жестокая битва между русскими и европейцами. Прольется много крови».

Скептикам ответчу словами Достоевского: «Если возможны такие перевороты, уже случившиеся в наше время на наших глазах, то может ли ум человеческий вполне безошибочно предсказать и судьбу «Восточного вопроса»? Где действительные основания отчаиваться в воскресении и в единении славян? Кто знает пути Божии?» Удивительно вдохновляющие, актуальные и обнадеживающие слова!

АУСТЕРЛИЦ

РАССКАЗ

Чужую боль невозможно понять, не испытав боль самому. Так же трудно осмыслить большое и важное, не отстранясь от него. Впервые русским я почувствовал себя лишь на чужбине, в Чехии, на пятый день тамошней жизни, когда поднялся на холм и коснулся замшелой коры гудящего на ветру дуба: под дубом, вот тут, на этом месте, сидел когда-то на полосатом барабане, закинув ногу на ногу, Наполеон Бонапарт..

Я жил тогда у друга, неподалёку от знаменитого Аустерлица. По-нашему — в деревне. Как-то зашёл в магазин (одет был совершенно нейтрально: в джинсах и в майке), и лишь только хлопнула за мной дверь, как я услышал:

— Чего пан желает? — спросила продавщица по-русски.

— Пан желает... Нет, пан ничего не желает.

И долго не мог понять, досадно мне или, наоборот, приятно, что, считай, на лбу написано, что я русский. Потом лежал на берегу реки — река шумно катила желтоватые свои воды, по каменистым берегам рос причудливый еловый лес (вон одна



ПРОЗА

ель прямо на голом валуне стоит, расщепив его), от гранитных сколов тянуло сырой слоистой прохладой, и я будто впервые видел всё кругом — и реку, и лес, и аккуратные домики с красными черепичными крышами, и знаменитый холм и дуб — я видел всё это словно другими глазами.

Я лежал на каменистой нерусской земле, на берегу желтоватой реки, грелся, обсыхая после купания под чужим солнцем, тело колола неизвестная чужая трава, и только облака, что плыли надо мной, не чужие были. Они плыли с востока, они несли мне (да простится высокий штиль) привет с родины. Они ещё вчера, может быть, или даже сегодня утром видели моих детей, моих родных, моих друзей; и ещё вчера, быть может, были они и не облаками вовсе, а медвяными луговыми туманами, соловьиными трелями, молочными разливами вишнёвых садов — дыханием моей земли...

Когда бывает тоскливо, тянет смотреть на пламя, вечная пляска огня завораживает; когда же томление в груди, вот как сейчас, — хочется чего-то чистого и возвышенного: говорить с другом о вечном, читать стихи, смотреть на реку или... или на облака..

Вот плывёт облако, похожее на старинный корабль. Трепещут снасти, раздуваются паруса, команда по местам стоит. Пушки палят, белыми клубами пыхают... Такие красавцы строились когда-то в нашем городе, потом спускались по Дону до самого Азова-крепости. Строил и водил их к Азову юный Пётр...

Так вот же он! Точно — он! Огромный, в треуголке и ботфортах, стоит на носу флагмана, смотрит вперёд, опираясь на трость. Трубочкой попыхивает, берега цепко осматривает, а на берегах... ликование на берегах: казаки гарцуют, стрельцы бердышами сверкают, бабы платками машут... Доволен Пётр. Оборачивается — глаза как птицы трепещут, усы в разлёте, — кричит громогласно:

— А ну пошибче, други, пошибче! — размахивает трубкой. — И раз! И раз! И раз! Возьмём Азов — каждому по кафтану! Каждому! — Из трубки летят зола и голубые искры.

— А ну послужим батюшке-царю! А ну!.. — надрывается кормчий.

А что кричать на нас? Мы и так рады стараться, мы и так жилы рвём... Я гребу с придыхом и через плечо оглядываюсь на царя, ем его глазами. Я сiju четвёртым по правому борту, прямо под полосатым штандартом.

— А ну дружнее, молодцы! А ну порадуем...

А вот облако, на всадника похожее. Всадник несётся с копьём наперевес. Конь гриваст под ним, поджар и сухоног;

всадник в шлеме с шишаком, он скуласт, курнос и светловолос, с рыжей бородой; он — из племени северян, севрюков. Это про них... это про нас сказано: «...под трубами пелёнаты, под шеломами взлелеяны, с конца копыя вскормлены». Я несусь навстречу пыльной орде, навстречу «поганым», что в лисьих шапках; я несусь, а они скалят злобно крупные зубы, крутят над головами кривыми саблями, они меня на испуг берут, но я не боюсь — теперь уже не боюсь! — я несусь им навстречу, навстречу своей судьбе; я вижу Бога на небесах, я улыбаюсь Ему и несусь вперёд за веру Христову.. Я уже выбрал одного из орды. Вот этого, мордастого, на вороном коне. Уж одного-то успею проткнуть своим жалом, кроваво блестящим от осевшей на нём глинистой пыли. Проткну, как жука, с треском. И войлочный панцирь не спасёт его.

Господи, благослови! У-у-ух!

А вот на башню, на колокольню похоже облако, сияющее, будто в позолоченной шапке. А от колокольни той — звон. Переливчатый, малиновый... Ах, боже мой! Лепота, да и только. А ведь это же наш Покровский кафедральный собор гудит. (Век на дворе какой? А кто ж его знает... Да и какое это имеет значение! Православная, Святая Русь на дворе.) А собор поёт, а собор гудёт. Над крутояром стоит он, высоко. Под ним, по склону крутому, рядами, разноцветные, разноглазые, по-детски плятятся в белый свет домишки. И когда в соборе начинают звучать колокола, вот как сейчас, — далеко окрест слышно.

Сейчас в соборе панихида. «По вождям и воинам, на поле брани убиенным». Плач по солдатам. Он катится, этот рыдающий медью плач, по-старчески надтреснутый, плывёт над избушками, помнящими былой его гул, былую мощь, былой размах; торжественный металл полнит собой дрожащий воздух, насыщает его благостью, разливается над зелёной гладью зацветшего «моря» (когда-то тихонькая речушка текла в камышеватой траве, среди зелёных лугов, на которых паслись козы, а городские мальчишки играли в войну), и кажется, что и вода тоже начинает петь, отзываться поющей меди, а колокольный глас ширится, морщит выпуклую поверхность воды, задевает своей скорбью рыбаков, задремавших над поплавами, останавливает, хватая за душу, прохожих; и неспешно он доплывает до Отрожки, откуда откликнется ему охрипшей плакальщицей Воскресенская церковь, а потом и Успенская на Гусиновке подаёт голос, несмело вступающая в печальный этот разговор — и начинается... начинается то великое действие, тот волшебный перезвон, от которого против воли пощипывает в носу.

Ах, колокола! Какой такой мученик вылепил вас из звонкопевчей своей души? Что за сладкая музыка, что за возносящая боль, что за очищающее томление — стоять на площади у собора и внимать вам, среброголосым, и плыть, плыть в распинающих душу тёплых звуках... Стонут колокола. Плачут колокола. О воинах убиенных скорбят. А внизу, по склону крутому, притихли, затаив дыхание, деревянные домишки, латаные-перелатаные, подслеповатые, кособокие, — где им тягаться с бетонными, но сколько всего и всякого помнят они, сколько разного люду обитало под их кровлями, сколько душ они согрели! А крутые спуски из старых камней — сколько человеческих ног ступало по ним, сколько радости людской они помнят и горя, о, сколько бы они могли поведать... И от таких мыслей что-то мягкое касается сердца, что-то светлое полнит душу, и только тут, на брусчатой площади перед собором — букашкой застывшей — вспоминаешь, кто ты, что ты и какая бугрится земля вокруг, только в эти краткие мгновения полного единения отступает всегдашняя неудовлетворённость и неясная тоска.

Странно, почему я понял всё это по-настоящему лишь на чужбине? Почему я вдруг с умилением вспомнил отца и мать? Милые, наивные крестьяне! Вы живёте той жизнью, которой жили наши предки тысячи лет, и не понимаете, чем занимается единственный ваш сын, какими-то пустяками, за которые, тем не менее, платят деньги, — о, как огорчало меня раньше это непонимание... Почему же теперь я лишь улыбаюсь, вспоминая то? Почему мне теперь захотелось перед вами повиниться? Сказать: родители мои! Я виноват пред вами. Виноват, потому что стеснялся вас. Стеснялся вашего «неправильного» говора и выдавливал из себя этот говор по капле; стеснялся ваших грубых рук и обветренных, очень уж простых, «беспородных» лиц и досадовал, что и у меня — из-за вас — скуластое лицо, «неоухотворённое и неблагородное», нос картошкой, волосы стерней; стеснялся, что вы у меня — малограмотные... Почему же теперь мне стыдно за себя, за прежнего?

Вижу, как ты, мама, доишь нашу Малинку; вечер опускается тёплый, голубой, мошки толкутся столбом, оводы жужжат, корова отмахивается от них, надоевших, и взмывает; поодаль, скрестив по-турецки ноги, ты, батя, сидишь перед отбойкой, отбиваешь косу; по-хозяйски прохаживается по двору наша старая Пальма, ей уже девять лет, она на чуть-чуть старше моего старшего сына Андрея. Пальма позёвывает, выгибая спину и оттягивая заднюю ногу. И звучит тихая, светлая музыка русского крестьянского быта — звучит

над каменистой чешской землёй, над желтоватой неравнинной речкой: молоко о подойник — дзинь-дзинь, молоток по жалу косы — тук-тук; дзинь-дзинь, тук-тук...

Что же особенного в этих звуках, что же милого в нехитрых этих занятиях? Почему сделалось мне всё так дорого? Ведь и тут, в Чехии, так же звенит молоко и так же влипает молоток в металл. Так, да не так... Нет, всё-таки странно, чудно устроен человек.

Плывут облака, плывут с востока. Плывёт загустевшее дыхание моей родины, моего народа. Великий народ живёт на великой земле. Насколько она необъятна — я видал это сверху, с воздуха, когда летал над нею в юности, в войсках ВВС... Она широкая, моя земля, она выпуклая; ранней весной она чёрная, летом в жёлто-зелёных квадратах, зимой же — как гречневая каша с молоком. На этой земле, на этих лоскутных полях, на берегах этих сонных извилистых речек, в этих сёлах, вытянувшихся по балкам, и хуторах, закрытых маревом, пролетели-промелькнули безвестные жизни моих предков; тут они любили и ненавидели, страдали и радовались; тут они обрели вечный покой; теперь в этих речках мои сыновья, Андрей и Максим, ловят рыбу, а с покатых холмов катаются зимой на санках. В ней, в жирной, в её толще, лежат, ногами на восход, мои пращуры: они восстали к жизни из этой чёрной земли, в неё они и сошли, совершив свой круг; с ними рядом лежать и мне; и, придёт время, лежать моим сыновьям, которые пока что об этом ещё и не задумывались...

Кто же вы, те, кто передал мне свою кровь? Я знаю, все вы были пахари и солдаты. В Новосолдатке, откуда идёт наш род, вы жили на Пушкарском планте (есть там ещё планты — Инвалидный и Драгунский, а также — Пластуны и Недомерки); роста все вы были гвардейского, черны головой и рыжи усом. Отец мой — Иван; его отец — Андрей; у Андрея — Максим; у Максима — Терентий; у Терентия — Сергей... Всё! На этом связь рвётся. Кто вы, те, до Сергея? Наверное, тоже воины и пахари, безвестные русские крестьяне.

Плывут облака, плывут из России. А я лежу на поле Ауслерлица, на земле, обильно политой солдатской кровью и щедро сдобренной русскими костями, и стоглазо смотрят на меня с облаков мои предки, мои близкие, мои родные... Скоро, теперь уже скоро, приеду. Вернусь к вам, мои милые. В наш город, слава богу, ни разу пока не переименованный; пройду по его улицам под разлатыми каштанами и нежными липами. И пусть говорят, что город наш... и что люди в нём... (рука не поднимается написать, какой город и какие в нём люди); и пусть говорят, что нет в нём... и что нечем в нём... —

пусть им. А я люблю свой город и вас, мои землячки, мои единоплеменники, мои единокровцы; люблю такими, какие вы есть; люблю, хоть и не нуждаетесь вы в этой моей любви и, конечно же, не станете от неё ни лучше, ни хуже; люблю, хоть и не жду взаимности или хотя бы понимания. Вот просто люблю и всё...

Я лежал на чужой каменистой земле, которая напичкана костями и орудиями войны, на берегу чужой реки, которая видела позор русской армии, самой тогда сильной и боеспособной, но которой управляли бездарные и лукавые иноземцы, лежал навзничь, запрокинув голову, — с глазами, полными слёз.

Сейчас вся моя родина — Аустерлиц... А всё оттого, что перессорились-передрались; оттого, что во главе опять — «правитель слабый и лукавый»; оттого, что заплевали сами себя и с собой всю державу. И всяк норовит подняться на этом и утвердиться. На позоре матери — подняться и утвердиться... Эх, вы!

Но несмотря ни на что, ты ещё воспрянешь, моя Россия, ты ещё явишься очам мира — во всём величии своём явишься и красе, а вовсе не замызганной старухой-побирушкой и не базарным дурачком в красной рубахе и с балалайкой, как выставляют тебя неблагодарные сыны твои. Будет ещё и Бородино...

Верую!

Ольга ЯКОВЛЕВА,
Председатель «Союза православных юристов»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ПОДГОТОВКА К КАПИТУЛЯЦИИ?

В патриотических СМИ и Интернете идут тревожные обсуждения проекта Указа президента РФ «О выдаче и применении удостоверения личности гражданина Российской Федерации нового поколения», разработанного ФМС РФ. Действительно, этот законопроект ускоренными темпами готовится к внесению в Государственную думу. Проект Указа предусматривает выдачу с 1 января 2015 года основного документа, удостоверяющего личность, в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, содержащим в электронной и графической форме персональные данные гражданина, в том числе биометрические данные, а также размещенные на электронном носителе средства и ключи электронной подписи. Не думая о возможных негативных последствиях, ФМС предлагает производить выдачу электронных удостоверений в Республике Крым, городе Севастополе, а также в Краснодарском крае и Ростовской области.

Для эксперимента бездумно, а возможно намеренно, выбраны регионы, где политическая и экономическая ситуа-



СУММА ТЕХНОЛОГИЙ

ции находятся под прицелом открыто враждебной Украины, заявляющей притязания на Крым и Севастополь, а также Евросоюза и США. Эти, с позволения сказать, «партнеры» направили на Россию братское государство, подпитывают финансово, поддерживают информационно и политически действия украинских властей, противоречащие Конституции Украины и международному законодательству. Европа и США пытаются оказывать давление на Россию путем санкций, дезинформируют мировое сообщество о событиях на Украине, безосновательно обвиняют нашу страну во вмешательстве в дела Украины. Несмотря на проявление сдержанности, приверженности нормам международного права, соблюдение всех договоренностей и договоров со стороны России, действия Украины, Евросоюза и США однозначно демонстрируют их настрой на противостояние с нашей страной.

История показывает, что напряжение в отношениях между странами и международными союзами имеет свойство разражаться в виде военных конфликтов. Нет гарантий от такого развития событий и в сложившейся политической ситуации. Это обязывает соблюдать предосторожность, необходимость повышенных мер безопасности в регионах, которые даже теоретически могут стать очагами военных конфликтов.

Выдача населению электронных документов, создание электронных баз персональных данных на собственное население опасно в любом регионе государства. Введение электронных удостоверений личности влечет за собой создание Единого реестра документов, удостоверяющих личность, предусмотренного проектом ФЗ «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации» и проектом ФЗ «О государственном реестре основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации». Указанный реестр должен содержать всю информацию о человеке, включая биометрические данные. Никаких исключений для военнослужащих и членов их семей не предусмотрено. Электронная база персональных данных на военнослужащих и их семьи — огромное подспорье для любых сил в борьбе против России. Однако такой простой вывод, который сделает любой здравомыслящий человек, видимо, недоступен тем, кто спешит выполнить международные обязательства, данные в другой политической обстановке и опасные для страны в настоящее время.

Отечественные военные эксперты, специалисты в области электронных технологий в один голос утверждают, что «чипизация» личного состава Вооруженных сил является весьма опророчечивым шагом, позволяющим перехватить контроль над

нашей армией спецслужб враждебно настроенных к нам государств, обладающих для этого достаточно развитой материально-технической базой. При этом никакие, даже самые современные передовые средства защиты не могут устранить подобных угроз. Зачем тратить ресурсы и средства России, поставив на карту (в буквальном и переносном смысле этого слова) обороноспособность нашей страны и жизнь ее защитников?

По сообщениям СМИ, Минэкономразвития в срочном порядке должно внести в правительство РФ законопроект об электронном паспорте с использованием чипа УЭК. Проект уже услужливо разработан ФМС РФ. Электронное удостоверение личности, предлагаемое ФМС РФ, должно включать биометрические данные человека. Выпуск и практическое внедрение такой карты значительно сложнее и дороже.

Строители электронного государства и электронного правительства, не найдя средств у банкиров, в бюджете регионов, у иностранных спонсоров, пришли к единственному выходу — возложить финансирование утопических проектов на самих граждан. Люди должны сами оплатить изготовление и внедрение электронной карты, сдать свои персональные данные, включая биометрические, и пребывать в иллюзии «электронного счастья».

Им необходимо посадить человека на «электронную иглу», без которой граждане уже не смогут существовать в социуме — получать деньги, оплачивать расходы, получать медицинскую помощь, пенсии, дотации, материнский капитал и т.д.

Именно электронное удостоверение личности планируется в качестве единого ключа доступа к любым электронным услугам. Об этом прямо говорится в проекте ФЗ «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации» и в ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

«Отоварив» всех граждан электронными документами, модернизаторы поспешат перейти к следующей «прибыльной фазе модернизации» — продаже электронных услуг. По их мнению — время пришло. Пора получать с граждан «значительные финансовые средства» за электронные услуги. Нам, обычным людям придется забыть, что раньше при получении справок, документов, информации, медицинской помощи, образования и т.д. денег с граждан не брали. В информационно-электронном обществе любое социально значимое действие — это электронная услуга, а за услуги нужно платить. Электронный талон в поликлинике, сберегательной кассе, электронная квитанция на оплату ЖКХ, да и все остальное больших денег стоит. Населению пора готовиться к электронным и значительным расходам. Это не выдумки или досужие рассуждения, а положения официальных документов.

Согласно «Концепции формирования информационного общества в России», «на начальном этапе создания социально значимых информационно-коммуникационных систем и комплексов (в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других) государство берёт на себя основные расходы, но в дальнейшем уходит с рынка. При этом предполагается, что значительные финансовые ресурсы будут поступать от населения в виде оплаты предоставляемых информационных и коммуникационных услуг...»

Другая причина бурной «модернизации» и «заботы об электронных удобствах граждан» — это всё те же международные обязательства по вхождению России в глобальное наднациональное государство с единым электронным правительством.

Для удобства управления страной извне внедряются электронные системы учета, электронные способы взаимодействия всех органов государственной власти и электронные документы для граждан. В новом информационном обществе все должно быть прозрачно: и деятельность власти любого независимого государства, и жизнь его граждан. Одним из главных инструментов контроля и управления является наличие у каждого гражданина документа международного стандарта и баз персональных данных на все население страны, созданных также по стандартам, определенным хозяевами надгосударственных систем электронного государственного управления. Электронные услуги и электронные документы — это не удобства для граждан, это **удобства для мирового электронного правительства всемирного электронного государства**. И строиться это наднациональное глобальное государство должно за наши деньги и с нашим участием.

Основным исполнителем международных и российских документов по построению так называемого информационного общества в России является Министерство экономического развития и торговли РФ, которое ещё до принятия федеральных законов начало проводить в жизнь планы по демонтажу суверенитета страны и внедрению в нашей стране единых международных стандартов, позволяющих включить Россию в единую наднациональную структуру мирового электронного правительства. Так, в отчёте этого министерства (2003—2004 гг.) «разработка типовых требований к процессам информатизации органов государственной власти, включая разработку единой методологии построения «электронного правительства», имеется специальный раздел по адаптации передового опыта органов государственного управления других стран. В документе рассматривается использование международных стандартов и методологий для задач

построения и внедрения «Электронного правительства» в органах государственной власти РФ.

Для включения России в единую функционально-информационную архитектуру (ЕФА) государственных органов предлагается выбрать объединение принципов, изложенных в концептуальных документах Канады, США и Дании. Наши российские ведомства разрабатывают и внедряют в жизнь документы, которые, по своей сути, демонтируют суверенитет страны, делают ее не только полностью открытой, но и управляемой извне.

Эти документы находятся в строгом соответствии с требованиями базовых международных актов, требующих от России и других стран полной открытости информации на всех уровнях государственного управления.

Так, в женеvском «Плане действий по построению глобального информационного общества» (2003 г.) предлагается: «Поддерживать инициативы по международному сотрудничеству в области электронного государственного управления в целях повышения прозрачности, подотчетности и эффективности на всех уровнях государственного управления...»

Т.н. «Тунисская программа для информационного общества» (2005 г.) предписывает суверенным государствам правила, полностью исключая такие понятия, как суверенитет, национальная безопасность, государственная тайна, личная безопасность отдельного гражданина: *«Использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как инструмент реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области развития путём разработки и внедрения приложений в области электронного правительства, основанных на открытых стандартах, с целью повышения уровня развития и взаимодействия систем электронного государственного управления на всех уровнях, тем самым способствуя доступу к государственной информации и государственным службам и содействуя созданию сетей ИКТ и разработке услуг, которые были бы доступны в любом месте, в любое время, для кого угодно, с использованием любых устройств...»*

Вот она, главная цель — прозрачность деятельности всех органов власти и жизни всех граждан для внешних наднациональных структур, доступ к государственной информации и государственным службам «в любом месте, в любое время, для кого угодно, с использованием любых устройств».

Проект Указа президента РФ «О выдаче и применении удостоверения личности гражданина Российской Федерации нового поколения» — это продолжение прежней линии по встраиванию России во всемирное электронное государство

с единым электронным правительством, где каждая отдельная страна — лишь сервер единой электронной системы.

В случае реализации перечисленных выше международных документов по созданию глобального информационного общества утрачивают свое значение понятия суверенитета любой страны и ее национальных интересов. Любое государство будет подчиняться указаниям мирового электронного правительства.

Построением неконституционного органа власти — «электронного правительства» в Российской Федерации занимаются наднациональные корпорации Евросоюза под контролем технического отдела Белого дома (США). Евросоюз выделил два миллиона евро на развитие в нашей стране электронного правительства. Реализация проекта возложена на ирландскую компанию GDSI, действующую в консорциуме с Steinbeis GmbH (Германия). Жан-Жак Кудела, руководитель G2C — проекта «Поддержка электронного правительства в Российской Федерации» заявил «Российской газете»: «В информационное пространство, объединяющее сегодня Евросоюз, безусловно, должна быть включена и Россия».

Агентство Spews опубликовало 25.02.2010 года статью «Американцы помогут России запустить электронное правительство». В ней сказано: «В ходе визита в Россию делегации ИТ-деятелей из США были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере информационных технологий, включая электронное правительство... По словам представителя Совета по национальной безопасности США Говарда Соломона, это входит в национальные интересы США».

Кто встанет во главе такого правительства — догадаться не трудно.

Интересно еще одно высказывание Соломона: «...Концепция электронного правительства, разрабатываемая в США с 1993 г., подразумевает двунаправленное взаимодействие государственных ведомств и представителей бизнеса с государственным аппаратом. В свою очередь, чиновники освобождаются от многих рутинных дел, которые становятся автоматизированными».

Из комментария непонятно, чьи чиновники — российские или США — освобождаются «от рутинных дел»? Возможно, Белый дом уже не делает различия. Таким образом, официально заявлено, что концепция электронного правительства разработана в США и мероприятия, проводимые в России в этой области, «входят в национальные интересы США».

Соответствуют ли национальным интересам России предлагаемые, финансируемые и реализуемые Евросоюзом и США проекты — большой вопрос. Если верить российским

специалистам, напрашивается вывод: тотальная рыночная электронизация — угроза национальной безопасности России, поскольку перевод всей деятельности российских органов власти в электронную форму при работе на иностранном оборудовании в системах, созданных иностранными компаниями, делает её управляемой извне.

Здесь уместно предостережения заместителя председателя Фонда социального страхования РФ, доктора технических наук, академика РАЕН С.С. Ковалевского, высказанные им ещё 7 лет тому назад в интервью «Российской газете» от 28 декабря 2007 года: *«О какой безопасности может идти речь, когда всеми информационными ресурсами в России управляют западные ОС (операционные системы) и СУБД (системы управления базами данных), исходные коды которых известны только разработчикам. И никто, никакая правоохранительная система не сможет гарантировать информационную безопасность, когда потоками информации управляют «чёрные ящики».*

Никто, кроме производителей, не знает точно, какие в них заложены недокументированные функции. Помните, во время «Бури в пустыне» в одну ночь были парализованы все системы иракских ПВО. Так что на кону сейчас стоит информационная безопасность России».

Справка (из Свободной энциклопедии — Википедии): Группа восьми, «Большая восьмёрка», — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. «Большая восьмёрка» не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения «восьмёрки» не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G8 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.

С 1996 года, после встречи в Москве, Россия начала всё активнее принимать участие в работе объединения. По негласному правилу, саммиты «восьмёрки» проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. В России саммит состоялся в 2006 году в Санкт-Петербурге (встреча, которая прошла в Москве в 1996 году, не была признана саммитом).

В марте 2014 года на саммите по вопросам ядерной безопасности в Гааге лидеры стран «Большой семерки» приняли решение о приостановке членства России в G8. Руководители стран «Большой семерки» отказались от участия в Сам-

мите в Сочи в июне 2014 года в связи с решением Совета Федерации разрешить возможное вооруженное вмешательство в события на Украине для обеспечения безопасности российских граждан, находящихся на территории этой страны.

В марте 2014 года в связи с Крымским кризисом ведущие политики стран G8 стали высказывать предложения об исключении России из клуба. Неформальный клуб «Большая восьмерка» или уже «Семерка» приостановил членство России, решается вопрос об исключении нашей страны из «клуба», одновременно требуется выполнение подписанных ранее обязательств. Допустимо ли это? Соответствует ли выполнение обязательств, данных Россией до последних событий на Украине и в мире, интересам нашей страны?

Вопреки заверению о том, что «решения «восьмёрки» не имеют обязательной силы», этот «международный клуб», не являющийся международной организацией, не имеющий устава и исполнительных органов, принимает решения, подрывающие национальную безопасность суверенных государств. Более того, документы, подписанные странами — участниками «восьмерки», не только указывают на их обязательность, но и требуют выполнения указанных в них сроков.

Рассмотрим один из документов, подписанных от имени Российской Федерации 18 июня 2013 года. Это «Хартия открытых данных». Положения Хартии являются обязательными к исполнению в установленные в ней сроки. Мы, граждане страны, подписавшей Хартию, имеем право знать содержание этого документа.

Читая Хартию, любой человек понимает, что ее цель — установление полного контроля над подписавшей ее страной. В Хартии закреплены принципы действий правительств стран-участниц: «Открытые данные «по умолчанию»; качество и количество; возможность использования всеми; публикация данных для улучшения управления».

Какую же информацию Россия обязана предоставить «Большой восьмерке» в соответствии с заявленными принципами и кто может использовать данные о нашей стране? Обратимся к Хартии:

«22) Мы обязуемся: размещать данные в открытом формате везде, где возможно, заботясь о том, чтобы данные были доступны как можно более широкому кругу пользователей в самых разнообразных целях...»

Кто и как может использовать данные, ясно даже первокласснику: **все и в любых целях.**

А теперь посмотрим, **что** Россия обязана сообщать «Большой восьмерке». В Хартии приводится перечень наиболее

важных и востребованных данных о стране. Это практически вся информация о государстве, его промышленности и предприятиях, природных ресурсах, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, коммерческой деятельности и даже топографические данные, всегда считавшиеся государственной и военной тайной. Перечень необходимых сведений впечатлит даже человека, далекого от вопросов обороны и безопасности страны:

«6.2: Раскрытие данных, имеющих большую значимость.

Примеры массивов данных, которые наиболее востребованы:

Компании/реестр предприятий.

Статистика преступности, безопасность.

Метеорологические данные/сведения о погоде, сельском хозяйстве, лесоводстве, рыбной ловле и охоте.

Список школ; результативность работы школ, цифровые навыки.

Уровни загрязнения, энергопотребление.

Заключенные сделки, подписанные контракты, поданные заявки на участие в тендере, будущие тендеры, местный бюджет, национальный бюджет (планируемый и расходимый).

Топография, почтовые индексы, национальные карты, местные карты.

Предоставление помощи, продовольственная безопасность, добывающая промышленность, землепользование.

Контактная информация для связи с правительством, результаты выборов, нормативно-законодательные акты и уставы, заработные платы (ставки заработной платы), знаки признательности/подарки.

Данные о назначаемых препаратах, данные о результатах.

Данные о геномах, исследовательская и образовательная деятельность, результаты экспериментов.

Национальная статистика, перепись, инфраструктура, уровень благосостояния, профессиональные навыки.

Жилищное обеспечение, медицинское страхование и пособие по безработице.

Расписание общественного транспорта, точки доступа к широкополосным каналам...»

В Хартии указывается:

«В соответствии с принципами «обеспечение предоставления данных, «открытых по умолчанию» и «обеспечение качества и количества» мы обязуемся способствовать расширению публикации таких данных.

В первую очередь мы совместно создадим основные массивы данных по национальным статистикам, национальным картам, национальным выборам и национальным бюджетам, ко-

торые уже доступны либо могут быть получены (начиная с июня 2013 г.) и будем работать над их детализацией и доступностью (к декабрю 2013 г.)».

Содержание Хартии наглядно показывает полную согласованность этого документа с «Тунисской программой для информационного общества» 2005 года.

В информационном обществе суверенные государства обязаны обеспечивать доступ к информации и государственным службам «в любом месте, в любое время, для кого угодно, с использованием любых устройств».

Как можно оценить эти международные документы, подписанные и выполняемые Российской Федерацией в современной политической ситуации? Наднациональными структурами США и Евросоюзом инициирована травля России в связи с вооруженным переворотом и развязанной при содействии и поддержке Запада и США войны на Украине. К нашей стране предъявляются необоснованные претензии, применяются политические и экономические санкции. Многие действия властей Украины, США и некоторых стран Евросоюза демонстрируют открытое желание втянуть Россию в военный конфликт. Политическими деятелями Запада и США уже высказываются открытые угрозы в адрес нашей страны и предпринимаются конкретные действия по подготовке возможных военных действий.

Тем не менее в такой политической ситуации продолжают действовать международные договоры и другие документы, обязывающие Россию к полному раскрытию информации о государстве и ее гражданах. Выполнение только перечисленных выше международных документов со стороны России можно рассматривать как капитуляцию, проводимую в негласном режиме.

У нас, граждан России, рождаются закономерные вопросы. Почему, невзирая на взрывоопасную политическую ситуацию, провокационные действия Украины, стран Евросоюза, США и НАТО российские ведомства продолжают тупо выполнять международные договоры, направленные на подрыв суверенитета и разрушение национальной безопасности? Почему бездумно, «в автоматическом режиме» идет внедрение Программ и Стратегий по построению информационного общества и электронного правительства? Почему Россия не остановила выполнение «Хартии открытых данных»? Почему в ущерб национальной безопасности принимаются необдуманные решения, федеральные законы, ставящие под угрозу суверенитет нашей страны и безопасность каждого ее гражданина? Почему игнорируются элементар-

ные условия безопасности граждан Крыма, г. Севастополя и регионов, граничащих с Украиной, находящейся в состоянии войны?

Возможно у предприимчивых чиновников все-таки проснется совесть, а также чувство самосохранения, присущее всем живым существам?

Одними из первых документов, которые необходимо пересмотреть с учетом сложившейся политической ситуации и антироссийской политики Евросоюза, США, НАТО, являются договоры и договоренности об открытости данных о нашей стране и ее гражданах. Их действие должно быть приостановлено, а сами договоры расторгнуты.

Однако из документов, размещенных на сайте правительства РФ, видно, что реализация «Хартии открытых данных» идет полным ходом, активно строится и так называемое информационное общество.

Мы, граждане России, должны понимать, что создаваемое сейчас информационное электронное общество, управляемое наднациональным электронным правительством в будущем, уже не будет иметь ничего общего с суверенным государством под названием Россия. Согласимся ли мы с таким сценарием, зависит от каждого из нас.

Статья 32 Конституции РФ гарантирует гражданам право на непосредственное участие в управлении делами государства. В соответствии со статьей 33 Конституции граждане имеют право обращаться лично, а также направлять коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. В соответствии со статьей 80 Конституции РФ главой нашего государства является президент Российской Федерации. Он же является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, а также принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности. Именно президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства и представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. Но в соответствии со статьей 3 Конституции РФ народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. Обратимся ли мы к президенту РФ с требованием расторжения кабальных договоров, ставящих под удар нашу страну, встанем ли на защиту независимости и суверенитета нашего государства, решает каждый гражданин и все мы вместе. В наших руках судьба России, будущее наших детей.

ПОЧЕМУ ВЕРНУЛСЯ ФАШИЗМ?

Пристрастная история обвиняет Сталина в том, что накануне Великой Отечественной войны он якобы крупно ошибся. Нужно было, дескать, предпринимать гораздо более решительные действия, чтобы немцы не дошли до Москвы. Или, может быть, он поверил Гитлеру?

Земляк Сталина, бывший полковник МГБ, покойный Г.А. Эгнаташвили, мне рассказывал, что он слышал от самого Сталина 6 мая 1940 года, когда тот был у них дома: «Воевать мы будем с Германией. Англия и Америка будут нашими союзниками».

Георгий Александрович считал, что дипломатический гений Сталина проявился в том, что ему удалось разделить Запад и сделать США и Великобританию нашими союзниками в войне против Гитлера.

Действительно, мы привыкли к этому историческому факту и уже не задумываемся над столь невероятным поворотом в международной политике: две главные антикоммунистические страны вступили тогда в коалицию с «красным»



СИМВОЛ ВЕРЫ

СССР. И одной из причин этого было то, что Сталин соблюдал крайнюю осторожность накануне войны. Если бы мы хоть на минуту раньше начали активные действия, чем немцы, то тогда для всего мира мы были бы агрессорами, и события могли пойти иначе. Могла бы сложиться не антигитлеровская коалиция, а коалиция всего Запада вместе с Гитлером против нас. И другой исход войны.

Антисталинскую пропаганду и историей-то не назовешь, потому что ей вовсе не правда нужна, а нужно подогнать факты под свой ответ. Но если смотреть правде в глаза, то мы увидим, сколь неподъемно сложным было тогда положение страны. И Сталин, скорее всего, принял оптимальное решение, какими бы трагическими ни были дальнейшие события. Однако могло быть и хуже.

Если мы посмотрим реально, то мы должны признать: никто в мире, ни один историк не знает положения нашей страны в мире накануне 22 июня 1941 года лучше, чем знал его тогда И.В. Сталин. И не узнает никогда. А он исходил именно из этого знания.

Можно не сомневаться в том, что за раба Божия Иосифа тогда молились. Его обращение к «братьям и сестрам» 3 июля 1941 года — это была, может быть, в первую очередь просьба о молитве, обращенная к верующим. Он знал, что без Бога с «проклятою ордой» не справиться. И сам, как теперь известно, молился.

Вот так коротко, но с земным поклоном молился Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников (1882—1945). В 1941—1942 годах он был начальником Генерального штаба нашей армии.

Как рассказывала мне его невестка Слава (в крещении Фотиния) Александровна, Борис Михайлович всю жизнь носил с собой ладанку, в которой были нательный крест, иконки Божией Матери и святителя Николая, 90-й псалом *Живый в помощи Вышняго...*

Маршал А.М. Василевский, ученик и преемник Шапошникова, говорил, что про эту ладанку, с которой Шапошников не расставался, Сталину доложили.

Однажды после того, как Борис Михайлович сделал очередную доклад, Сталин спросил его при всех:

— Ну что, Борис Михайлович, будем молиться за Родину?

И после этого о ладанке никто не говорил.

Верховный Главнокомандующий, возможно, одной этой репликой убил сразу четырех зайцев (он, как известно, это умел):

1. Сделал маршалу мягкое замечание (в РККА носить ладанку с крестиком и иконами не полагалось — тем более, так, чтобы об этом стало известно).

2. Легализовал его веру в глазах подчиненных.

3. Поддержал его в вере и молитве.

4. Призвал молиться за Родину тех, кто был на это способен.

С Шапошниковым Сталин (может быть, после этого случая) обсуждал вопросы сближения государства с Церковью, план его встречи с иерархами.

Христианское смирение говорит о том, что первому лицу государства нужно доверие народа, которое сплачивает страну, делает ее сильнее.

Как нас учили в советское время? «Революции — локомотивы истории» (К.Маркс). Но история свидетельствует, что революции — это ее тормоза. Это не созидание, а разрушение.

Всякая революция — это разговоры о свободе, о скором улучшении жизни, а на деле — ложь и горе. Как и всё, что исходит от лукавого, она много обещает, но ничего из этого не дает. Революция — это непременно нетерпение, осуждение, ненависть, жестокость, это террор и кровь. Ломать — не строить. Строительство же, созидание совершается в ином духе — в духе *целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви*.

Не судите, да не судимы будете, — дал нам Господь заповедь. Она относится и к первому лицу в государстве. А может быть, к нему — в первую очередь.

Эта заповедь не просто мудра, она премудра. Она дана нам еще потому, что мы просто не имеем данных для суждения, а тем более осуждения любого человека: мы не знаем всех его обстоятельств.

Святитель Тихон, Патриарх Московский, одному священнику, который высказывал ему свои соображения, кротко, но веско ответил:

— Вы-то смотрите со своей колокольни, а я-то — со своей, всероссийской.

«Не ошибаются только бездельники и покойники», — говорил один митрополит. И командир в армии может ошибаться. Но если солдат будет исходить из этого, а не из воинской дисциплины, то армии не будет.

Солдат, кстати, тоже может ошибаться... И, может быть, тогда, когда он особенно уверен, что понимает лучше командира. *Не будь вельми прав*, — есть такая святоотеческая заповедь. *Вельми* — то есть очень.

Ошибаемся и мы. В том числе в оценке тех, кто поставлен над нами. Господь скорее поправит их, чем нас — уже потому, что от их решений зависит жизнь многих людей.

В мире, который *во зле лежит*, по слову Спасителя, приходится выбирать не только между добром и злом, но и между злом большим и меньшим. Между большей кровью и меньшей. Это — крест командира.

Всё это, конечно, в реальной жизни — очень не просто. Выбор делать наилучший для всех, Богу угодный, — это бывает даже мучительно. И Царю Николаю было мучительно (он еще и поэтому мученик). И всем нашим Патриархам. И ошибки тут были у всех, даже у святых.

Святитель Тихон, например, будучи обманут, ввел в нашей Церкви в 1923 году новый календарный стиль. Народ стал просить его вернуться к старому календарю, по которому веками шла жизнь на Руси. Просил и священномученик Сергий (Мечёв). Он пришел к Патриарху и со смирением, встав на колени, сказал:

— Ваше Святейшество, я вас люблю, я вас уважаю, но я не могу так. Примите меня, как единове́рца.

И святитель Тихон вскоре вернул старый календарный стиль, по которому, милостью Божией, мы служим в нашей Церкви до сих пор.

Почему в нашу жизнь вернулся ныне фашизм, который мы, казалось, навсегда победили в 1945 году? Где корни этой беды? То, что ее долго готовили за океаном, всем Западом, это понятно. Но что для этого было сделано у нас? И не главная ли причина была именно здесь?

Пока рождались, учились говорить и подрастали юнцы, которые в Киеве этой зимой стали скандировать «Украина — це́ Европа», — не раздавалось ли всё это время у нас, на нашей земле, по всем государственным радиостанциям и телеканалам «Россия — это Европа»?

Не стала ли официальной российской идеологией мысль о том, что Россия должна стать, как все «нормальные страны», как весь «цивилизованный мир», в идеале — как Америка? О том, что у России никакой положительной самобытности нет, что она чем самобытнее, тем хуже?

Со времени разрушительной «перестройки» отказ от независимости страны, от ее вековых духовно-нравственных ценностей, от приоритета ее законных национальных интересов (того, что на языке западной пропаганды называется «имперскими амбициями»), лег в основу нашей государственной идеологической доктрины (неправда, будто бы ее не

было — еще какая была жесткая). Эта доктрина определяла нашу дипломатическую, военную, образовательную, культурную, кадровую политику, воздействовала на духовную сферу.

Эта доктрина отвергла русскую державную традицию, которая сохранилась и окрепла даже в советское время — как «совковую». Под лозунгами борьбы с «тоталитарным прошлым», «деидеологизации», «приобщения к общечеловеческим ценностям» шла дерусификация России — в России! Русский патриотизм был вытеснен в оппозицию. Его объявляли чуть ли не фашизмом, уж сталинизм-то точно, а само это имя главы нашего государства стало для большинства русскоязычных СМИ самым ругательным.

Как же было не вернуться фашизму, когда не сохранили на должной высоте память о Победе над фашизмом? Уже через десять лет после великой Победы был официально опочен ее Верховный Главнокомандующий, что было, конечно, хитрым ударом по самой Победе, по самой нашей стране, — как, вероятно, и задумывали закулисные режиссеры этой идеологической спецоперации долговременного действия, ибо ее яд до сих пор продолжает отравлять душу нашего народа, особенно молодых поколений.

Клевета — материя очень цепкая. Приклеить ее бывает легко. А отлепить, отцепить, отодрать — чрезвычайно трудно. Мы это знаем по тому, с каким трудом шло у нас очищение от клеветы на святого Царя-мученика Николая — и до сих пор она продолжается.

«Разоблачение культа личности» — это было государственное преступление, стоящее в одном ряду с передачей Крыма УССР, с целинной и кукурузной авантюрами, с развалом деревни и ослаблением армии, с гонениями на Церковь и продажей за апельсины русских участков Святой Земли, с насаждением западного духа в нашей жизни.

В горбачевско-ельцинские годы было продолжено и запредельно усилено дело разрушения основ нашей жизни. Началось искажение истории, отрицание системы ценностей, за которые миллионы наших предков еще недавно отдали свои жизни, под предлогом борьбы со лжеценностями коммунистической идеологии.

И до сих пор Сталин считается некой черной фигурой нашей истории, чьи портреты даже в день Победы нельзя вывешивать в нашей стране — победительнице фашизма. В Москве есть проспекты и улицы с именами многих маршалов и генералов-победителей (исчезла только улица маршала Шапошникова), но нет даже переулочка в честь того, кто всеми

ими командовал! Даже символ русской воинской славы — город-герой Сталинград до сих пор живет под безликим псевдонимом, словно стесняясь своего героического имени. Вот радость-то для всех неофашистов — карта России ничем не напоминает о Сталинградской победе!

Опускали, опускали с пристрастием все высокие понятия, достижения, авторитеты... Опускали русский народ — его историю, традиции, веру, идеалы, культуру, его характер, образ жизни, даже самое слово «Россия» писали латинским шрифтом. Опускали самую Россию.

Всё это не было «заполнением белых пятен истории», «открытием правды», как это провозглашалось, это была другая неправда, более тонкая и ядовитая. И это было преступлением перед русским народом, перед подвигами и трудами наших предков, перед юными поколениями, которых лишали важнейшего блага — любить и уважать свою единственную великую Родину, жить с высоким вдохновенным стремлением «Отчизне посвятить души прекрасные порывы».

Дело дошло до того, что преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, наставник будущих православных русских священников, во всеуслышание провозгласил генерала Власова не предателем, а героем. Чего же было ждать от провинции, от бывшей Малороссии, а затем УССР, которая давно привыкла смотреть на Москву и Петербург как на центр? И до сих пор смотрит, потому что от переименования губерний и республик в «суверенные страны» они таковыми, по сути, не становятся. И уж коли здесь, в Москве, в центре, занялись ниспровержением своей истории, своей, Богом данной центричности, то что говорить о периферии? Что можно спрашивать с обработанных в точно таком же духе, да еще с примесью крутого национализма, киевских юнцов?

Могло ли пройти бесследно то, что целую четверть века не только здешним юным поколениям, но и их ровесникам на Украине слышнее всего были голоса, опиравшиеся на клеветническую версию нашей совместной истории? Хуже, мол, тоталитаризма, то есть «русского империализма», в истории человечества ничего нет, к нему всякая наша державность и сводится. Сталин, мол, был хуже Гитлера: тот уничтожал чужих, а этот — своих. Договорились до того, что якобы победила тогда вообще не наша общая страна, а фашистская Германия. Немцы, правда, так не думают...

Господствующей стала идеология неотроцкизма. Согласно этой исторической точке зрения, Богдан Хмельницкий, намереваясь «предать крестьянскую революцию», нашел для

этого союзника «в лице крепостнической Москвы, давно зарившейся на украинские земли».

Так были перевернуты главные нравственно-исторические ориентиры.

И вот московская, «центральная» русофобия, которая легла на почву местного национализма, дала этот ядовитый плод — укронацизм.

Да, надо признать, что мы, «москальи», в нынешней мало-российской беде тоже виноваты. А может быть, наша вина — главная, ибо кому много дано, с того много и спросится.

Нам было дано от Бога быть государствообразующим народом великой страны. Мы перестали помнить об этом, мы поддались пропаганде безбожия — то есть отвергли главный источник державной силы, врученной нам свыше. Всё больше стали увлекаться западными ценностями. Поверили либеральной пропаганде, что личная свобода — это абсолютная ценность, а крепость государства — то, что на нее посягает. Мы утратили идеал, который привлекал бы к нам другие народы, а потому перестали быть объединяющим центром для них. И страна распалась.

Мы допустили в нашем доме разгул русофобии и космополитизма — под шумок борьбы с коммунистической идеологией, хотя и то, и другое — одного духа. Мы приняли чудовищную идеологию жизни без идей, без идеалов — как якобы «нормальную», «общечеловеческую» жизнь.

Двадцать лет нашей стране было предписано жить политической фантазией о том, что у нас теперь с Западом общие интересы, что мы с ними чуть ли не одно целое, что смешные коммунистические заблуждения развеялись, как дым, и мы теперь тоже, как и все, — «нормальные люди».

Да, конечно, коммунистическая идеология — это совсем не то, что нужно было нашим православным народам. Но правда и в том, что ничего в ней по-настоящему русского, «москальского», московского (не по прописке) не было. Суть-то ее была прежде всего в борьбе с русским духом, с Православием, с нашей государственной традицией. И то, что пришло ей на смену в 1991 году под лозунгом «деидеологизации», было еще более русофобским, откровенно отрицавшим всё русское, хотя и вынуждено было мириться с возрождением православной жизни: ведь пришли к власти якобы «антикоммунисты», западники, а вера в Бога на Западе тогда еще не запрещалась.

И вот уже наша молодежь стала уезжать на Запад учиться, жить и работать, не разглядев в нашей стране никаких решающих преимуществ.

Действительно, если духовных сокровищ здесь нет, а материальные блага там лучше, если Родина, как их усердно убеждали, глубоко ущербна, то какой смысл здесь оставаться?

Понятно, что на Украине поверили антирусской, антисоветской пропаганде, которая навалилась на них и с Востока, и с Запада, которая давно тлела в рядах собственных нацистов, теперь легализовавшихся. Всё это не один год зрело в недрах и центральных, и национальных элит СССР, усердно подогревалось западными спецслужбами, радиостанциями, которые без устали вещали на их языках, умело пользуясь слабостью советской пропаганды, закованной в рамки коммунистической идеологии (не без влияния, надо думать, этих самых спецслужб), и с которыми удивительно совпали по духу «прогрессивные преобразования» времен «перестройки».

Хорошо помнится, как «Голос Америки» на украинском языке, объявляя время в начале передачи, как бы невзначай говорил: «за киевским часом», хотя Украина жила тогда по московскому времени. Даже в таких мелочах проявлялась главная цель американской пропаганды: разделить страну.

Разумеется, далеко не все ее граждане были рады разрушению Союза. Помнится всеармейское офицерское собрание 17 января 1992 года, которое весь день транслировалось по телевидению. Наша армия тогда криком кричала о том, что ее начинают резать по живому. Но ее уже не слушали. Это было «не в формате» той либерально-демократической катастрофы, которая совершалась. Несмотря на волю народа, выраженную во всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, приговор стране был вынесен.

Приговор этот, однако, не был и не может быть окончательным. Настоящие приговоры выносит история. А история совершается Промыслом Божиим.

В чем причина нынешних трагических событий на Украине? Кому они выгодны?

Они выгодны диаволу. «Разделяй и властвуй» — это его принцип. Лучшего подарка для него придумать невозможно: православные, русские, украинцы, славяне убивают друг друга.

Какая радость нашим общим врагам! Настоящим, кому чужды подлинные интересы нашего единого народа. И вот вместо того, чтобы объединиться против врагов и стать сильнее, действительно независимее, мы боремся друг с другом.

Раз диаволу это выгодно, раз он торжествует, значит, главная причина этой беды — ослабление в людях истинной веры, отступление от Бога, от Его Церкви.

Когда мы общаемся с Богом, когда мы пребываем в истинной Церкви, то мы находимся под благодатной защитой. Тогда даже и оккультная, психотропная, идеологическая обработка над нами не властна. Но если мы вне церковной ограды, если мы принимаем за Церковь похожую по названию организацию отлученного от Церкви самозванного «киевского патриарха», либо униатское католическое образование «по православному обряду», то мы становимся уязвимыми для дьявольского воздействия. Мы начинаем принимать ложь за правду и творить не Божью, а иную волю.

Почему Господь попустил быть этому злу, в чем промыслительный смысл украинских событий? Смысл их в том, чтобы вывернуть наизнанку суть западного либерализма с его «постхристианством» и показать нам, что у него внутри. Именно этот гнойник так страшно там прорвался. Не украинский только, самостийный, униатский, не только неофашистский, нацистский, и даже не только постсоветский, общеславянский — нет, общемировой. На Украине просто это всё сошло как нигде остро: измена Православию, Святой Руси, нашей общей истории и культуре, Победе над фашизмом 1945 года, устремление на Запад, будучи частью западного, русского мира. Вот эти два противоположных мировоззрения встретились, столкнулись на Украине — и заискрило, и детонировало, и взорвалось.

Вся внешняя западная «свобода» без различения добра и зла, «права человека» на грех, «цивилизованный», в смысле удобства потребления материальных благ, бездушный мир, — всё это Господь через майдан вывернул наизнанку.

Здесь открылось во всей «красе» зловещее нутро «постхристианства», в котором, конечно же, гнездится сам враг рода человеческого, открылась убогая суть всего западного либерализма. И сутью этой оказался фашизм. Оказалось, что **либеральная «свобода» оборачивается фашизмом**. Такова суть всякого внешнего, не-евангельского, революционного понимания свободы: оно оборачивается насилием.

И наоборот. Самопожертвование, аскетизм и дисциплина, столь ненавистные либералам, пусть даже ради крепости державы, ради ограничения зла, в конечном счете для блага каждого ее гражданина — содержат в себе подлинную свободу.

Наш народ принес и приносит в Новороссии великую жертву. Погибшие священники и дети, женщины и старики, добровольцы, живот свой положившие *за други своя*, — жертва эта велика пред Богом. И так же велико промыслительное значение всего там совершающегося.

Именно теперь, как никогда раньше, история может пред-
ставить самый серьезный счет либерализму и вынести ему
исторический приговор за все революции, смуты, гражданские
и прочие войны, за все катаклизмы, которые совершили-
сь и совершаются на нашей земле под пестрыми знамени-
ми, на которых неизменно красуется слово «свобода».

Это либералы веками расшатывали устои нашей жизни. Это
они устроили пропагандистскую травлю православной монар-
хии, русских царей, Православной Церкви, всех государствен-
ных основ нашей жизни и подготовили условия для падения
Российской Империи в феврале 1917 года, что стало главной
причиной октябрьского переворота. Это они, совершив анти-
государственную революцию 1991 года после пропагандистс-
кой истерии последних советских лет, повинны в развале СССР.

Они сами придумали свою историю. Главная их мысль —
о русском рабстве: сначала монархическом, потом комму-
нистическом. О том, что только западные влияния, только
вольномыслие и диссидентство были нам на пользу. Что Рос-
сия якобы исчезла в октябре 1917 года, когда кончились фев-
ральские «свободы», и дальше было полное историческое
недоразумение — до самого 1991 года. И вот от этого «небы-
тия» в один прекрасный момент мы просто отказались, как
проснулись после страшного сна, и начали историю страны
заново. Так и говорилось: нашей стране, мол, двадцать лет.
Так писал когда-то и В.Маяковский: «Моя страна — подро-
сток». Вот это историческое заблуждение, этот небольшоше-
визм стал одной из причин укронацизма.

В родословной Евромайдана — и его прямые предшествен-
ники: московские, ленинградские «шестидесятники», совет-
ские диссиденты, нынешние «болотные» бунтовщики с их
лозунгом «свобода превыше всего». Это им предьявляет свой
счет кровь, которая льется сегодня на Украине, которая ли-
лась во всех «горячих точках» разрушаемой страны.

Миф о том, что «либеральный проект» несет нашему наро-
ду благо (цивилизованную, свободную, демократическую,
культурную, обеспеченную жизнь), лопнул. Либерализм об-
манул наше общество, как обманывают все революции. Он
пришел к власти на требовании свободы, гласности, раскре-
пощения общественной, государственной, хозяйственной
жизни. Никаких, мол, ограничений! Для кого? Для всех? Нет.
Только для него, для либерализма. Для западного духа. Для
денег. Для греха. Для всего же, что противостоит разруше-
нию основ народной жизни, развалу страны, что делает ее
независимой и могучей, — никаких свобод, иначе — «разда-
вите гадину!».

Суть гуманизма, либерализма, всех внешних свобод — безбожие, сатанизм. Об этом сказал Господь апостолу Петру, который, услышав от Него о предстоявших Ему крестных страданиях, по-человечески пожалел Его: «Будь милостив к Себе, Господи!» Господь сказал: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И далее: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16, 21-24).

Запад отказывается идти за Христом. Россия же — напротив. В XX веке она доказала свою верность Христу, пройдя искусы безбожных гонений и вернувшись на православный путь.

Этот «проект» продолжается даже сегодня, когда стали видны страшные плоды либерализма и русофобии, когда с русским миром идет беспощадная война.

Любые ограничения «свобод», любая цензура — всё это по перестроечной инерции продолжает считаться главным злом нашей жизни. Пусть юные души отравляются любым развратом, пусть процветают безбожие и сатанизм, презрение к своей стране, к своему народу — главное, ни малейшего «возврата к тоталитаризму», никого «клерикализма»!

Что такое «свобода слова» в либеральном понимании, мы за эти годы узнали. Это свобода только для либерального слова; а свобода для любого другого слова — это, по их терминологии, тоталитаризм. Такой системе двойных стандартов они хорошо научились на Западе.

Все последние годы мы постоянно слышали о том, что у нас нет врагов, что нам никто в мире не угрожает, что нам не нужна сильная армия. Что никакой конкуренции с Западом, никаких его видов на наши природные и прочие богатства нет и быть не может, потому что он, Запад, очень культурный и порядочный, все время улыбается... Что наше противостояние с внешним миром может быть только из-за нас, из-за нашей агрессивности. А потому и никаких ограничений в области пропаганды, никакой цензуры у нас не должно быть и в помине! На такой идиллической легенде строилась даже и военная наша доктрина.

И это при том, что жесточайшая конкуренция — основа западной экономики, что конкуренция существует даже и между странами Запада, что Запад, прежде всего США, не раз показывал, что он беспощаден к тем странам и народам, которые хотят жить по-своему.

Да, жизнь, разумеется, показала иное. У России не будет врагов, только если она перестанет быть Россией, забудет о

своих интересах, о своих духовных основах. Перестанет заботиться о своем суверенитете и территориальной целостности. Но из этого следует то, что всю политическую, информационную, общественную, образовательную, педагогическую, духовную, культурную жизнь страны можно строить только на патриотических основах. Слава Богу, Россия стала возвращаться к самой себе. К тем основам, которые ее подняли, сделали самой собой, сохранили среди самых трудных испытаний.

Для этого, действительно, не нужно «закручивать гайки». Гайки уже давно закручены — на либерализм и западное понимание смысла жизни. Закручены пришедшими к власти в нашей стране два десятилетия назад при прямой поддержке, а точнее при диктате Запада либеральными силами. Именно поэтому патриотическим, русским основам бытия очень трудно пробиваться сквозь барьеры, охраняющие «единственно возможное» «прогрессивное» мировоззрение. Кто поверит, что насаждаемая всё это время у нас западная псевдокультура, забытый английским языком русский эфир, весь этот западный дух — действительно общенародный свободный выбор? Постоянное мощное вещание на отечественные деньги антигосударственной радиостанции «Эхо Москвы» — разве это не закрученные гайки против русского народа?

Так что нашему государству, чтобы выжить и подняться, нужно раскрутить гайки — для жизни в России по нашим понятиям о правде и справедливости, для подлинно русской государственности, для народного волеизъявления, для русского духа.

Именно эта идея — раскрытия сил русского народа, народных талантов лежала в основе известного кинофильма «Волга-Волга».

*Волга, Волга, мать родная,
Волга — русская река!..*

Эта всем известная народная песня была процитирована в названии кинофильма. Идею фильму дал Сталин в 1936 году. Известно, что без его одобрения фильмы не выходили на экран и часто делались по его заданию. Известно также, что это был его любимый кинофильм, он знал его наизусть. Фильм этот — подлинный исторический документ, который невозможно ни подделать, ни уничтожить, ни заменить фальшивкой — история, как она есть.

Идея фильма проста. Бюрократическая каста, чуждая русскому народу, которая, однако, имеет над ним власть и только об этой власти и печется, не верит в творческие силы русского народа, а то и боится их. Фильм ставил своей задачей вдохнуть в русский народ веру в себя, в свои огромные созидательные возможности — и высмеять бюрократическую (читай — партийную) касту, сдерживающую народные силы.

«Волга-Волга» — это был политический манифест Сталина, в том числе перед надвигавшейся войной. Он знал, что кино — доброе, теплое, музыкальное, веселое — это прямой путь к народу. Приближалась война, а в ней нужно было всецело опираться на народ, на его силу и стремление жертвенно защищать Родину. Река Волга — символ неиссякаемой мощи русского народа, неостановимого векового течения народной жизни.

Работа над сценарием фильма началась в тот год, когда в руководстве страны шла острейшая борьба за новую конституцию СССР. В том же 1936 году за границей вышла книга Л. Троцкого с многозначительным названием «Преданная революция». Ее автор был прав: действительно, в стране происходил отход от «завоеваний революции» и возвращение на традиционный русский путь. Процесс этот шел в борьбе с революционерами-большевиками, не имевшими никакого желания отдавать свою власть в стране.

Суть реформы Сталина, его идея демократизации на основе конституции 1936 года была в опоре на народ, в том, чтобы перекинуть мост к нему через голову «проклятой касты» (как он говорил), которая держала власть в стране («Первую пятилетку они мне провалили»; «Кадры решают всё»). Не секрет, что власть в 1917 году лишь на словах стала «рабоче-крестьянской», а на самом деле народу была объявлена война.

Согласно «сталинской конституции», у нас не должно было быть «лишенцев» — категорий граждан, лишенных избирательных и иных гражданских прав: священников, бывших белогвардейцев, «непролетарского элемента». «Диктатуре пролетариата», а также, понятно, соответствующей «революционной» идеологии, а значит и «авангарду рабочего класса» — партии большевиков — особого положения в обществе новый закон не предусматривал.

То есть готовился мирный переход от власти партии большевиков к всенародной, выборной власти. Причем даже в Верховный Совет СССР выборы предполагались прямыми и альтернативными: коллективы граждан сами должны были выдвигать своих кандидатов и выбирать из трех, вносимых в

бюллетени, одного. Понятно, что власть забеспокоилась: ее могли просто-напросто «прокатить», не выбрать.

Это была попытка провести реставрацию, а если говорить по-русски, то воссоздание традиций русской государственности на подчеркнуто народной основе. Сталин искал пути к своему идеалу государства — народной империи.

Если выразить суть той дискуссии, которая велась вокруг предстоявших выборов, то ее можно выразить такой формулой. Сталину возражали: а вдруг выберут не нас? Он отвечал: ну что ж, значит недостойны. Понятно, что власть это не устраивало.

С одной стороны, готовился заговор со смещением и уничтожением Сталина. Его, как «предателя революции», здешние троцкисты могли объявить врагом народа, пособником кулаков, попов, бывших белогвардейцев, короче контрреволюционером. Кем он, по сути, и был.

С другой, они начали борьбу с народом. Желая укрепить свою власть, троцкисты развязали террор со своими политическими конкурентами, со всеми слоями общества, которые могли представлять собой для них оппозицию, со всей «контрреволюцией»: с духовенством, верующими, со всеми «бывшими». Вспомнили 1918 год — с кем тогда воевали. Вот почему у наших новомучеников две основные даты гибели: 1918 и 1937.

В ходе этой борьбы Сталину пришлось отчасти отступить, отчасти использовать эту борьбу против настоящих врагов народа — в том числе и их же руками. Он не «сливал» народ. Он вынужденно отступил. Как отступил под Москвой М.И. Кутузов — для того, чтобы выиграть войну.

Надо ли говорить, насколько всё это злободневно для сегодняшнего, для завтрашнего дня нашей Родины?

Алексий КАСАТИКОВ,
протоиерей, г. Краснодар

ВСЕЛЕНСКАЯ МЕСТЕЧКОВОСТЬ

С одной стороны, кровавые события на Украине — это то, что можно назвать бунтом местечковости против культуры как таковой. С другой стороны — это очередной наскок, атака западного мира на Русский мир. Как же сошлись в едином порыве против Русского мира считающиеся культурными европейские элиты и толпы примитивных «рагулей», экстатически заходящихся в ритуальном танце под названием «Хто нэ скачэ — той москаль»?

С одной стороны — они связаны старинным и прочным отношением «пан—холоп». Верный холоп — что верный пёс, не может не выполнить команду своего хозяина. А команды, как всем известно, поступали и неоднократно. Каких только «панов» из Западной Европы и Америки не перебивало на киевском майдане незалежности! Тут и Виктория Нуланд со знаменитыми печеньками являла собой аллегория сладкой западной жизни. Тут и Кэтрин Эштон, опять же не более чем аллегорически, являла красоту этой же жизни. Тут и сенатор-фантом из США Джон Мак-



СИМВОЛ ВЕРЫ

кейн аллегорически же изображал умственную мощь всего Североамериканского континента. А уж министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле без всякой аллегоричности явил себя официальным педерастом, чётко указав путь, по которому должна пройти молодая украинская демократия.

Да, отношения «пан—холоп» налицо. Но что может объяснить стойкость этих отношений, добровольную готовность на самоубийство со стороны «холопов» и их удивительную доверчивость к своим западным «панам»? Кажется, дело в том, что и «холопы», и их «паны» при всей разности внешнего блеска вполне схожи внутренне по одному глубинному качеству, имя которому — «местечковость». Что это такое?

Синонимами слова «местечковость» являются такие слова: *глухота, дремучесть, провинциальность, захолустность, наивность, отсталость, периферийность, простоватость* и т. п.

Не ошибёмся, если скажем, что местечковость обусловлена ограниченностью сознания, вызванного замкнутостью индивида на то, что ему уже известно, с полным отрицанием существования того, что выходит за круг понятий, им усвоенных.

Такой индивид горд тем, *что* он усвоил, точнее, присвоил. То есть только тем, что существует в его «местечке» — замкнутой области пространства, знаний, интересов, сведений, представлений и т. д. Иными словами, он гордится тем, что предназначено к исключительному употреблению «тільки для себе», только тем, что ему кажется выгодным и служит к возвышению этого индивида в собственных глазах. Это всё то, что, как ему кажется, подтверждает правоту, праведность, святость, непреложность собственных мнений, взглядов, привычек. Обратное, что хотя бы и несомненно указывает на противоположные качества этого субъекта, объявляется им как бы не существующим, ложным, выдуманным, не достойным внимания здравомыслящего человека, который, по определению, должен быть согласен с носителем местечкового сознания. Все несогласные — прочь с дороги и прочь из жизни, поскольку заведомо «не достойны жизни на земле», как изволили выразиться примерно в 2000 году афганские богословы-улемы, близкие к Усаме бен Ладену. Местечковому индивиду кажется, что и Бог только его слушает. В классические рамки местечковости укладываются заявления американских политиков о том, что «провозглашение независимости Крыма и провозглашение независимости Косова — это совершенно разные вещи». Или заявления о том, что

«события на Киевском майдане и события в американском Фергюссоне — это не одно и то же». Поражённый местечковостью субъект готов без колебаний разрешить себе то, что для других он считает страшным преступлением.

В интеллектуальной области местечковость проявляется как доктринёрство, которое, согласно определению старинного словаря, есть «узость мысли, упорное нежелание считаться с фактами действительности; рассуждения, основанные на отвлечённых положениях и не проверенные на фактах».

Именно Запад стал основным поставщиком религиозных сект. Неудивительно — ведь в духовной жизни местечковость проявляется как сектантство или ересь. Сектантство — общее название религиозных объединений (сект), отколовшихся от господствующей церкви. Сектантство — **это узость и замкнутость взглядов людей, ограничивающихся своими мелкими групповыми интересами.** Взаимосвязь сектантства с доктринёрством налицо. Можно сказать, что сектантство — это доктринёрство в области вероучения. Слово же «ересь», происходящее от греческого слова «выбор», т.е. направление, школа, учение, секта, говорит само за себя, поскольку поясняет, что все эти направления, школы, учения, секты появляются в результате того, что кем-то производится выбор желательного из всего многообразия существующего. Непременным элементом в технологии создания ереси является выделение из бесконечного разнообразия всего сущего какой-то конечной его части и игнорирование всего остального, которое по сути своей бесконечно. Местечковость заставляет отречься от бесконечного многообразия мира в пользу собственной ограниченности и узости. Местечковость выражается в желании «прогнуть» изменчивый в своём бесконечном многообразии богозданный мир под свою неизменяемую закостенелость и ограниченность.

Если смотреть вглубь этого явления, то корнем его нужно признать богоборчество, попытку обособиться от Бога, утомляющего ограниченное и эгоистичное тварное существо Своим бесконечным разнообразием. В религиозной области, то есть в области отношений человека к Богу, местечковость выразилась в идолопоклонстве. Вместо отношений с вечным, необъятным Богом, идолопоклонник выбирает отношения с самодельным, и потому до пошлости понятным идолом. Индивиду, поражённому местечковостью религиозного сознания, утомительно иметь дело с Богом, Которого нужно слушаться. Местечковый индивид желает иметь бога, который бы слушался местечкового индивида. Таким «богом» стано-

вится произведение местечкового сознания, заменяющее местечковому индивиду истинного, Живого Бога. Это изделие есть идол, кумир, истукан.

Идолопоклонство не стояло на месте. Начавшись с изготовления примитивных истуканов, оно впоследствии развилось до творения истуканов мысленных, наиболее опасными из которых являются ложные учения об истинном Боге, ложные толкования истинного Божественного откровения. Примерами таковых идолов являются извращённое понимание Моисеева закона современными Христу фарисеями, которое послужило основой для нынешнего талмудизма. Римско-католичество, пожелавшее заменить Бога, ставшего человеком, на обожествлённого человека, занимающего должность епископа города Рима. Мудрования протестанствующих «богословов», продолжающих традицию римского схоластического богословствования. Человеческие мудрствования «понятны» греховному человеческому разуму, поскольку он узнаёт в них «своё» и «любит своё» (Ин. 15, 19), греховное разумение. Эти мудрования и есть тот «бог», который слушается во всём своего создателя. Мир, отпавший от своего Творца и «лежащий во грехе», поражён болезнью местечковости, и потому он ненавидит и своего Творца, и всех, кто Ему следует. Сам Христос говорит Своим ученикам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел» (Ин. 15, 18).

Нынешняя революционная ненависть на Украине, так же как и вся западноевропейская цивилизация, выварены в ватиканском котле, который насквозь пропитан местечковостью, которую прекрасно обрисовал Ф.М. Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе»: «О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмём на себя. И возьмём на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред богом».

Разрешение на грех радует и нынешних украинских свидомитов и западно ориентированную «элигу». Не зря же один из таких «элитариев», особо отличающийся своей тягой к «разрешённому» греху, заявил: «...если вы не украинцы — то убирайтесь прочь!.. **Если вы не украинцы — вы не слышите Бога!**». Поэтому неудивительно, что и западноевропейская «элита», и западноевропейские «рагули» столь единодушны в своей антироссийской истерике. Россия, несмотря на все

грехи своих граждан, не признаёт учения о «разрешённом грехе» и в украинской трагедии исполняет слова Божии: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убийство?» (Притч. 24, 11). Запад же, напротив, выдал злобной местечковости свидомитов своё «разрешение» на безнаказанное убийство всех, кто не принял ценности киевской хунты. Тем самым западная злобная местечковость обрекла миллионы жителей Новороссии на смерть за то, что они живут не по правилам западного «местечка». При этом она глубоко возмущена тем, что Россия противится желанию палачей. К этому местечковый доктринёр абсолютно не готов, это его искренне возмущает.

Местечковый доктринёр не готов к тому, что завтра Бог может предложить ему то, чего нет в его местечке, и тем более — покинуть это насиженное местечко. В этом отношении он — полная противоположность отцу всех верующих Аврааму, который по повелению Бога оставил свою страну, свой народ и отправился навстречу неведомому, укрепляясь лишь надеждой на Бога. Местечковый доктринёр не желает услышать от Бога: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12, 1). Во внутренней жизни это выражается в неприятии покаяния, которое означает отказ от привычного, но пагубного греха, в неприятии самоосуждения, которое означает признание собственного несовершенства и призывает к усилиям по собственному изменению. Одним словом, духовная местечковость есть непослушание своему Творцу, Который зовёт нас из насиженного болота собственной греховности в оставленное нами ради греха Небесное Отечество — истинный наш дом, неведомый закоснелому грешнику.

Многообразная местечковость пронизывает всю западную культуру, которая выросла на соках римо-католичества, наиболее масштабно заявившего манифест вселенской местечковости, объявив епископа города Рима никем иным, как «главой Церкви Христовой» и «наместником Бога на земле», презрев совершенно ясное свидетельство того, что «Христос глава церкви» (Еф. 5, 23). Западная часть Церкви отказалась иметь дело с Живым Богом, Которого невозможно заключить в жёсткие, неподвижные рамки собственных умопостроений, Который «не слушает грешников» (Ин. 9, 31), но Которого должен слушаться грешник, чтобы спастись. А такие рамки — необходимое требование умственной местечковости, которая требует, чтобы всё всюду было бы «як у нашем містечку», чтобы вместо Живого, Неведомого Бога всюду стояли самодельные, понятные и послушные своим творцам

идолы. Местечковость объявляет своё местечко «превыше всего». В гитлеровской Германии это звучало как «Deutschlandüberalles», в несчастной нынешней Украине это выразилось в пародийно-местечковом «Україна понад усім».

Местечковость не готова ко встрече с жизнью, поскольку жизнь не собирается укладываться в уготованный гроб местечкового мышления. В этот гроб можно уложить только лишь труп жизни, которую для этого надо убить, запретив ей перечить неуклюжим схемам местечкового мышления. А если жизнь не удаётся убить, то она изгоняется, а вместо неё в приготовленный гроб кладётся идол — искусственное создание, чем-то напоминающее жизнь и, в отличие от неё, во всём согласное с любыми пожеланиями местечкового доктринёра, еретика, сектанта.

Этим, очевидно, схожи представители западноевропейской «элиты» и украинские «рагули», сливающиеся в едином экстазе ненависти к России, которая, в отличие от них, всегда готова на изменения, предлагаемые жизнью, и не увязла в мёртвых схемах, столь свойственных западному доктринёрскому мышлению.

«Все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Небом» — эти слова западного поэта обозначают, наверное, то, что жизнь в России во многом зависит не от человеческих мнений и желаний, не от человеческих договоров со своими странами-соседями, но от воли Божией, от вечного Завета со Христом. В России более чем в других странах очевидно, что «человек предполагает, а Бог располагает», что происходит всё «не так, как ты хочешь, а как Бог даст». Эта близость, иногда невольная, неожиданная, России к Богу, сильно раздражает местечковых доктринёров. Наверное, именно в этом кроется корень западной извечной русофобии, а лучше сказать, русофагии — желания Россию «сожрать», уничтожить, исключить из условий, определяющих условия действительности, которую местечковый доктринёр желает выстроить по своей воле, по своему разумению.

Западные доктринёры не были первыми, кто провозглашал местечковость как норму жизни. Они только лишь придали местечковости парадоксальный статус вселенского явления, объявив епископа города Рима Вселенским Первосвященником, а вслед за этим и вселенскую обязательность подчинения западному т.н. «христианскому міру», возглавляемому этим «вселенским первосвященником». Они имели предшественников, которые, ослеплённые идеей своей духовной местечковости, отказались принять собственного Спасителя, возвещённого пророками,

которых они на словах чтили. Не только отказались принять. Но и добились позорной, мучительной казни, чтобы убедить самих себя в том, что добились, якобы, смерти преступника и злодея. Добились Его казни не потому, что были убеждены в Его виновности, но напротив — потому, что были уверены в Его праведности, бесконечно превосходившей их собственную самодельную, местечковую, мнимую праведность. Согласно созданной ими самими картине мира, они должны были занимать вершину пьедестала «чемпионов святости». Но вопреки их доктрине появился Тот, Чьё одно присутствие разрушало все их построения и уствования. Такого оскорбления местечковое доктринёрство выдержать не может и всегда требует физического, действительного, фактического уничтожения несогласного с ним оппонента.

Корень западной ненависти к России есть отросток того корня, из которого выросла ненависть фарисеев ко Христу, побудившая их совершить страшнейшее во всей истории человечества преступление — Богоубийство. Но даже совершившим его Бог не закрывает пути ко спасению. Правда, условие его принятия для многих оказывается невыносимо тяжёлым — нужно отказаться от того, что любовно скоплено «для сэбэ», то есть отказаться от своей духовной местечковости, от самого себя греховного ради обретения себя богоугодного, иными словами — принести покаяние в своей неправедности перед Богом, которую до этого ложно принимали как праведность.

Западная культура, выпестованная Ватиканом, слишком глубоко проникнута духовной и интеллектуальной местечковостью. Это выражается и в тех областях, которые напрямую касаются западной религиозной жизни, как католической, так и протестантской, то есть, в отношениях западного человека к Богу. Это выражается и в отношении западного человека и всей западной цивилизации, как к человеку, так и к миру. В чём конкретно это выражается? Вот некоторые, наиболее яркие примеры.

В церковной жизни:

— Древнее желание приписать епископу города Рима уникальные свойства, якобы возвышающие его не только над любым другим архипастырем, но и над всей полнотой Церкви Христовой, которое впоследствии выразилось в принятии догматов о первенстве и непогрешимости епископа города Рима;

— Самовольное включение в текст Символа Веры добавки об исхождении Духа Святаго не только от Бога Отца, но «и от

Сына» (*filioque*), которое впоследствии, несмотря на законное сопротивление благоразумной части Западной Церкви, было навязано из политических мотивов в качестве официального вероучения и положило начало западному небогодуховенному богословию, основанному на человеческих сиюминутных умствованиях;

— Схоластическое богословие, опирающееся на соображения человеческого разума более, нежели на Божественное Откровение. Кроме широко известных увлечений Аристотелем и прочей античной учёностью, Фома Аквинский, например, в «своих трудах ссылается на «раби Моисея», обнаруживая своё глубокое знакомство с «Наставником». Речь идёт об известном талмудическом учёном XII века Раби Моше бен Маймоне (1135—1204), известном также под именами Маймонид или Рамбам, и его знаменитом труде, «замечательном философском манифесте иудаизма «Морэневухим» («Наставник заблудших»)»;

— Протестантское богословие, которое основным принципом выбрало утверждение, что для познания истины достаточно чтения одного лишь Писания (*solascriptura*) и «здорового разума» (!) для правильного (!) его понимания. Чем фактически было провозглашена достаточность человеческих греховных сил для познания Бога. На деле это выразилось в создании огромного числа различных мнений о Боге, то есть мысленных идолов — «богозаменителей», приспособленных под тот или иной богословствующий ум;

В светской жизни эти искажения западной церковной жизни последовательно привели к следующим явлениям, корень которых тот же, что и в западноцерковных отклонениях — возвеличивание человека и его умственных способностей и забвение того, что и человек, и его способности теряют всякое значение в отрыве от Источника Жизни, Разума, Истины — Бога:

— Гуманизм, породивший эпохи Возрождения и Просвещения. По сути — человекобожие, почвой которого послужил схоластический способ рассуждения с примесями откровенно чуждых христианству учений, из которых и схоласты не брезговали почерпнуть мутной мирской мудрости;

— Западноевропейская философия, крупнейший представитель которой Иммануил Кант выразил манифест религиозной местечковости знаменитой фразой: «Бог — не существо вне меня, а лишь моя мысль»;

— Эволюционистская философия, которая была принята как якобы «научная» теория, которая в качестве наднаучной

философской парадигмы подчинила себе западноевропейскую науку, ставшую «служанкой эволюционизма»;

— Нынешняя концепция т. н. «общечеловеческих ценностей», которая важнейшими «ценностями» провозгласила всю совокупность богоборческих извращений человеческого естества.

И последним по времени штрихом, рисуя картину вселенской местечковости, является безобразное постановочное действие, творимое ныне на многострадальной Украинской земле, вокруг которой всё безбожное общечеловеческое местечко исполняет гнусный ритуальный танец смерти, заявляя свою автономию от Бога и нежелание жить по Его законам, призывая на царство антихриста — вселенского местечкового бога, которому эти местечковые доктринёры готовы радостно воздать всякую честь и поклонение, благодаря за то, что тот «разрешил им грешить», не задумываясь о том, что это «разрешение» есть не что иное, как приманка, увлекающая не желающего отказаться от греха человека в ужасную пучину вечной гибели.

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Иван ЧУРКИН

НЕ ВЕЛЯТ МАШЕ ЗА РЕЧЕНЬКУ ХОДИТЬ

В пору своего женского цветения они для меня были самыми настоящими бабушками — бабушка Маша и бабушка Агая. Измученные крестьянской работой с утра до вечера, большими непоседливыми семьями, мужьями вечно навеселе, — они и в 40 выглядели старухами. Это потом уже, будучи взрослым человеком, я старался вглядеться в их тогдашние глаза и понимал: взгляды были озорными, движения быстрыми, а языки острыми.

На нашей улице не было дома приветливее, чем дом бабушки Маши. Он стоял на высоком месте и, сам высоченный, открыто смотрел на село многочисленными чистыми и уютными окнами. Через овраг красовался единственный на всю округу не закрытый властями храм. Отсюда как на ладони видны прозрачные берё-



ПРОЗА

зовые рощицы и седой древний лес. Кто ни проедет, кто ни пройдёт, всяк обратит внимание, как в окнах дома бабы Маши блестят и радуются в солнечных закатных лучах подсинённые купола храма.

Вот сюда-то и собирались всей улицей люди. Особенно в праздничные дни — на Пасху, на Спасы, на Троицу.

Не помню, как другие улицы, а наша всегда собиралась здесь на завалинке. Всегда под вечер: дети сыты, гости выпровожены, скотина убрана. Приходили довольные, нарядные. Мирно текла беседа, лузгались семечки. И была в таких встречах одна ожидаемая неожиданность: когда же зазвучит песня?

Водилось за Машей и Аганей одно чудачество, — они пели. Не часто, только по праздникам, во весь голос, хотя многие шептались, что наедине они всегда вполголоса напевали свои любимые песни. А любимых было множество — и горьких, и весёлых, и протяжных, и быстрых. Только протяжных больше.

Баба Маша всегда вела первую партию. Она вплетала в слово такие подголоски, от которых душа смеялась и плакала. Неграмотная, она чисто подавала звук и ни разу не навредила слову, не оскорбила его неправильным ударением. Рвала слово на части, а выпевала его, словно берегла.

У бабы Агани был второй голос, низкий, бархатный, с чуть заметной хрипотцой. Скорее всего, это сильный голос, но она, как только заигрывал голос подружки, словно накидывала на него передничек, и он лился складно, как туман на августовской реке, — возникал ниоткуда и украшал товаркино пение. А когда голоса соединялись, все понимали: бабушки не поют — нежат песню, лелеют, выращивают.

В такие минуты не только сказать — голову повернуть грешно, потому голоса не спотыкались, не отвлекались, а лились речкой, наполняясь силой и чувствами, по всему селу.

— Маша с Аганей поют! — говорили на других улицах, и текли люди на песню, на нашу завалинку.

Чаще всего, если мне не изменяет память, начиналось всё с «Уж ты, сад, ты мой сад». Незамысловатая на слова песня, а на смысл особенная, как и на мелодию тоже. О любви, о беглянке наперекор родителям за любимым дружкой, с греховным началом: «Мне не жалко мать-отца, жалко молодца».

Была у бабушек в этой песне одна вольность: они перед последним куплетом останавливали пение, обменивались мнениями и, сражённые молчанием и взглядами соседей, так принимали голоса, что тишина лопалась от напряжения.

И сразу же без перерыва ещё одна песня — «Что запил,

загулял, друг Ванюшечка». Здесь уже все наплачутся — и певичы, и слушательницы — по своей тяжёлой доле, каждая по-своему. А потом третья песня, четвёртая, и так до тех пор, пока солнце не сядет.

На завалинке я был самым маленьким. Забивался на краю лужайки в народ и слушал. Многого не понимал, а голоса помню до сих пор.

Да только ли это? Помню раннюю весну, забежавшую в наши края в феврале на минуту, а задержалась она на долгое время. Сразу же расплакались сосульки. Скособочились сугробы у дворов и пустили сырость. Раскудахтались куры во дворах. Синицы не смотрели в сторону наших кормушек, не дрались там за пшённые зёрнышки, а выбирали проталинки и там швыряли оттаявшую землю в надежде найти хоть капельный росток зелёной травки.

А потом, как солнце раздумянилось, и вовсе настоящей весной запахло. Ручейки побежали, да прямо по утоптанному снеговому тропинкам. В полдень лёд на большом пруду треснул, и в открывшуюся воду бросились с горы гуси.

Вот им радости привалило. Плюхались брюхом в воду, карабкались на скользкий лёд, цеплялись за острые его края красными лапами, а легко взобраться не удавалось. Рассерженные хозяйки выманивали гусей, ругались, обещались в супе съесть, а тем всё нипочём. Весна же! Чего кричать? Этому радоваться надо.

В итоге хозяйки отступали и смеялись над неповоротливой птицей: «Да вам же хуже, наплавааетесь — придёте, бегать за вами не будем».

Под вечер на пруду остался один-единственный гусь. Он карабкался из полыньи, вытягивал шею и тревожно кричал, а выбраться из воды не мог. И так мне его жалко стало, что осторожно ступил на лёд и, не отрывая ото льда валенок, пошмыгал в сторону гуся. А тот понял, что я иду ему на выручку, подплыл к кромке полыньи с моей стороны и расправил крылья. Бери меня скорее!

Короткая дорожка, а длинной получилась. Не бегу же, не иду, а осторожно шмыгаю. Дошёл. Гусь и шею вытянул, и желтоватый глаз прикрыл: не поймёт, чего тяну время. Нагнулся, схватил гуся за шею и перекинул его через себя.

Гусь почти на берегу, а я в воде. Сапоги тяжёлые, полушубочек намокает. Хватаюсь руками за лёд, а он мало того, что скользкий, ещё и ломается.

А сапоги всё тяжелее. А полушубок, и без того тяжёлый, становится свинцовым и тянет под воду. Ну, тут я закричал. И что же?

Откуда взялась бабушка Аганя, не знаю. Может, к подружкам ходила да мимо пруда шла. Может, в магазин за хлебом-сахаром бегала, только оказалась она на берегу, на проталинку vareжки бросила и бегом-бегом к полынье. За мной бежит, не кричит, а уговаривает:

— Ты, сынок, только продержись капельку, капелюшечку. Сейчас мы с тобой выберемся.

И выбрались. Подхватила она мой полушубок за воротник и вытащила меня из воды. Рукой мокроту сшибла и на берег выволокла.

— Ну, ты не плачь, не плачь, всё уже позади. Тоже мне — мужик, да разве мужики плачут. Как же ты, горюшко луковое, в воду-то попал, ведь не гусь же.

— Гуся вытаскивал, вон он стоит.

Тот и вправду на пригорке стоит и в нашу сторону шею тянет.

— Вот же беда-то какая, — опешила бабушка Аганя, а сама с меня сапоги сняла, шерстяные носки стащила и выкручивает их.

— Воды-то сколько... А ведь и вправду весна, ты гляди, что делается, встали бы сейчас старые люди, посмотрели: как время меняется.

Кто такие старые люди, и откуда они должны встать, я не знал, а запах зимней весны помню до сих пор. От проталины, на которой мы с бабушкой Аганей стояли, шёл необыкновенный запах — пахло отдохнувшей землёй и оставшейся с осени травой. Аж нос защекотало.

— Вот ещё и расчихался, ты уж смотри, не захворай.

— Я-то не захвораю, ты только у нас дома ничего не рассказывай.

— Да Боже упаси, разве скажу чего.

Не прошло спасение гуся для меня даром. Температура поднялась к вечеру, а потом и горло всё захолонуло. Фельдшерица долго надо мной колдовала и всё повторяла: «Ангина».

Хоть и давал слово не захворать, а в беспомощности провалялся несколько дней.

Домашние приносили мне лекарство, бабушка часто молилась перед иконами. То ли от лекарств, то ли от тихой и спокойной бабушкиной молитвы, но глаза мои склеивались, и я проваливался в глубокий сон.

Через забытьё я вдруг услышал песню.

— Не велят Маше за реченьку ходить, не велят Маше молодчика любить, — струился спокойный, будто зыбку качает, низкий голосок, и я, не открывая глаз, понял: это бабушка Аганя поёт.

— Ты чего же плачешь, бабушка Аганя?
— Что ты, что ты, это тебе показалось, — отвернулась от меня Аганя. — Вот чего придумал! Я навестить тебя пришла. Присела вот, да и запела, ты уж прости, что разбудила.

— А ты спой ещё, — и столько в моём голосе просьбы было, что Аганя продолжила оборванную песню.

— Не велят Маше молодчика любить. Любитель дорогой, ты не ведаешь печали никакой, — полился голос.

Горькая песня оказалась, такую они с бабушкой Машей на праздничной заваulinке ни разу не пели. Я всего-то из песни не понимал, но по тому, как сначала плавно плыл, а потом прерывался голос, становилось ясно — плохо девушке, не радостно, горько.

Вместе с Агашиной песней текли по моему лицу слёзы, они не были горячими — они были светлыми и радостными.

...Давно уже нет на этом свете дорогих моему сердцу бабушки Маши и бабушки Агани. В их домах живут другие люди, тоже крестьяне. Окна домов продолжают блестеть чистой и уютной, а вот не звучит здесь больше песен. Наших. Родных. Русских.

Татьяна ГРИБАНОВА

ПОКЛОН ПРОСЁЛКУ

Чумазая, то бархатисто-пыльная, то натруженно-мозолистая хуторская дорога вырывается, наконец, на волю — за Митрохину околицу. За корявый, в серебристо-плешивых рюжинах тёрень, за тухлявый, отдающий гречишной мякиной, расхристанный недавними вешними ветродуями стог.

Выбегает дорожка и сразу же, будто баба хуторская, собравшаяся погостить денёк-другой в райцентре у сына, причепуривается. А как же! Не куда-нибудь — в Сенькину балку или в дальние покосы, а к большаку спешит.

Ныряет с горушки в низину и — прямоком к Жёлтому. Окунётся спозаранку, умоется. Водичка взбодрит путницу — ключики недалечь, а солнышко только проклюнулось — не прогрелся ручей, студёный. Поплещется — и по камушкам,

по голышам-валунчикам, по скрипучей, прогинающейся до самой воды, обросшей склизкими тинами тесинке, на тот бережок. Заскользит, зашуршит в полусонных тростниках нарядной малахитовой ящеркой. Без особого труда вскарабкается по крутому песчаному склону на Стешкин бугор.

Передохнёт на крутояре, полюбуется зорькой, что пролилась малиновым цветом за Сидоровым садом. Опять эта Сидориха варенье спозаранку стряпала да не доглядела. Убежали пенки розовыми туманами за порог, растеклись по пойме, клубят, кипят над продрогшей за ночь Кромой.

Опомнится просёлок — даль-то ещё немалая! Задержался! И заскользит, обивая росу с барашковых тысячелистников по-над Плоцким логом, по самому краешку ячменного поля. Иногда, если просёлок заступает ячмень, словно ворчливый старик, которому отдавили застарелую мозоль, просёлок водит недовольно усами и, шурша, пыхтя, выталкивает непрошеного гостя восвояси.

А ему, просёлку-то, нипочём! Да на бровке не хуже! Кузнечики хрусткими ножницами утро кроят — любо-дорого! Цикорий голубыми мотыльками мельтешит. Вон русачок наперерез мотнулся, видать, к Савину логу в овсы торопится.

Перекинувшись через Закамни, дорожка вбегает в подсолнечник. Никак его не обойти — конца и края не видать. Пробирается просёлок в зарослях чуть ли не двухметровых и чувствует, что дурманит от духа терпкого, от жужжания пчелиного монотонного. Петляет, будто облудился. Знать, Лешак кружит-насмехается. Может, и впрямь здесь чертовщинка водится? Петруха навеселе с Казанской из соседней деревни шёл, двое суток выйти не мог. Бабка Михеевна с плетушкой боровиков из Копытец плелась, истоптала лошину эту заворожённую вдоль и поперёк, полдня плутала.

Не успевает притомиться дорожка, а тут и просвет в пяти шагах. Слава богу! Не дал бесовщине покуражиться. Отпустил Блуд-нехристь с миром. Испокон веку места эти шалят. Бегом, бегом от них подальше! И припускает, что было духу!

Обежав стороной сторевший омшаник, останавливается просёлушка у родничка напиться, передохнуть. Оглядывается: кипрейник-погорелец склоняет вдогонку свои лиловые султанчики, словно хочет рвануть следом, посмотреть, куда это просёлок разбежался, не остановить. Что там есть такого, чего у нас не может быть? Что за Мишкиной горой, за Ярочкиным логом, в непроглядных от хутора краях, к которым год за годом бежит, не догнать, эта непоседливая полевая дорога? Даже облака за просёлком не отстают, то забегут вперёд, то чуть замешкаются, а всё-таки рядышком.

Стелется половиком домотканым просёлочек, будто нарвала бабушка Анисья лоскутов-тесёмок и на стане, доставшемся ещё от матушки, наткала подстилок. Вот они и разлеглись по луговинам да пригоркам. Ситцевый лоскуток — от внучковой рубашонки — жёлтыми да зелёными кружочками, — одуванчики придорожные. Штапельный лоскутик — пёстрый да весёлый — от платья, что Аксиньюшка в покосы по молодости наряжалась. На нём и васильки, и лютики, и купавки с лесными гвоздиками.

Из Савина лога выскакивает чуть приметная стёжка, привязывается, припутывается к просёлку росстанью-петелькой. И — по следу, по следу за ним поспешает.

Пока просёлок до большака добегает, сколько тропок-тропиночек за собой сманивает. Нацепляет их несчитано, будто репёв Митрохина Найда, гоняясь по подгорью за сусликами.

Аистам, летающим с гнезда в Гнилое болото за лягушками, видно, как по полям, долинам и холмам стекаются стёжки-тропы к просёлку, будто к реке ручейки да малые речушки. Впитывает он мелюзгу и — вперёд, к большаку, к полноводной артерии, к главной районной дороге.

Перелесками да косогорами катит просёлок без оглядки, а как заслышит на большаке хрипы стальных коней да учует зловонный бензиновый дух, сбавит шаг, остепенится-заважничает. Мол, и мы, не гляди, что из простецких, не льком шиты, хоть и по сю пору лаптем грязь хлебаем. Знает счёт таким, как он. Сколько их, безвестных, шмыгает по земле нашей босыми ногами, кирзовыми да резиновыми сапожищами.

Порой неприметна просёлушка вовсе. По ней, может, всего-ничего и проехали-то за год. А всё-таки дорога!

Затеряет её, родимую, лихими метелями, не пройти, не проехать. Но остепенится непогодь, закалянеет наст, глядь, уж и следок санный обозначился. Не сбился, аккуратно по занесённому просёлку. Прокатит мужичок разок-другой, притухнёт сенцом-соломою, яблоками конскими разукрасит, и вот она, снова оказалась наша русская деревенская путь-дороженька.

Укатается за зиму, по весне уж и снега сойдут, а уезженный след всё тянется белесыми пеньковыми вожжами через месиво полей, через оползающие от размашистых вешних дождей косогоры. Размоют апрельские проливни полёвку вдоль и поперёк, оголят пески и суглинки — нет хода.

Но к Пасхе потихоньку, помаленьку зарастёт она муравой, дикой геранькой да лопушками подорожника. Обочь её

пробьются-рассинеются невыводимые в наших краях чертополошины, разбутонятся пурпурные татарницы.

Знойным летним полднем прокатит по просёлку на велике, рассечёт парное марево Миколавнин внучок Гошка, сосланный на каникулы под пригляд престарелой бабки. Подхлестнёт-прогонит дед Кит из Хильмечков блудную телушку Майку. Прошмыгнут бабы с кошёлками куманики, общёлкают просёлушку конопляной шелухой. Проспешит Илья на косовицу. Вот и весь летний распорядок дорожки.

Ближе к осени, правда, наедут городские за опятами-рыжиками. Пофырчат, почадят «Жигулями», обгают перелески, накидают на привале бутылок-банок, и опять — ни души, только гуляй-ветер да мелкий нескончаемый ситничек.

Люба душе русской эта простенькая полевая дорожка. Нет лучше места для думок. Потоскуешь с отлётными птицами, промелькнёт месяц-другой, а там и опять смотри-радуйся: дичка приобоченная в цвету, васильки подмигивают задорными глазами, мол, не робей, сколько вёрст пройдено! Дай бог, чтоб осталось побольше!

Приумолкли бы шоссейки-бетонки, исчезни незатейливые, неказистые, но такие живучие российские просёлки. Тянется испокон веку к большаку по горячей летней пыли, по вешней распутице, по осенним хлябям-рытвинам, по первопутку, по нескончаемым ухабам продукт деревенский: и сальцо, и хлебушек, и фрукт-овощ всевозможный.

Сколько наших вышло просёлками, по бездорожью, на широкие жизненные пути в науку, в искусство, да и в рабочую братию. Жаль только, несравненно меньше свернуло на полевую дорожку с большака. Заманили, увлекли в невозвратные дали бетонные трассы тех, кто однажды ступил на их жёсткое, бессердечное покрытие. Не вернули, затеряли, и след простыл. Вывел просёлок на большую дорогу — ну и ладно, рванули, не обернулись.

Просёлок-то, он — родимый. Он забвение простит, как отец чаду своему. Он ведь помнит, как учил за ручку ходить, бережёт на обочинах памяти следы наших босых ног, не забыл и прощальный день. Простит... только бы пути наши были праведные.

СУХАРЕВА БАШНЯ

В маленькой кухоньке, где, кроме стола, умещаются лишь плита да холодильник, сидят Лизавета Лукинишна Семьиндейкина, старуха с огромными выцветшими глазами и плоским, как блин, седым пучком на макушке; и её дочери — Августина и Юлия — старухи помоложе. Пьют чай вприкуску.

У Лизаветы Лукинишны чайная пара тонкого фарфора с мелкими розовыми цветочками по белому полю. Перед Августиной — огромный бокал, на огромном, напоминающем суповую миску, блюде. Юлия пьёт чай из старенькой красной чашечки с белыми горохами. В одном месте край чашки отколот. Блюде же всё покрыто паутиной мелких трещин.

Возле Лизаветы Лукинишны лежат сахарные щипчики. Время от времени она захватывает их и колет куски рафинада. Наколотый сахар свален посередь стола белой горой. Рядом в глиняной сахарнице с отколотой ручкой лежат конфеты. Тут же на блюде — яблоки и несколько синих слив.

Пьют молча. Слышно только звонкое причмокивание да прихлёбывание. Да по временам звенит муха на стекле. От горячего чая и густой июньской жары все красны и потны.

Разложив на столе рыхлую грудь, Юлия вся точно обмякла и просела. На коленях у неё кухонное полотенце, которым она промакивает широкое лицо. Опершись о стол острыми коричневыми локтями и подперев левой рукой голову, Августина энергично обмахивается газеткой.

Размеры стола, вплотную придвинутого к окну, позволяют участницам застолья обозревать происходящее на улице. Но оттого, что там ничего не происходит, на лицах сестёр разлита скука смертная. Не то Лизавета Лукинишна. В глазах её написаны одновременно грусть и неудовольствие. Остатки бровей сдвинуты, губы плотно сжаты. По всему видно, что думает она о чём-то для себя неприятном.

— И зачем? — внезапно шумно вздыхает она. — Зачем снесли Сухареву башню?

От неожиданности Юлия вздрагивает и роняет полотенце. Августина перестаёт обмахиваться и многозначительно смотрит на сестру. Та пожимает плечами и наклоняется под стол за полотенцем.

— Что это ты, мам, про башню-то опять вспомнила? — осторожно спрашивает Августина.

— И далась она тебе, — вторит ей Юлия, выбираясь из-под стола и отдуваясь.

Лизавета Лукинишна негодующе цокает языком и строго смотрит на дочерей.

— Много б вы понима-али-и! — плаксивым голосом, нараспев говорит она. — Я её, матушку, как сейчас помню... Как закрою глаза-то, так и вижу её, так и вижу... — Слова «так и» произносит слитно, отчего выходит у неё «таки». — Стоит она, голубушка, нарядненькая... как невестушка...

И Лизавета Лукинишна действительно закрывает глаза и начинает методично раскачиваться. Недовольное выражение её лица сменяется блаженным.

Сёстры с затаённым страхом смотрят на мать.

— Да будет тебе, мам, убиваться-то, — говорит Августина и вздыхает. — Снесли и ладно. Новую построят. Знать, мешала, что снесли. Там же... это... трамвай, что ль, ходил... или конка.

Юлия толкает сестру локтем и укоризненно смотрит на неё.

Лизавета Лукинишна перестаёт раскачиваться и открывает глаза.

— Да ты очувствуйся, Авета! Чего говоришь-то? Кому-ита она помешала? Да другой такой башни на всей Москве отродясь не было... Стояла она, голубушка, на пригорочке... красинькая вся такая, солнышком осиянная... — Лизавета Лукинишна, молитвенно складывая руки и устремляя взгляд в небытие, опять принимается раскачиваться.

Сёстры переглядываются.

— Ох, Царица Небесная... Кому ж это она помешала-то... кому-у-у... кра-синь-ка-я... наряд-нень-ка-я...

— Ма-а-ам! — просительно говорит Юлия. — Ведь её снесли-то уж когда?.. Чего ж ты по сей день всё убиваешься?

Но Лизавета Лукинишна, увлёкшись воспоминаниями, не слышит обращённого к ней вопроса.

— Красинькая... — причитает она. — Ажурненькая... Глаз ведь радовала... Бывало, едешь по Мешанской, а она стоит, уж встречает тебя, голубушка... Невольно ей улыбнёшься да поклонисься. Здравствуй, мол, матушка... Её издалё-ока видать... На горке стояла. И этакую красоту изничтожить... — Она цокает и мотает головой. — Ох, анчутки! На Москве-то две башни было — Ивана Великого да Сухарева... Всё одно, что две руки... Ан нет, отсеки одну. Таки осталась Москва однорукою... Д-а-а! С Мешанской видать... — Лизавета Лукинишна всхлипывает, а недоумение и страх на лицах сестёр сменяются жалостью и сочувствием. — А мы-то смотреть бегали, как её ломают... Вначале верхушечку, потом часики, а там уж всю остатнюю по кирпичикам занесли... А мы-то

стоим в стороночке и смотрим, а слёзы-то таки капют, таки капют... Гдейта за месяц до Петрова дня, вот как сейчас время-то было, её и разнесли, голубушку... А кирпичиками-то её улицы после мостили. Таки растоптали её, матушку...

Слёзы, стоявшие до сего момента в глазах доброй старушки, полноводным потоком изливаются на морщинистые щёки. Она опускает лицо и закрывает его цветастым передником.

Вслед за ней всхлипывает Юлия. И представляется ей, как мама, молодая совсем девушка, фланирует взад-вперёд по Мещанской, смеётся и посматривает на молодцов. И что одета она в шнурованную кошулю и красный беретик. А на ногах у неё парусиновые белые туфли. И вовсе не жаль Юлии Сухаревой башни, знакомой разве что по картинкам да рассказам мамы. Нет. А жаль ей, что молодость проходит, и всё хорошее остаётся где-то там, на пересечении Садового и Сретенки. Там, куда уж вернуться нельзя никогда.

— Ну, а ты-то чего?! — спрашивает Августина. — Ты-то чего завyla?

Но Юлия, закрывшись полотенцем, только вздрагивает в ответ. Вздрагивают её плечи, вздрагивает лежащая на столе грудь, вздрагивает двухэтажный подбородок.

И глядя на то, как мать и сестра, самые родные, самые близкие ей люди умываются слезами, Августина чувствует, что глаза начинает предательски щипать, а в носу пощекатывать. И когда вернувшийся с прогулки внук Юлии Ваня, рыжий мальчик лет 13 с полным, добродушным лицом, заглядывает в кухню, он застаёт трёх старух сморкающимися и утирающими лица.

— Опять, что ли, Сухареву башню вспоминали?! — ехидно спрашивает он, переводя глаза с одной фигуры на другую.

Анатолий КОЗЛОВ

УБИТЬ СВИНЬЮ

День выдался тяжёлый с самого утра. Вначале Шестаков сдавал последний экзамен. Потом бегал по магазинам — покупал продукты в дорогу, подарки. А тут ещё накануне очередных выборов кругом столпотворения сплошные, милиция, пробки — словом, как сговорились все. В поезд он сел вече-

ром — взмыленный, измотанный до чрезвычайной раздражительности так, что вспыхивал и ругался по малейшему поводу. Быстро попросился с женой и дочкой и скорее залез в вагон, чтобы напоследок им не испортить настроение окончательно. Плацкартный вагон был почти пуст. Место оказалось на нижней полке. Тем не менее перед самым отходом поезда напротив него уселся бородатый дядька, весь седой, но молодцеватый, с двумя огромными кошёлками «мечта оккупанта», с какими обычно ездили «челноки» в Турцию или Польшу.

— Пётр Иванович, — представился он. Шестаков тоже назвал своё имя. — Студент?

— Заочник.

Дядька махнул головой не то с пренебрежением, не то одобрительно.

— Студент, значит. — С этими словами он раскрыл кошёлку и начал, как джинн, метать на столик харчи.

— Докуда едешь?

— На Урал.

Шестаков предусмотрительно достал из сумки книжку и стал с повышенным вниманием усердно пялить в неё глаза.

Дядька поставил на стол литровую бутылку «Синопской» водки и, со звоном щёлкнув по ней ногтем, подмигнул Шестакову:

— Ну, студент, давай по случаю знакомства!

Шестаков окинул обильно сервированный стол и, сглотив слюну, кисло улыбнулся.

— Спасибо, я ужинал.

Дядька обнажил два ряда крепких белых зубов.

— Чудак, я же не есть предлагаю, а так — по пять капель, чтобы не скучно ехать было, ну и закусить конечно. Я тебе скажу, — говорил он, открыв бутылку и наливая в пластиковые стаканчики, — без закуски никогда не сажусь за это дело, — и он снова смачно дзенькнул по бутылке. — И не люблю этого, как вон алкаши — лишь бы чего влить в себя и не закусывают специально, чтоб развезло быстрее. А тут ведь всё своё, домашнее: курочка — жена утром поджарила, огурчики, сальцо — сам коптил, чесночок, м-м-м. — У Шестакова потекли слюнки и выступили слёзы. — К кому едешь-то? К родственникам?

— К матери!

— О! — Дядька сделал серьёзное лицо. — Это же другое дело, за мать надо обязательно, за здоровье, за долгих лет!

Шестаков, вздохнув, отложил книжку.

— Ну разве что за маму, за её здоровье...

— Обязательно! — сказал дядька, и они беззвучно чокнулись.

— В гости, значит, — крикая и закусывая, спрашивал дядька.

— Да вот кабанчика забить надо, вымахал уже будь здоров.

— Ну-у! — обрадовался дядька, — тут тебе повезло, я по этому делу спец, я тебе сейчас всё растолкую, — и он снова налил водку в стаканы.

Часа через три поезд окружила непроглядная ночь, казавшаяся ещё темнее из окна освещённого вагона. Стучали на стыках колёса, раскачивались на полках редкие пассажиры, елозили по столу остатки обильной закуси, плескались на доньшке в бутылке последние капли водки. Шестаков пускал крупные слёзы, положив левую руку на плечо дядьки-попутчика, в правой он держал пластиковый стаканчик и размахивал им, как жезлом.

— Я же его с соски поил, молоко-о-ом. А теперь сам заре-е-жу. Как жить после этого? Он вот таким был, вот такую-еньким. Он мне, как... как брат, ты понял?

Дядька тряс бородой и цыкал уголком рта.

— Свиныя как брат? Да ты что, Георгий? Что ж тебе его, до пенсии кормить?

Шестаков поднял мутные глаза.

— До чьей пенсии, до свинячьей?

— Да разве ж это пенсия, — сокрушался дядька, — только на своём хозяйстве и держимся.

— Так значит, зарезать?

— Зарезать его, свинью, как врага, как предателя! — рыкнул дядька и махнул в рот из стакана.

Шестаков звезданул кулаком по столу так, что у него съехали набок очки.

— Убью гада!

Он вышел рано утром на своей станции невыспавшийся, с больной головой, всё ещё пьяный и злой. Домой ввалился, чуть не сорвав с петель калитку, широко распахнув двери в комнаты. Мать ждала его, накрыв на стол. Между мисками с жареной курицей и горячей картошкой стояла чекушка.

— Жорочка, сыночек. — Мать бросилась к нему, быстро обняла, но, заметив в его взгляде странную рассеянность, отступила.

— Здравствуй, мама, — слегка затормозив, сказал Шестаков.

— Устал с дороги сынок, — забеспокоилась мать, — садись к столу, покушай. Всё свеженькое, встала рано, чтобы

приготовить к твоему приезду. Хорошо, что приехал, пособишь. Тут после ливня крыша потекла...

Шестаков тяжёлой походкой подошёл к столу, не присаживаясь, налил в гранёную стопку водки и залпом выпил. Мать смотрела на него с удивлением, прикрыв платком рот. Немного постояв и пожевав хлебный мякиш, он резко обернулся с налитыми кровью глазами и перекошенным ртом.

— Где эта свинья?

Мать отшатнулась.

— Что ты, сынок, о чём ты?

— Я его зарежу! — зверел Шестаков. — Хватит, покормили, пусть теперь он нас кормит!

— А-а, ты про кабанчика, про Борьку, — облегчённо вздохнула мать, — так там он, в сарае, у балочки.

Шестаков ринулся на кухню и стал рыться в ящиках буфета.

— Не то, нет, не этот, а где же?.. — бубнил он себе под нос. — Ага, вот. — В его руке тускло блеснул старый кухонный нож с лезвием из твёрдой легированной стали — не чета нынешним, из нержавеющей. Выставив его вперёд, как боевой кортик, он выскочил со стуком, распахнув входные двери.

Борька мирно дремал в углу на прохладной влажной соломе. На скрип входной двери он радостно хрюкнул и лениво поднялся, ожидая по привычке, что сейчас ему нальют в корыто нажористой поросячьей болтушки. Но увидев громадную фигуру, подозрительно подкрадывающуюся к нему, насторожился. Свиньи довольно умные животные, с недавних пор они даже поставлены на вооружение израильской армии для обнаружения взрывчатых боеприпасов арабских террористов и как психологическое оружие — арабы, так же, как и евреи, терпеть не могут свиней, считают их грязными животными.

Подойдя вплотную к загородке из досок, Шестаков чуть замешкался в раздумье. Тут до него окончательно дошло, что он ни разу свиней не колол, и, несмотря на подробные инструкции бородатого попутчика из поезда, очень смутно себе представлял, как это делается. «Он говорил: бей в сердце, чтобы наверняка. Хорошо — будем бить в сердце. Но где тут у этого хряка сердце? «Сердце у свиней четырёхкамерное...» — вспомнилась ему не к месту цитата из учебника по биологии. «Нет, не то. А у меня где?» Шестаков оглядел себя с ног до головы, нашёл место, где, по его предположению, должно быть сердце. Пощупал.

— Сердце, — сказал он негромко, — тебе не хочется покоя...

«Странно, а ведь у свиней тоже есть сердце и говорят, совсем такое же, как у человека. Неужели он тоже чувствует сердцем? Интересно, а бывают у свиней инфаркты? Да что я, в самом-то деле, рехнулся, что ли, — прервал он свои размышления. — Ладно, сердце у свиньи, как и у меня, с левой стороны груди. Да! Но где у кабана грудь? Когда кругом сплошная широкая спина, заплывшая жиром. Надо подойти поближе, а там разберёмся», — решил наконец Шестаков и полез за перегородку. От такого свинства кабан опешил — к нему в хлев ещё никто не осмеливался лазить. Борька попятился и уткнулся задом в угол сарая, обезопасив себя с двух сторон. «Ишь ты, — мелькнуло в голове у Шестакова, — оборону занял. Хитрый окорок». Шестаков стал крадучись приближаться, стараясь не спугнуть животное, но это ещё больше насторожило кабана, и когда Шестаков приблизился на достаточное расстояние, Борька неожиданно и резко сделал предупредительный хрюк. От неожиданности Шестаков вздрогнул и тоже, не владея собой, хрюкнул в ответ, издав горлом звук весьма похожий на поросычий.

— А! — обозлился Шестаков, ты мне зубы заговаривать!

Он быстро кинулся вперёд и схватил кабана за ухо. Тот мотнул головой и, выскользнув, бросился вперёд, сбив Шестакова с ног, от чего тот плюхнулся в вонючую жижу. Штаны и рубашка сзади пропитались едким свиным дерьмом. Поднимаясь, Шестаков испачкал руки и, не заметив это, отёр пот с лица и поправил сползшую от падения на лоб чёлку. Он был на грани нервного срыва. Растопырив руки, Шестаков пошёл на кабана, угрожающе выставив нож. Пытаясь ускользнуть, Борька ринулся в обход, но на повороте его занесло, и он, своей тушей проломив перегородку, выскочил из загона. В панике ткнувшись несколько раз в стенки сарая, он наконец отыскал незапертую дверь и, открыв её рылом, выбежал в огород, где тут же, забыв о странном происшествии, стал мирно уничтожать растущие здесь сельхозпродукты.

Тут Шестаков сделал очередную ошибку: он попытался в прыжке ухватить хряка за задние ноги, но тот, как оказалось, был настороже. Взрыв копытами землю и забросав преследователю очки ботвой и чернозёмом, кабан ловко ушёл от захвата. За те минуты, пока они таким образом, играли в салочки, был уничтожен почти весь урожай, кроме ягодных кустов, куда Борька, войдя во вкус и ловко перепрыгивая с грядки на грядку, не желал прятаться. Теперь их друг от друга можно было отличить только по тому, что у одного из них был нож. С головы до пят Шестаков покрылся отходами Борьки-

ной жизнедеятельности и огородной землёй. Наконец кабану наскучили финты и ужимки и, сделав обходной манёвр, он разнёс в щепы ограду из жердей и вышел на оперативный уличный простор...

И до сих пор в посёлке старушки утверждают, что однажды среди бела дня по улице промчались страшные чёрные бесы числом двенадцать с кривыми саблями наголо и скрылись в сторону озера, где, по всей видимости, и утонули.

К вечеру мать позвала соседа, и он заколол кабана за литр водки.

На следующий день, намаевшись беготнёй и разделкой туши, Шестаков чувствовал себя неважно и на крышу не полез. А потом у него кончились отгулы и надо было возвращаться в Питер.

Он решил ехать автобусом и разрешил матери проводить его. Так она и осталась после этой поездки у него в памяти, стоящая на автобусной остановке, в простом синем платье и в белом платке, машущая ему на прощанье.

А крышу он всё-таки починил — в следующий приезд.

ДЕД-БАНДЕРОВЕЦ

Смотришь и глазам не веришь, слышишь и отказываешься понимать... Битый кирпич, развороченные взрывом кровли, балки, доски, осколки стёкол, окровавленная земля. Среди развалин бродит корреспондент с микрофоном, останавливается возле торчащего из земли обломка реактивного снаряда от «Урагана». По сути, современного варианта нашей знаменитой «Катюши» — реактивной установки залпового огня, наводившей на фашистов ужас. Оружие нашей победы. Теперь из них долбят по своим: по детям, по женщинам, старикам. Уничтожают жизнеобеспечивающие коммуникации... Ловлю себя на мысли, что хочется проснуться. Погружаюсь в омут размышлений, невольно всплывает в памяти далёкая-далёкая картина из детства...

Конец 60-х прошлого века. Уголок шумного двора, окружённого новыми хрущёвками. Большой пятиэтажный панельный дом в шесть подъездов, мы живём в последнем. Возле окон первого этажа садик: смородина, малина, деревья с ранетками, крохотные грядки с зеленью. Завсегдатай зелёных насаждений той поры — тополь. Всё уместилось на небольшом пятачке между дорожкой вдоль цоколя и уличным проездом. Тротуаров тогда в таких дворах не мостили.

Садик этот действует на нас, мальчишек, с особенной притягательностью. Во-первых — ранетки. Пока зелёные и твёрдые, ими можно стрелять из рогатки или самопала с резинкой, не боясь кого-то серьёзно ранить. А когда к осени ранетки созревают и становятся прозрачными и мягкими, так что тают во рту, — добыча их становится особенно приятной. И во-вторых — запретный плод сладок вдвойне. Садовые сокровища сторожит злобный старик по прозвищу *бандеровец* или, как мы зовём его, дед-бандер.

Окна квартиры, в которой он живёт, выходят как раз сюда, поэтому каждый налёт на садик представляет собой тщательно проработанную коллективную операцию, с отвлекающими маневрами, группой захвата и арьергардным прикрытием. К тому же садик имеет несколько рубежей обороны: низкий штакетник, перемахнуть через который — секундное дело, но дальше идут настоящие проволочные ограждения из колючей проволоки и местами тонкой проволоки, наподобие спирали Бруно, в которой легко запутаться и порезать ногу. Даже пробравшись через всё это и нарвав полные карманы ранеток, нельзя считать операцию удачной, поскольку в любой момент может грянуть тревога — дед-бандер остервенело застучит в окно или, того хуже, выскочит из дверей подъезда. И тебе предстоит молниеносно проделать обратный путь, рискуя не только оставить на колючках проволоки лоскутья собственной кожи, но и штаны с карманами, полными зелёных ранеток. Жутко, но страшно интересно.

Мастер участка из ЖКО — женщина суровая, умеющая говорить с дворниками на их языке, не раз давала указание убрать бандеровский укрепрайон, оставив только полагающийся по регламенту штакетник. Дворники что-то там делали, ковыряясь без особого энтузиазма, но дед-бандер с завидным упорством восстанавливал демаркацию в одностороннем порядке.

— В саду у себя хозяйничайте, — говорила мастер из ЖКО, — а тут общественная территория!

Справедливости ради надо заметить, что к тому времени активно входили в моду знаменитые *шесть соток*. Хотя в Западной Сибири можно было бы давать каждому жителю независимо от возраста по шесть квадратных километров земли, без особого ущерба для государства. Но тогда и этому рады были.

Не любил дед-бандер, когда гоняют во дворе мяч, потому что он легко мог залететь в его садик, и тогда у мальчишек появлялся законный повод проникнуть туда. Во избежание этого дед нередко срывал футбольные матчи в самом разгаре, грозя отобрать мяч и прогоняя игроков подальше от дома.

Теперь я уже не вспомню, как и когда появился в нашем доме дед-бандер. Скорее всего, въехал в новый дом вместе со всеми, как и наша семья. Но всех почему-то сразу насторожил его отчуждённость от соседей, его странный выговор, нездешняя интонация, словно русская речь была для него непривычной. Он проходил, не здороваясь, слегка опираясь на трость, вырезанную из дерева в виде гуцульского топора — на длинной резной рукояти маленький топорик. Отвечал резко, словно злился и напоминал нам огрызающегося пса.

Впрочем, для Западной Сибири смешение различных национальностей привычное дело. В сельской местности здесь живут деревнями и целыми районами: казахи, немцы, украинцы, чеченцы... Приезжая в город, перемешиваются между собой, добавляя для разнообразия китайцев, кавказцев со всего Кавказа, и всю Среднюю Азию, Прибалтику, Белоруссию...

В город, в котором я родился и провёл детство, в 1941—1942 годах эвакуировали более ста предприятий вместе с работниками. В основном с Украины. Поэтому украинская речь с мягким «г», соответствующими оборотами речи и украинизмами, была не в диковинку. Но даже на этом фоне дед-бандер выглядел птицей не из нашей стаи.

Скажу честно — тогда я ещё абсолютно не знал, кто такие бандеровцы, а уж кто такой Степан Андреевич Бандера, узнал намного позже. Только в школе нам рассказали, что был такой деятель на Украине во время Великой Отечественной войны — украинский националист, пособник фашистов, организатор бандитских отрядов после войны.

А ещё тётя — родная сестра моей матери, рассказывала, как работала в 46—49 годах по распределению после окончания института во Львове. И что там в то время в лесах орудовали эти самые бандеровцы. Появлялись и фильмы, в которых показывали украинских националистов в фашистской форме, с немецким оружием, грязных, небритых, безжалостных, свирепых... В то время у советских школьников для игр в войну был неплохой выбор непримиримых врагов, которых непременно следовало побеждать или уничтожать как белогвардейцев, кулаков, немецких фашистов, бандеровцев (или их разновидность — «лесных братьев»).

Многие вещи теперь, должно быть, звучат непонятно. Например, отсутствие детских игрушек. Даже при массовом возникновении универмагов «Детский мир», выбор был весьма ограничен. Но кое-что всё-таки было.

Помню, мама купила нам новый резиновый мячик, обычный для того времени: двухцветный — красное с синим, по

экватору белая полоса. Блестящий, как все новые резиновые изделия — сапоги, калоши, боты...

Не знаю, сколь значительным событием является для современного ребёнка, напичканного мобильниками, ноутбуками, планшетами, гаджетами и пр., покупка очередной игрушки, но для нас новый резиновый мячик был событием дня. Тогда, помнится, родители не очень спешили удовлетворять все «игрушечные» фантазии своих чад. Да и поводом для покупки была, как правило, получка. И ты целый месяц должен был радоваться купленной вещи, даже если она надоедала тебе через день, иначе в следующую получку мог остаться без ничего.

При первой же возможности мы с братом выскочили с новым мячом на улицу и тут же затеяли что-то вроде футбольного матча, с подвернувшимися под руку мальчишками из нашего двора.

Сколько лет прошло с тех пор... Когда я думаю об этом, то сам себе начинаю казаться сверхдолгожителем. Но почему-то до сих пор я ясно вижу яркую картинку: наш двор, визжащих мальчишек, скачущий новый, блестящий на солнце резиновый мяч.

Праздник длился недолго. Возможно, в азарте мы не заметили находившегося неподалёку деда, а может, он специально сидел в засаде? Но мы не успели даже ахнуть, когда мяч подкатился прямо под ноги внезапно возникшему бандеровцу. Дед, как стервятник, схватил мяч и замахнувшись на нас, бросившихся было к нему, своей тростью, исчез с добычей в темноте подъезда.

Нисколько не преувеличу, если скажу, что состояние наше с братом было близко к отчаянию. Новый мяч! Конечно, была ещё надежда на родителей, особенно на отца, но как знать, чем всё обернётся, может, ещё и взбучкой за то, что мяч прохлопали, за то, что играли не там, где нужно. Да и как теперь забрать мяч у деда, драться с ним, дверь ломать, или влезть ночью к нему в окно?

Полдня мы пробыли в кошмаре. Потом пришла с работы мама. Узнав о таком горе, она спустилась этажом ниже — где жил наш обидчик. Мы с братом, прижавшись к дверям, прислушивались, ожидая услышать крики, ругань. Но мама вернулась быстро, держа в руках наш мяч. Она сказала, что мячик лежал в прихожей, а дед от неожиданности ничего не успел сделать... Но радость была недолгой — мяч оказался проколотым. Он перестал прыгать и шлёпался на пол, как комок теста. А потом и вовсе уменьшился в размере и даже сморщился, как живой.

Помню, как мы радовались, когда уезжал дед-бандер; было ощущение, что двор освободили от часового, а нас расконвоировали. Точно не помню, но кажется, он уехал куда-то на Западную Украину, к родственникам вроде.

На месте деда поселились другие. Они были общительны и вполне доброжелательны к соседям. Впрочем, нас они впоследствии тоже гоняли за то, что мы галдим под окнами, брэнчим по ночам на гитарах.

Бандеровский палисадничек национализировали, убрав колючую проволоку и колья. Вид стал городским, но растительность начала приходить в упадок. Зелень больше никто не сеял, кусты ободрали и в конце-концов вытоптали. Впрочем, садик этот жив до сих пор, тополь, правда, вымахал здоровенный и его спилили, но ранетки ещё растут, да и садик стараниями жильцов первого этажа периодически возрождается. Кстати, срок службы самого дома давно истёк, лет двадцать назад. Панельные хрущёвки были рассчитаны на тридцать лет — как раз до пришествия коммунизма...

Сейчас с высоты прожитых лет я пытаюсь глядеть на тех нас глазами деда-бандера. Стая оголтелых шалопаев в рабочем районе рабочего города, бывшего когда-то острогом, в котором отбывал каторгу Достоевский, и ставшего промышленным гигантом с несколькими «зонами» в городской черте. Конец 60-х — начало 70-х, в единственную уцелевшую на миллионный город церковь ходят одни ветхие старушки, ещё немного, и будет некому. Все ждут обещанного коммунизма.

Иногда мне кажется, я понимаю того бандеровского деда. Ну чего, в самом деле, ждать от сопляков, лоботрясов-безбожников, чьи отцы, отпахав смену на заводе, выпив водки, проводят время за столиком во дворе, «забивая козла», а подросшая молодёжь пасётся на танцплощадках, потребляя портвейн и яблочную бормотуху, развлекаясь мордобоем? Глядя на Россию, можно увидеть и не такое, особенно если глаза ненавидящие...

Знал ли я, что всего двадцать лет спустя, окажусь во Львове на улице имени Степана Бандеры — бывшей улице Мира?..

О «КРЕМЛЕВСКИХ РЕТРАНСЛЯТОРАХ»

В конце июля прошлого года сенатор-республиканец Роджер Уикер потребовал от генпрокуратуры США расследовать возможное нарушение гендиректором российского холдинга «Газпром-Медиа» Михаилом Лесиным американских законов об отмывании денег и борьбе с коррупцией. Сенатор отметил, что Лесин приобрел многомиллионные активы в Европе, в том числе недвижимость, купленную через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, находясь на государственной службе».

Уикер писал, в частности, генпрокурору Эрику Холдеру: «После работы в российском правительстве Лесин перевез свою семью в Лос-Анджелес, штат Калифорния, где он приобрел несколько объектов недвижимости на общую сумму более 28 миллионов долларов. Российский госслужащий смог накопить серьезные средства для покупки и содержания недвижимости в Европе и США...»

Стоило бы традиционно предать посрамлению порочность и злонамеренность американской легислатуры — если бы не было ясно, что перед нами тот нечастый случай, когда заокеанских законодателей следует от



ДОСЬЕ "МГ"

души похвалить за рвение. Далеко не все из тех в России, кто неприятен Америке, являются патриотами первой, хоть называют себя таковыми. И не только потому, что настоящие ее патриоты не скупают дорогую недвижимость в Беверли-Хиллс.

Имя Лесина стало нарицательным еще в 90-е, когда он приобрел известность как серый кардинал и некоронованный король вещательной рекламы в России. Еще до того как стать министром по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций, а впоследствии советником президента России. По сообщениям в прессе, в 99-м Лесину, в ту пору зампреду ВГТРК, уличенному в махинациях с рекламными «взаимозачетами», премьер Евгений Примаков (устав выслушивать нытье по поводу недофинансирования компании) предложил однажды: «Вот если вы, Михаил Юрьевич, потратите на ВГТРК 180 миллионов долларов ваших личных денег, то это очень поможет российскому государственному телевидению».

Реклама на ТВ — большие деньги. За нее тогда убивали. Взять хрестоматийное убийство Влада Листьева в 95-м: его бывший коллега по «Взгляду» Владимир Мукусев рассказывал в интервью, что у Листьева тогда нашли 16 млн. долларов, не считая прочего. Олигархами в ту пору становились не только на цветных металлах и залоговых аукционах, и неслучайно главная драма осени 93-го случилась не в Кремле, а у Останкино. Побеждает, как известно, тот, кто убеждает... А ведь тогда в стране действительно с деньгами было туго — все расхищалось, миллиардные транши в ЦБ испарялись, пенсионерам их копейки на полгода задерживали, а баррель (наше всё) стоил на порядок дешевле, чем ныне. Случись Примакову называть цифру сегодня — она была бы, думается, несопоставимо большей.

Михаил Лесин был автором множества афер и прожектов в медиа-бизнесе, приносивших огромные барыши, активным участником и одним из разработчиков предвыборных рекламных кампаний движения «Наш дом — Россия», президентской гонки Бориса Ельцина (1996), блока «Единство» (1999), Владимира Путина (2000), Дмитрия Медведева... (Мнению Олега Попцова о том, что Лесин бизнесмен, а не политик, можно доверять, но факты говорят и другое.) Проводил «мозговые штурмы», т.е. выявлял, какими словами и лозунгами завоевать и одурманить массовый электорат. Он был и основателем рекламного гиганта «Видео Интернешнл», инициатором создания телеканалов и холдингов, двигателем приближенных к госструктурам частных бизнесов, ме-

диатором процесса темперированной делиберализации и выстраивания под ВВП части ТВ-каналов в начале «нулевых»... В общем человек-эпоха — соратник Чубайса, Путина, Ковальчука и многих прочих лиц верховного формата, любимое детище перестройки...

В ряду перечислений можно бы и пропустить, как малоизвестное, то обстоятельство, что Михаил Лесин стоял у истоков телеканала Russia Today. Прежде чем стать на пару лет начальником Управления президента РФ по связям с общественностью (должность, дарованная в 96-м за успешный президентский дубль Бориса Ельцина), Лесин повозглавлял какое-то время «ТВ-новости». Базу этой структуры и отдали под Russia Today. (Имя Лесина в сети частенько соседствует с групповым фото — сам он, рядом Владимир Путин и юная Маргарита Симоньян. Главред RT, главного иновещательного пропагандистского калибра России, указывает на график роста популярности RT.)

Но это не все. Дочь медиамагната Екатерина Лесина возглавляет заграничное бюро Russia Today. В этом Лесин признается в недавнем августовском интервью Forbes — не уточняя, впрочем, какое именно бюро и в какой стране. Можно предположить — американское, раз уж у нее там есть крутая дорогушая недвижимость в логове голливудских звезд. В этом интервью он утверждает, что деньги, вложенные в американскую недвижимость, — не его деньги, и собственность не его. Дети вполне самостоятельны — им ссужают банки и т.п.

Однако тут для нас (для широкой общественности) принципиально не это — коррупционер он или не коррупционер. Талантливый организатор и бизнесмен, в конце концов олигарх-госчиновник Лесин мог заработать эти деньги и в частном сегменте. (Талант этот, безусловно, для России деструктивен.) Тут мы вплотную подступаем к более актуальному для нас вопросу: а именно, почему в самый драматичный период информационной войны, наполненной прелюдиями войны мировой, оповещать нашу правду внешнему миру мы поручаем людям, которые вряд ли способны представлять наши информационные интересы вовне? Может ли, к примеру, во всеоружии стоять за интересы державы дочь рекламного магната, связанная дорогушей резидентной собственностью в стране идейного противника?

Вопрос, безусловно, риторический. В условиях нарастающей информационной войны Катя Лесина становится заложником своего «островка личной свободы» в Калифорнии (О ее личных счетах информации нет, но можно предположить, что из того десятка миллиардов рублей, которые идут

ежегодно на финансирование RT из нашего госбюджета, ее зарплатное обеспечение весьма существенно, иначе кто бы ей давал займы под такие особняки в Беверли?) Можно, конечно, порассуждать о том, что это нужно для культурного проникновения во вражеский стан, попытка «конвергенции» и «адаптации» своего рода. В общем, надо встраиваться, в роль вживаться. Но извините — они там не слепы, и это примерно то же, что расположить во время сражения ставку своего командования в лагере противника. И не дорого ли платит наш налогоплательщик за эти экзерсисы? А если все же Лесин лжет, и это на его деньги там купили четыре особняка, то надо ли вообще ставить его дочь эмиссаром нашего ТВ за границей?

После того, как сенатор Уикер устроил «наезд» на руководителя «Газпром-медиа» Лесина, небезызвестный Борис Немцов удивился «наивности» второго. И по поводу новоприобретенной семейной недвижимости в Штатах, и по поводу отправки туда собственной семьи. Но в том-то и дело, что, несмотря на все эти нынешние осложнения в перипетии информационной войны, Михаил Лесин чувствует себя в безопасности. Пребывание в ситуации «динамического равновесия» для него вполне комфортно — как, скажем, вполне комфортно шли его разборки со Счетной палатой и следственными органами в конце 90-х. Во-первых, еврейский мир не проявляет жестокости по отношению к своим братьям. А во-вторых, он неумелым резким действиям предпочитает диалог.

Да, у «Газпром-медиа» пакет в две трети акций «Эха Москвы». Но разве это меняет редакционную политику г-на Венедиктова? Да, чтобы соблудности политес, Лесин побранивает «Эхо» за отдельные недостатки, но ведь не давит же и не сливает. Да, его дочь владеет дорогушей собственностью в Штатах и возглавляет бюро Russia Today, которую, в свою очередь, бранит госсек Керри (чтобы англоязычный мир не знал и той малости о России и Украине, которая сообщается), но это же намек на ее «вменяемость» и тренд в сторону ее натурализации.

Все связано системой сообщающихся сосудов — сдержек и противовесов. Г-н Уикер, чем вы недовольны? Ведь именно по этой причине в англоязычной версии RT нет почти ничего из того, что питает гневный пафос ее русской версии.

Немцов, конечно же, неправ, упрекая Лесина в наивности. А лучшую характеристику с либеральной стороны дал ему в связи с «поползновениями Уикера» Николай Сванидзе: «Лесин — очень опытный и талантливый человек. Ника-

ким «душителем свободы» его назвать нельзя, он просто предельно честный чиновник... Я думаю, что его должность в «Газпром-медиа», и без того высокая, не отражает полностью его влияния», А вот это уже намек — давайте, ребята, используйте это влияние, нажав ему на психику — поковырявшись для приличия в происхождении его собственности, а потом и забыв о ней...

И еще одна немаловажная деталь. В интервью Forbes Лесин грозился отомстить за «наезд Уикера» — найду заказчика... Тут же, впрочем, оговорился: все будет в рамках закона. О чем это говорит? Лесин убежден, что истинного заказчика надо искать здесь, в России. А если даже и в Америке — то не в официальной, не истеблишменте. («Ясно, что это чистая заказуха, и я точно через какое-то время найду, кто был инициатором этого») Америке он, конечно, не враг — даже с учетом того, что когда-то и был косвенно причастен к «зачистке СМИ под Путина» и ходил где-то рядом со «списком Магницкого». Но для того и «рядом» — чтобы мобилизовать этот ресурс, раз уж есть приличная собственность в Штатах.

Маргарита Симоньян (в корпоративном кругу — «маленькая Марго»), изгоняющая из Russia Today профессиональные и патриотически ориентированные кадры, ставящая на руководство людей безграмотных, устраивающая свою жизнь и предающая интересы России (о чем доказательно писали в своем «письме к президенту Путину» изгнанники-патриоты) и льющая хулу на русских националистов — была и остается ставленницей господ сурковых и лесиных.

А в общем и целом проблема, конечно, не в «персоналиях». Буржуинство, ревнивое дитя Израиля (если по классике), для России чужеродно и деструктивно, что доказано еще предреволюционной историей, когда даже русские капиталисты кержацкого происхождения охотно изменяли собственной стране, не понимая смыслов ее истории. Нынешний же капитализм — откровенно антинационален. (Вот и сегодня, когда «запахло жареным», как свидетельствует проф. В.Ю. Касатонов, частный отечественный капитал ускорил свое бегство на территорию противника: «Наблюдается процесс обратный тому, который нужен для подготовки России к эффективному противостоянию Западу в экономической войне. А правительство (чуть не сказал: «наше») с невозмутимым спокойствием наблюдает за этим процессом».)

Бурно клокочущий парабизм нынешнего капитализма подпитывается исключительно ресурсной гипертрофией, поднебесными ценами на энергоносители. Первым делом он овладел мощнейшими трибунами оболванивания масс, чего

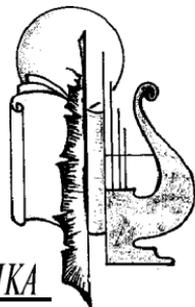
история прежде не знала. Захват инструментов убеждения, главным из которых по-прежнему является ТВ, сопровождался монополизацией рекламного бизнеса. (А реклама — это и есть *alma mater* вещательных структур.) Магнаты телевидения (те, кого по праву называли когда-то «кремлевскими ретрансляторами»), крепко держат информационную власть и бизнес в собственных руках. Однако при этом они весьма зависимы от «внешнего силового поля» и эпитет «компрадорский» характеризует их сполна. Их власть, собственность и деньги — от стрельбы в русский народ у телебашни, от несправедливой приватизации и преступных залоговых аукционов. Они межрасово переимчивы, циничны и совратительны и всегда готовы внедрять в сознание простолюдыня от «кормящего ландшафта» эрзацы очередных мифологем и тошнотворные зерна декультурации. Они называют себя патриотами и при необходимости всегда готовы нагнать в телеэфир ура-патриотизма, забрасывая в массовое сознание плевелы растления, а в сознание истинных патриотов — слова «своих не сдаем». Вот только кто эти «свои», остается порой догадываться.

ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ ШОЛОХОВА

К 110-летию со дня рождения

«Православный тихий Дон...»

Тема «Шолохов и православие», наверное, для многих звучит неожиданно: в красном углу шолоховского дома иконы не висели, сам Михаил Александрович верующим себя не называл — для советского шолоховедения эта тема была табуирована. А для антишолоховедов, то есть тех, кто отрицает за Шолоховым авторство «Тихого Дона», вопрос об отношении писателя к вере вообще не стоял. Между тем писатель и историк Сергей Николаевич Семанов отметил такой факт: скончался Шолохов во время правления Ю. Андропова (кстати, в секретной записке, которую бывший председатель КГБ СССР написал в Политбюро, Андропов говорит о Семанове как «русском антисоветском элементе». Русофобия, как видим, пустила давние корни в КГБ и партийной советской верхушке). Сергей Семанов обратил внимание на то, что хотя похороны Шолохова прошли по привычным тогда сугубо советским обрядам, но родными и близкими



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

покойного был тихо совершён обряд заочного отпевания по всем канонам Православной церкви. «Трудно, невозможно даже предположить, что это сделали вопреки воле скончавшегося», — пишет Семанов.

Роман «Тихий Дон» начал публиковаться в 1928 году в журнале «Октябрь». Это было время преследования церкви, воинствующей антирелигиозной пропаганды. Исследователь отмечает, что в мартовском номере печатается шестая глава третьей части романа, и там приводятся казачьи молитвы. Сергей Семанов напоминает, что «в те коминтерновские времена само слово «казак» было сугубо бранным». Приведём отрывок одной из них — молитвы казаков, идущих в атаку: «Благослови, Господи, раба Божьего и товарищей моих, кои со мною есть, облаком обволоки, небесным, святым, каменным Твоим градом огради...»

Сергей Семанов отмечает, что особое место среди всех героев «Тихого Дона» занимает дед Гришака. Он истинно православный человек, и остался непреклонен в служении Богу, царю и отечеству. «В чертах этого героя Шолохов сумел с поразительной силой создать образ новомученика российского. Удивительно, что та трагическая сцена была впервые опубликована в том же «Октябре» в №10 (октябрьском) 1932 года, когда в пору коллективизации православное священство подверглось чудовищным гонениям».

Перечитаем вместе с Сергеем Семановым эту сцену, в которой красный боец Мишка Кошевой приезжает в родной хутор. Все мужчины и большая часть женщин перебрались на другой берег Дона, опасаясь расправ от карателей, но остался в опустевшем курене дед Гришака, немощный уже старик. Он встречает незваного гостя:

«— Это ты, сукин сын, поганец, значит, супротив наших казаков? Супротив своих-то, хуторных?»

— Супротив, — отвечал Мишка.

— А в Святом писании что сказано? Аще какой мерой меряете, тою и воздастся вам. Это как?

— Ты мне, дед, голову не морочь святыми писаниями, я не затем сюда приехал. Зараз же удаляйся из дому, — посуровел Мишка...

— Из своих куреней не пойду. Я знаю, что и к чему... Ты анчихристов слуга, его клеймо у тебя на шапке! Это про вас было сказано у пророка Еремии: «Аз напитаю их полынем и напою желчию, и изыдет от них осквернение на всю землю». Вот и подошло, что восстал сын на отца и брат на брата...

— Ты меня, дед, не путляй!..

— Во-во, оно к тому и подошло! В книге пророка Исаяи так и сказано: «И изыдут и узрят трупы человеков, преступивших мне. Червь бо их не скончается и огонь их не угаснет, и будут в позор всяческой плоти...»

— Ну, мне тут с тобой свататься некогда! — с холодным бешенством сказал Мишка. — Из дому выходишь?

— Нет! Изыди, супостатина!

— Самое через вас, таких закоснелых, и война идёт! Вы самое и народ мутите, супротив революции направляете... — Мишка торопливо начал снимать карабин...

После выстрела дед Гришака упал навзничь, внятно сказал:

— Яко... не своею... си благодатию... но волею Бога Нашего приидох... Господи, прими раба Твоего... с миром... — и захрипел, и под белыми усами его выскочила кроввица».

Почему эта жуткая картина гибели новомученика русского была опубликована в разгромном тридцать втором году и как Шолохов написал такое, никакого рационального объяснения нет», — отмечает Сергей Семанов.

Противники Шолохова старательно не замечают подобные эпизоды. Они игнорируют или намеренно искажают факты биографии писателя. Например, скрывают то, что Шолохов венчался в церкви в 1924 году, что его невеста Мария Петровна была дочерью казачьего атамана Петра Яковлевича Громославского, пославшего всех своих сыновей и дочерей учиться в Усть-Медведицкое епархиальное училище. Он мечтал, чтобы сыновья стали священниками, но революция и гражданская война разрушила планы семьи. Сам Петр Яковлевич сотрудничать с белыми отказался, за что три года отсидел в Новочеркасской тюрьме и был освобожден красными. Пел в церковном хоре, служил диаконом. Советская власть старого казака тоже не жаловала, и только заступничество зятя, ставшего знаменитым писателем, вызволило его из тюрьмы в 1929 году.

Хотя отношением Шолохова к Православию наше литературоведение занимается сравнительно недавно, можно говорить о том, что определенный вклад в исследование этого вопроса уже сделан. В числе первооткрывателей этой темы наряду с Сергеем Николаевичем Семановым следует назвать писателя и литературоведа Валентина Осиповича Осипова, бывшего главного редактора издательства «Молодая гвардия», директора издательства «Художественная

литература», где в основном печатались шолоховские произведения.

Он 22 года лично знал Шолохова, выпустил о нём семь книг и опубликовал более двухсот статей, в том числе работу «Шолохов и церковь». Приведу выдержки из этой работы.

«Вскоре (после расстрела белыми красного казака. — В.С.) приехал с ближайшего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом её в темноте теплился скорбный лик Божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма: «В годину смуты и разврата Не осудите, братья, брата».

Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску...»

Он рискнул писать о том, что обрекало партийцев — твердокаменных большевиков! — на один приговор: исключение из партии! Как же иначе? Вот Бунчук прощается с матерью: «Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест, целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправила гайтан за воротник... «— Носи, Илюша. Это от святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой угодник-милостивец, укрой и оборони... Один у меня...» — шептала, прижимаясь к кресту горячечными глазами». Ещё одна сцена — Кошевой уступает Дуняшке и Ильиничне: быть венчанию. Но романист не ограничился этим острым сюжетом. Он к тому же дал возможность высказаться и священнику. И прозвучало многозначительное: «Вот, молодой советский товарищ, как бывает в жизни: в прошлом году вы собственноручно сожгли мой дом, так сказать — предали огню, а сегодня мне пришлось вас венчать... Не плюй, говорят, в колодезь, ибо он может пригодиться. Но всё же я рад, душевно рад, что вы опомнились и обрели дорогу к церкви Христовой».

Конец 30-х — идет к концу работа над «Тихим Доном». Для Церкви вновь венец страданий. На этот раз от ежовщины. Шолохов ощущает — быть войне, и если это так, то народ просто обязан стать единым перед лицом опасности. Не потому ли в романе появляется взволнованное предупреждение — в непростом разговоре с участием Мелехова:

— Замиряться-то с советской властью скоро будете?

— Не знаю, дед. Пока ничего не видно.

— Как это не видно?.. Бог-милостивец, он всё видит, он всем это не простит, помяни моё слово! Ну, мыслимое ли это

дело: русские, православные люди сцепились между собой, и удержу нету...

Писателя можно было бы в некотором роде называть миссионером. Приобщает неприобщённых к таинствам церкви. Опасное, однако, дело по тем временам. То перепечатывает в романе молитвы. То повторяет строки из Священного писания с присказом для Григория от деда Гришатки: «Это ли не про наши смутные времена библия гласит?..»

Московский гуманитарный университет им. М.А. Шолохова издал в нынешнем году книгу «Шолохов и православие». Профессор Московского гуманитарного университета им. Шолохова Лариса Шевцова на презентации книги отметила: тема «Шолохов и православие» раскрывается не только в эпизодах, связанных непосредственно с отношением героев «Тихого Дона» к вопросам веры, но и в раскрытии писателем «тех психологических тайн души народной, которые неизбежно связаны с поисками правды, с муками совести». Лариса Ивановна Шевцова, ссылаясь на свидетельство жены и детей Шолохова, отмечает, что «он трепетно относился к вере своего народа, а ведь веру и народ не выбирают. Тот, кто не почитает свой народ и свою веру, тот останется вне истории, вне народности, вне памяти. Шолохов таким, безусловно, не был».

Вне истории, вне памяти народной останутся многие ниспровергатели великого писателя. Антишолоховедение насчитало уже 46 кандидатов в авторы «Тихого Дона». Среди них писатель Александр Серафимович (по настоянию которого, кстати, печатался «Тихий Дон»), жена писателя и верный его друг Мария Петровна Шолохова, внебрачная дочь помещика Д.Е. Попова... Читатель, наверное, будет удивлен тому, что авторство «Тихого Дона» приписывали даже Сталину.

«У Шолохова, по-моему, большое художественное дарование. Кроме того, он — писатель глубоко добросовестный: пишет о вещах, хорошо известных ему. Не то, что «наш» вертлявый Бабель, который то и дело пишет о вещах, ему совершенно неизвестных (например, «Конная армия»)».

Эти слова взяты из письма Сталина Кагановичу. Отношения Сталина и Шолохова — тема отдельная, ждущая, может быть, специальной книги. Тем не менее труд Валентина Осипова дает возможность представить основные аспекты этих отношений. Сталин разрешает печатать остановленный цензурой роман и называет автора «знаменитым писателем». Но при этом заявляет: «Тов. Шолохов допустил в своём «Тихом

Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений». Это обрекло великую эпопею на продолжение цензурных издательств, начатых Фадеевым, требовавшим выбросить из романа тридцать глав.

Обратим внимание, на строку из письма Шолохова жене Марии Петровне: «Лавры Кибальчича меня не смущают». Вот как отстаивал Шолохов «Тихий Дон» — он готов был пострадать за своё право говорить правду! Сталин, вопреки мнению секции литературы Комитета по Сталинским премиям, премирует роман, но не препятствует тому, что ЦК сформулировал оценку: «Слабые образы коммунистов». Справочная книга Валентина Осипова бесстрастно констатирует факты взаимоотношений вождя страны и её первого писателя, не подвергая их подробному анализу. Видимо, противоречивая позиция Сталина, объясняется тем, что советский лидер (которому не откажешь в хорошем литературном вкусе) ценил талант Шолохова, хотел как политик использовать его в интересах режима, но как глава партии коммунистов не мог не обратить внимания на политическую позицию Шолохова: «Я описываю борьбу белых с красными, а не борьбу красных с белыми».

В силу этой противоречивости, их отношения были отнюдь не безоблачными. Автор «Белой книги» приводит такой факт: Сталин «на встрече с писателями на квартире Горького охарактеризовал Мелехова как «нетипичного представителя крестьянства» (т.е. как отщепенца). В момент произнесения этих слов Шолохов покинул встречу». А вот отрывки из писем писателя Сталину:

«Середняк уже раздавлен. Беднота голодает» — 1929 г. «В колхозах целого ряда районов Северо-Кавказского края создалось угрожающее положение. Горько, товарищ Сталин. Сердце кровью обливается» — 1931 г. (в том же году глава ОГПУ Ягода сказал: «Миша, ты все-таки контрик»). «т. Сталин!.. Умирают колхозники и единоличники: взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали... По колхозам свирепствует произвол. ОГПУ спешно разыскивает контрреволюционеров» — 1932 г. В письме Сталину в 1937 году, после того, как был арестован брат жены и заведены дела на других родственниках, Шолохов описывает методы следователя: «Почему не говоришь о Шолохове? Он же, блядина, сидит у нас! И сидит крепко! Контрреволюционный писака, а ты его покрываешь?!»

Сталин откликнулся на просьбу писателя помочь вымирающему от голодомора Дону, но характеризует его по-

рыв как политическую ошибку. Вот его письмо Шолохову, датированное шестым мая 1933 года: «Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов. Я поблагодарил Вас за письмо, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма — не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы, по сути дела, вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов... Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые, как уверяете Вы, допущены нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но всё же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали». В контексте этого письма вождя видно, что защита Шолоховым донского казачества стоила писателю немало мужества.

Душа спасается для жизни вечной, как известно, добрыми делами. И разве не была помощь автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» донскому казачеству во время голодомора подвигом христианской любви к своему народу?

Кто и зачем отвергает авторство Шолохова

В 1937 году уже все было готово к аресту Шолохова. Вот как об этом рассказала дочь писателя Светлана:

— На отца в Ростове решили создать «дело» и прислали для этого человека в Вешенскую в командировку. Этот человек, Иван Семенович Погорелов, всё отцу рассказал, что его арестуют, повезут в Миллерово и по дороге пристрелят при попытке к бегству. После разговора Погорелов стал прятаться в каких-то стогах, камышах, благо было лето. А отец с мужем маминой сестры поехали в Москву. Скрываясь, не

обычной дорогой. А ночью — я помню это — к нам постучали в окно. Редактор районной газеты Беделин и начальник КГБ Тимченко спросили отца. Мать говорит: да вот на охоту с Павлом уехали и до сих пор нет, наверное, машина сломалась. Гости поинтересовались, «куда поехали», мать указала совсем в другую сторону. А отец тем временем на товарняке доехал до Москвы, позвонил Поскребышеву и попросил через него у Сталина срочного приема. Сталин его принял. Он спас Шолохова от ареста, но не остановил тайного надзора, включая «прослушку»...

Вопрос об авторе «Тихого Дона» имеет целью разорвать духовно-историческую преемственность классической русской и советской литературы. Как заметил литературовед и критик П. Басинский: «Шолохов, а не просто таинственный автор «Тихого Дона» — это высшее оправдание советской литературы в её патриотическом ключе. Если автором был М.А. Шолохов, то советская культура оправдана навеки как эпохальная культура, способная порождать гениальные мировые произведения».

Надо сказать, что сомнения в авторстве творцов великих произведений мировой литературы существуют столько же времени, сколько существует сама литература. Гомеровский вопрос, вопрос об авторе «Слова о полку Игореве», шекспировский вопрос... И, наконец, вопрос, которому все мы современники, — об авторе романа «Тихий Дон». Кстати, вспомним, что авторство главной песни Великой Отечественной войны — «Священная война» (слова Василия Лебедева-Кумача, музыка А.В. Александрова) в последнее десятилетие прошлого века тоже бралось под сомнение. Появилась версия, будто песня написана в 1916 году. «Это один из характерных образчиков той кампании по дискредитации нашей великой Победы, которая столь широко развернулась с конца 1980-х годов, — писал Владимир Кожин в книге «Россия, век XX», — вот, мол, «главная» песня сочинена за четверть века до 1941-го, да еще и немцем».

Вопросы об авторстве великих произведений возникают не произвольно, но как результат политического или социального заказа. Начало «гомеровскому вопросу» положило соперничество семи греческих городов, включая Афины, за доминирование в античном мире (позднее к их спору присоединился покоривший Элладу Рим). «Шекспировский вопрос» возник в аристократической Англии, не примирившейся с тем, что плебей может создавать шедевры. Вопрос о подлинности «Слова» ставил под сомнение величие древнерус-

ской литературы и её первенство в европейской литературе Средневековья.

Главная задача противников Шолохова — дискредитировать великого писателя, убедить в том, что он был не в состоянии создать гениальную эпопею. «Году этак в 1969, — приводит Валентин Осипов слова Григория Климова, участника конференции Американской ассоциации преподавателей славянских языков и литературы, — среди кандидатов на докторскую степень в области русской литературы ходило заманчивое предложение: стипендия в 5000 долларов. Но при этом маленький «соцказ» — требуется доказать, что Шолохов НЕ автор «Тихого Дона». Кто-то соблазнился, сидел, копался в этой области. Потом эту «диссертацию» пустили под маркой анонимного «советского литературоведа Д»... А для пущей важности расписаться под этим дали Солженицыну. Типичная фальшивка психологической войны». Потом выяснилось, что Д — псевдоним литературоведа И.Н. Медведевой-Томашевской. Псевдоним, как иронически заметил журналист Лев Колодный в статье «Кто травил «Тихий Дон», «придумал великий конспиратор Солженицын, который в своем узком кругу революционеров называл ее Дамой». Ирина Николаевна не без нажима Солженицына согласилась написать антишолоховскую книгу «Стремя «Тихого Дона». Книга была опубликована за рубежом в 1974 г. (незадолго до её выхода Медведева-Томашевская покончила с собой).

НЭП — «Новая этическая политика»

Впрочем, версия, что великий роман лишь приписывается Шолохову, была запущена значительно раньше — сразу после выхода первого тома. «Однажды, в далекой юности, по делам службы мне пришлось ехать верхом в одну из станиц Верхне-Донского округа, — вспоминал Михаил Александрович. — В степи была тишина. Только перепелиный бой да скрипучие голоса коростелей в низинах. А как только въехал на станичную улицу, из первой же подворотни выскочила собачонка и с лаем запрыгала вокруг коня. Из соседнего двора появилась другая. С противоположной стороны улицы, из зажиточного поместья, махнули через забор сразу три лютых кобеля. Пока я проехал квартал, вокруг коня бесновались с разноголосым лаем уже штук двадцать собак... Не думал я в ту ночь, что история с собаками повторится через несколько лет, только в другом варианте. В 1928 году, как только вышла первая книга «Ти-

хого Дона», послышался первый клеветнический взбрѣх, а потом и пошло».

В марте 1929 г. «Правда» опубликовала письмо группы писателей во главе с А. Серафимовичем, тогда главным редактором журнала «Октябрь», в котором печатался роман: «... Распространяется злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи... Пролетарские писатели, работающие не один год с т. Шолоховым, знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над «Тихим Доном», материалы, которые он собирал и изучал, работая над романом, черновики его рукописей».

Здесь важнейший момент в защиту Шолохова. «Антишолоховцы, — замечает Валентин Осипов, — замалчивают существование рукописей «Тихого Дона». «Первая подборка подобрана на пепелище разбомбленного в войну дома Шолохова (137 листов рукописи 3-го и 4-го томов) — хранится в Пушкинском доме РАН; 2-я подборка (1999 г.) — 910 больших нестандартных листов (633 листа — руки Шолохова, остальные — набело переписанные женой писателя и её сестрой)» — разысканы в 2001 г. Львом Колодным и ИМЛИ РАН.

Между тем ни у одного из тех сорока шести, кого антишолоховцы называют авторами эпопеи, нет ни странички рукописи романа. Нет — да и не могло быть — рукописи «Тихого Дона» и у донского писателя Федора Крюкова, используя имя которого Солженицын в 1965 году начал кампанию за легализацию темы шолоховского плагиата. Тема эта начата в повести «Бодался телёнок с дубом» и продолжена в книге Медведевой-Томашевской.

Версия об авторстве Федора Крюкова могла быть запущена только при том условии, что её авторы сознательно идут на обман читателя или на сокрытие фактов биографии донского писателя. В «Стремени «Тихого Дона» дата смерти Крюкова обозначается только так: 1920 г., — замечает Валентин Осипов. — А он умер 20 февраля «и не внезапно за письменным столом, но в бегстве от красных и к тому же в длительной беспмятной болезни (тиф)». Роман же завершается событиями 1921-го. При этом известно: в последние годы жизни Ф. Крюков не создавал художественных произведений, но, будучи активным участником белого движения, печатался исключительно как публицист.

Небезынтересен вопрос: что заставило автора «Жить не по лжи» заниматься прямыми подтасовками фактов и клеветой на Шолохова, который, кстати, по свидетельству Твардовского, «в своё время с большим одобрением отзывался об «Ива-

не Денисовиче» и просил меня передать поцелуй автору». Любопытно высказывание известного диссидента Жореса Медведова, ученого-биолога, эмигранта: «Лично я позицию Солженицына никогда не разделял и объяснял его заявления о «Тихом Доне» завистью и развившимся у него после гипертонического криза в 1969 году небольшим, но стойким психическим сдвигом. Оценивать реально окружающую обстановку он не мог, это было ясно и по его речи в Гарварде в 1978 г. (Солженицын в Гарвардском университете звал США на священный бой с коммунизмом, в крестовый поход против СССР. — В.С.) и по другим выступлениям. Одновременно возникла и мания величия».

Подлинное величие истинного гения раздражало Александра Исаевича, в котором он видел соперника по славе и мировому признанию. Ну, как же — тоже Нобелевский лауреат. «Сунули Нобелевскую премию в палаческие (!) руки Шолохова», — негодует автор явно неудачной эпопеи «Красное колесо». Она, кстати, имеет в своей основе тот самый принцип, в котором сам Солженицын и все анишолоховцы облыжно упрекают автора «Тихого Дона» — принцип компилятивности. Целые главы и сюжеты выписаны целиком из мемуарных источников, что вынудило эмигрантского историка Н.Ульянова признать: «Произведения Солженицына не написаны одним пером». Впечатляют и приводимые в «Белой книге» воспоминания посла США в СССР Джекоба Бима: «Когда мои сотрудники в Москве принесли мне ворох неопрятных листов за подписью Солженицын, я вначале не знал, что делать с этим шизофреническим бредом. Когда же я засадил за редактирование и доработку этих материалов десяток талантливых и опытных редакторов, я получил произведение «Архипелаг ГУЛАГ».

По поводу присуждения Нобелевской премии автору «Тихого Дона» Станислав Рассадин, один из самых беспринципных на сегодняшний день анишолоховцев, писал, что она «получена под давлением советского правительства». «На самом деле, инициатива появилась в Швеции ещё в 1935, затем в 1946 году... «Давление» первым начал оказывать Жан Поль Сартр, отказавшийся от Нобелевской премии в знак протеста, что ею обделен Шолохов». Представителям либерального лагеря и в голову не приходит вопрос: а не присудил ли Нобелевский комитет премию Солженицыну под давлением западных политиков, благодарных «литературному влазовцу» за те, прямо скажем, мощные удары, которые он наносил по СССР?

В книге Валентина Осипова отношении автора «Архипелага ГУЛаг» к Шолохову посвящено немало страниц, разбирается буквально каждое его обвинение в адрес писателя. Объясняется это тем, что Солженицын стал знаменем для ниспровергателей Шолохова, называющих подлинного автора «Тихого Дона» основоположником социалистического реализма, «прислужником сатрапа», сталинистом, или — видимо, в подражание Солженицыну — «любимцем палачей» (последнее определение принадлежит протоиерею Михаилу Ардову). При этом подлинное отношение Сталина к Шолохову и Шолохова к Сталину они скрывают. Вообще следует заметить: «фигура умолчания» — излюбленный приём, которым пользуются представители либерального лагеря; автор «Белой книги» приводит десятки примеров, когда его аргументы в защиту Шолохова отказывались печатать или распространять по телеканалам. Он называет этот стиль отношений с оппонентом, позицию которого можно искажать или попросту игнорировать, «Новой этической политикой (НЭП)».

Самоотверженное заступничество автора «Тихого Дона» за крестьян в годы коллективизации, за репрессированных в 30-е годы умалчиваются либеральной критикой. С ее стороны нет ни слова о том, что Михаил Александрович выдвигал на Сталинскую премию опальную Ахматову, способствовал освобождению сына Анны Андреевны Льва Гумилева (Михаил Ардов, выросший в семье, много лет дружившей с Ахматовой, не может не знать этих фактов из биографии «любимца палачей»), помогал печататься фактически запрещенному Андрею Платонову... Антишолоховцев не интересует подлинная биография Шолохова, зато искажениям ее несть числа. В 1922 году будущий писатель закончил курсы продналоговых работников, но в ход идут провокационные искажения: он де был продкомиссаром. Между тем, молодой Миша Шолохов был даже судим за то, что помогал семьям казаков в станице Бунаковской уходить от высоких налогов. Выручил отец, уменьшивший на два года возраст сына; у судей, видимо, заговорила совесть: как же выносить приговор мальчишке.

**...Показал на письменный стол
и, сквозь слезы, сказал: «Я закончил»**

Манипулирующие с биографией автора «Тихого Дона» опираются на несколько, так сказать, опорных домислов. Один из главных сформулирован Солженицыным, подхва-

чен Медведевой-Томашевской, Кацисом и другими: Шолохов был молод, а Крюков — писатель с большим жизненным опытом. «Случай небывалый в мировой литературе. Двадцатирехлетний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящим свой жизненный опыт и уровень образования». «Странно» подсчитано, — пишет Валентин Осипов, — роман и в самом деле начат в 21 год, но закончен-то через 14 лет... Шиллер закончил шедевр «Разбойники» в 22 года, Байрон «Чайлд Гарольда» в 23 года, Пушкин первые главы «Евгения Онегина» и Диккенс «Записки Пиквикского клуба» — в 24 года». Автор «Белой книги» отмечает, что Шолохов не был новичком-дебютантом: «выпустил две книги рассказов, в коих — опыт Гражданской войны; работал над романом «Донщина».

В поисках «автора» эпопеи противники Шолохова додумались до того, будто бы «тесть Шолохова с сыновьями умертвили Крюкова, чтобы заполучить рукопись»...

Ищущих кандидатов в гении почему-то не смущает тот факт, что в 1984 г. в Осло вышла книга группы шведских и норвежских славистов и программистов под руководством доктора филологии Г. Хьетсо «Авторство «Тихого Дона». Эта книга основывалась на единственно возможной в филологии непреложной методике: любой писатель всю свою жизнь любым своим сочинением несет только ему присущие особенности-приметы стилистики и словофонда. Группа Хьетсо сопоставила три книги Крюкова и две первые книги рассказов Шолохова, «Тихий Дон» и «Поднятую целину. Несколько лет ушло на сбор материала, на создание компьютерных программ. Затем пришел черед ЭВМ. Слово за словом сравнили 150 тысяч слов в 12 тысячах предложений. Вывод: «Применение математической статистики позволяет нам исключить возможность того, что роман написан Крюковым, тогда как авторство Шолохова исключить невозможно».

Противники Шолохова либо скрывают, либо игнорируют выводы группы Хьетсо. Не исключено, что они постараются не заметить и «Белую книгу» Валентина Осипова. Триста с лишним страниц доводов и контрдоводов — огромный труд, важный вклад в шолоховедение. Предпоследняя глава книги — «Идеи для волонтеров: кто поддержит?» — содержит 12 конкретных предложений автора к властям и широкой общественности по подготовке к проведению 110-летия со дня рождения великого писателя в 2015 году.

Это справочное по своей сути издание отнюдь не представляет собой сухого текста. Оно публицистично, написано ма-

стерским писательским пером человека равнодушного, понимающего, какая это была личность и какой писатель. Есть в ней и такое воспоминание Марии Петровны Шолоховой:

«Я на рассвете проснулась и слышу: что-то в кабинете Михаила Александровича неладно. Свет горит, а уже светло... Я прошла в кабинет и вижу: он стоит у окна, сильно плачет и вздрагивает... Я подошла к нему, обняла, говорю: «Миша, что ты? Успокойся...» А он отвернулся от окна, показал на письменный стол и сквозь слёзы сказал: «Я закончил». Я отошла к столу и перечитала последнюю страницу:

«Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька!.. Сынок!..

...Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

СТРАТЕГ

Мы стояли у Рейна, смотрели на его бирюзовую воду, на правый берег, откуда на середину реки ладьями плыли два лебедя, и я вспоминала «Асю» Тургенева. Так вот он какой, любимый Тургеневым Рейн. Может быть, и тот небольшой городок, описанный автором, — это Рейнфельден, в котором теперь мы находимся; очень уж схоже.

Сказала об этом Владимиру Николаевичу, он улыбнулся:

— Я люблю у него «Бежин луг». Словно о моем детстве рассказ... Ночное, костер, печеная картошка, пугливые оглядки по сторонам. Бывало, дух перехватит от какого-нибудь резкого шороха или стука. А мы — ребятишки. Мы не коней пасли по ночам, коров.

— Разве коров выгоняют в ночное?

— Война была. Чем кормить, кроме травы и сена?

Я родилась уже после войны, мне не пришлось испытать военное детство, но из рассказов старших я знала, как было страшно, хотя наш город Губаха не видел обстрелов — он на Урале, в горах, в таких же горах, как Рейнфельден, даже цветы здесь схожи и климат.



ПОДВИЖНИКИ

— Помню в «Бежином луге» парнишку, который пошел к реке за водой. Кажется, Павликом звали. В этой реке утонул деревенский мальчик. Павлик, черпая воду, услышал, что тот его тихо зовет... Я тоже однажды тонул. Чудо спасло.

— Тонули?!

— Под плот затащило.

Течение у нас на Косье, как на Рейне, такое же сильное.

— Уже задыхался: всё. Бревна в плоту составные, и одно было с комлем, образовав подобие треугольника. За выступ схватился, руки соскальзывают, с испугу не детская сила взялась. Вылез в дыру! Отдышался, смотрю, парнишки, с которыми вместе сталкивал на воду лодку, стремглав убегают от берега, испугались, что попадет за меня.

— Те, кто тонул, бояться воды.

— В армии я служил на подводной лодке.

Я снова смотрю на Рейн. На другой его стороне Германия. Швейцарии и Германию разделяет старинный мост. Ни пограничников, никого. Могут же люди жить по-людски. А у нас что творится! Бывшие братья стали врагами. Мало границ, так еще и воюют.

...С Владимиром Николаевичем Махлаем мы познакомились здесь, в Швейцарии, хотя в Губахе жили в одном дворе. Жили даже в соседних домах, но не знали друг друга: сказывалась разница возрастов, разность забот и интересов. Он работал директором химического завода, а я преподавала в музыкальной школе.

Но однажды наши заботы пересеклись. Губаха еще при Александре II застраивалась горнозаводским способом: при каждой шахте поселок. Это было оптимально для нашей местности. В советские годы, когда построили ГРЭС, ГЭС, коксохимический и химический заводы, у этих предприятий образовались свои поселки. Мы жили в поселке химзаводчан, красивом и современном, с великолепным спорткомплексом, Дворцом культуры и площадью перед ним. Но музыкальная школа была в поселке Углеуральском, и мне приходилось два километра ходить пешком: автобусы были редки. Взрослая, я как-то не замечала дороги, но, вспоминая детство, когда бегала через поле учиться музыке, жалела тех ребятшек, которые и теперь ходят пешком в дожди и в метель. Не знаю, как получилось, но директор химического завода подумал о том же, и первый этаж большого жилого дома в нашем поселке был отдан под филиал музыкальной школы. Завод оборудовал классы, купил музыкальные инструменты. Два года дети имели возможность учиться музыке, не мучаясь долгой дорогой. Потом нагрянули пермские чинов-

ники, зачастили комиссии, и хорошее дело умерло. Что им, чужим-то людям, до наших детей и до нас самих.

Хотя и доморощенные чиновники умели себя показать. Ради престижа первого секретаря горкома Губаху централизовали. В каждом поселке были свои больничные городки, и вдруг объявили, что их останется только два, остальные закроют. Представить такое бедствие люди были не в состоянии. Во-первых, привыкли к своим врачам, во-вторых, как добираться? И не здоровому, а больному человеку! А дети? А роженицы? А сами врачи, которым придется ездить с работы и на работу? И всё же больницы закрыли.

Потом началась ликвидация старых поселков, переселение людей в так называемый Новый город, в «хрущевки». Такие «хрущевки» на Западе строили еще до войны и назывались они «стиль-модерн», точнее, убежище для нищеты.

Не радовались переселенцы Новому городу. Привыкли к своему поселкам, к простору, лесам, огородам, скотине. Теперь их заперли на этажах.

— Помните, Владимир Николаевич, что горком натворил в централизацию?

— Преступники! — резко бросает он.

— Сейчас и того хуже стало, хоть и новые времена, без горкомов. Всё сконцентрировали в одном Новом городе. За каждой подписью и бумажкой ездить приходится. Новый город теперь зовется Губахой, а все остальные поселки являются «поселением». То ли мы заключенные в наших поселках, то ли «враги народа».

Лицо Владимира Николаевича мрачнеет.

— Не дай бог! Наша семья из спецпереселенцев. Невозможно, что было!

О том, как свозили в Губаху «врагов пролетариата», я знала по данным Пермского областного архива. Для строек нужна была техника; ее покупали в Америке и Европе, расплачиваясь валютой, приглашали иностранных специалистов, которым тоже надо было платить. Зато рабочая сила — почти бесплатно.

— Откуда вас выслали? — спросила Владимира Николаевича.

— Из Херсонской области. Мама рассказывала, как сначала арестовали ее отца, он кузнецом работал, голод был сильный, он в поле собрал два мешка колосков. Добрые люди увидели, донесли, куда надо. Судили его. Отправили на Соловки, там умер. А его жена и младший сын умерли дома от голода. Мой дядя Филипп сам могилу для них копал — одну на двоих.

Он умолкает. Для меня как-то сразу померкли все краски вокруг. Смотрю на здание нашего санатория, — Владимир Николаевич здесь лечит колени, а я плечевые суставы, — старинное здание, большое. Когда-то здесь отдыхал Марк Твен, оставив похвальную запись.

— Мама уже была замужем, — продолжает Владимир Николаевич. — В семье мужа было двенадцать человек. Жили благополучно. Отец работал путейцем на Кавказской железной дороге. Раскулачили их. Всю семью на Урал, в Губаху. Я родился уже в Губахе. Помню наш двухэтажный барак, где на два подъезда был только один мужчина — мой отец. В других семьях отцы либо погибли в шахте, либо умерли раньше от голода. Что им выпало на первых порах, родители никогда нам не говорили. Да им не до разговоров было: работа, хозяйство... Козу купили. Потом корову. Мы рано остались сиротами, отец в шахте погиб: лебедкой отрезало ноги. В ночную смену пошел, как раз на первое января сорок четвертого года.

Уголь тогда был вопросом жизни. С потерей Донбасса на Кизеловский угольный бассейн, куда входила Губаха, легла вся тяжесть добычи топлива. Бассейн обеспечивал металлургические и химические заводы, железные дороги, снабжал углём население. Много подростков и женщин работало в шахтах, поскольку мужчины были на фронте.

А питание было скудным. По карточкам на работающего человека приходилось 400 граммов мокрого хлеба. Обыкновенная буханка весила 3 килограмма, и продавцы держали у прилавка таз с водой, чтобы намочить нож — иначе было не разрезать. На обед в шахтерских столовых давали суп-затируху, гороховую кашу, соленые грибы. Всех одолевали страшная усталость, недосыпание, помогала жить и работать только вера в победу.

— Тридцать три года было отцу, — Владимир Николаевич печально смотрит на Рейн. — Маме тридцать два. Осталась с четырьмя ребятишками, младшему Коле исполнилось три года. Заведующий шахтерской столовой, где мама работала, разрешил ей утрами, пока не видит никто, приводить нас, кормить. Чем кормили, не помню, но однажды ел настоящий блин.

В семь лет я уже вставал в пять утра: печку растапливал. Мать на работе, сестры возятся у коровы, потом идут молоко продавать. Да еще на моей обязанности лежало ходить на угольные отвалы выбирать уголь. Шахта выгружала вагонетки ночами, и я, с такими же мальчишками, едва забрезжит, брал санки и бежал к отвалам. Наберешь мешок и тащишь на санках. Наловчился толкать санки впереди себя: согнешься в три погибели и упираешься ногами. Это легче,

чем тащить за веревку. Развозили уголь покупателям — пять рублей за мешок; уже знали своих «клиентов».

Я однажды нашел три рубля. От радости в столовую побегал — видел, как там шахтеры пили нарзан прямо из горлышка. Купил бутылку за два рубля восемьдесят копеек. Пробку о крышку стола скovyрнул, глотнул... Я же думал, что очень вкусно, если шахтеры с удовольствием пьют. — Смеется.

Мы идем в корпус. Широкие, посыпанные мелкими камушками дорожки, вековые березы, липы, цветы, чистота и уход. Я иной раз вижу брошенные окурки, но их убирают быстро. В парке трудится электронный садовник — подрезает траву. У него милая «мордашка» и заботливый вид; я порой обращаюсь к нему, как к живому: «Эй, малыш, доброе утро!»

— Приятель у него появился, — говорит Владимир Николаевич. — Во-он, такой же, на соседней лужайке трудится.

Смотрим и улыбаемся.

Он продолжает рассказ:

— Я летом подпаском работал. Козы у многих были. Рано, едва забрезжит, выйдешь из дому и начинаешь обходить улицу, стадо принимать. Кто-нибудь из хозяев давал бутылку молока и вареной картошки, я это клал в тряпичную сумку. У них очередность была. Коз пасли мы везде — по горам и долам. Пастух был татарин, жена его тоже татарка, пасла вместе с нами. И собака была у них. За нею по несколько кобелей увязывалось. Тогда и узнал, что такое случка. При мне и козла повязывали с козами. Да и пастух с женой меня не особо стеснялись. Если жена противилась, он ее материл. Я сезона три пастушил. Мать моя в сорок седьмом вышла замуж. Отчим был родом из Анапы, крутого нрава мужчина. Мы с братом Колей однажды натерли листочков сухой малины, свернули из них папироски, как это делали взрослые парни, и закурили. Вдруг появляется отчим! Мы бегом от него. Он — за нами! Мы — к стадиону! Оторвались. Какой-то заброшенный дом вроде сторожки, — влетели в него, и на чердак! До ночи там просидели, дрожа от страха. Там и уснули в опилках. Утром голод заставил идти на огород. Спустились по склону горы, видим, мать с сестрой копают картошку. Обрадовались. И они нам.

Тяжело без отца жилось, некому заступиться... Был случай, я на стадионе играл, вдруг мальчишка ревет во все горло: велосипед у него угнали. Я не видел ни его, ни велосипеда. Как из-под земли появился его отец. Мальчишка в меня пальцем тычет: он угнал! Тот здоровый бугай с кулаками ко мне! Думаю: убьет! Кинулся со стадиона под гору, дальше по

огородам, и он за мной! Я споткнулся, упал... гляжу, и бугай тот упал: видно, ступню подвернул, матерится стоит на коленях. «Дядя! — кричу. — Не трогал я ваш велосипед, даже не видел его! Я даже вашего сына-то не видел!»

У меня навернулись слезы.

— Где работал ваш отчим? — спросила.

— В автобазе шофером. У нас на всю автобазу было три грузовые машины. Мы по протекторам узнавали, где отчим. Несешь обед для него и смотришь под ноги. Дороги были обычные земляные, протекторы хорошо отпечатывались. Как все мужчины в послевоенные годы, отчим пил. В сенокосную пору мы вообще его трезвым не видели: каждому надо вывезти сено, а рассчитывались самогоном. Однажды подъехал к дому, открывает дверцу кабины и подает мне ведро самогонки. Стал вылезать, но вдребезги пьяный, свалился и тут же уснул.

— Мой отец фронтовик, тоже пил. И семью гонял. Но протрезвеет — стыдится, жалеет нас с братом. Купит ирисок. Лепит нам что-нибудь из пластилина...

— А в нашей семье детей стало семеро: тройняшки родились. Какие ириски! Тогда впервые стали продавать халы, я долго мечтал попробовать; не вытерпел, купил для коровы жмых, но не на все деньги, что мать дала, оставил на халу. Ел, ел... а потом, — как у пьяниц вышибает мозги от лишней водки, так у меня вышибло от еды. С тех пор ни разу халу не покупал, только вот в прошлом году в Лондоне купил.

Мы дошли до нашего корпуса и расстались.

«Что мы знали о своем директоре? — подумала я. — Считалось, что заводская верхушка живет безбедно и никогда не имела печалей». Стало понятно, откуда взялась у Владимира Николаевича забота о филиале музшколы. Не городская администрация позаботилась, которая прямо обязана была это сделать, а он.

И вспомнилось вдруг совершенно забытое: секция дзюдо в нашем спорткомплексе. Вёл ее Вячеслав Балуев из Рыбинска, божьей милостью тренер, до четырехсот парней ходило к нему, в том числе младший сын Владимира Николаевича, Сергей. Для занятий химзавод выделил Балуеву отдельный спортзал, оснастил, не жалел средств для проведения межрегиональных соревнований. Но когда Владимир Николаевич уехал в Тольятти, химзавод отказался содержать эту секцию, и всё распалось.

Владимир Николаевич предвидел еще четверть века назад, что без нового порта будет не обойтись. СССР, разделившись на княжества, получило жадюг, каких поискать. Рвали, хватали,

без совести и без оглядки, особенно Украина. Мигом перехватила аммиакопровод на своей территории и порт под Одессой, принадлежащие «Тольяттиазоту»: снижала квоты на прокачку, увеличивала цены на транспортировку, на аренду за пользование землей... Россия не вмешивалась, хотя по милости Украины теряла до сорока миллионов долларов в год. Владимир Николаевич, в то время директор «Тольяттиазота», понял, в какую пропасть может свалиться один из крупнейших заводов страны. В 1998 году начал строительство порта на Тамани. Но губернатор Краснодарского края сменился, а новому губернатору Владимир Махлай не понравился. Махлай не заискивал, не прогибался, считая, что порт нужен стране, а не лично ему. Он верил, что заброшенный берег Черного моря, где боялись оставшихся после войны не взорванных бомб, оживет!

Он знал свои силы. Когда-то по звонку из Москвы приехал в Тольятти взглянуть на «провальное» предприятие, а через полгода — возглавил его и в короткие сроки вывел в число передовых. И это после громадной губахинской стройки, которую ему никогда не забыть!

Губахинский химзавод, который он возглавил в середине семидесятых, тогда работал на изношенном оборудовании, технологии устарели, перспектив у завода практически не было. В ту пору Советский Союз заключил с англичанами договор на поставку двух заводов по производству метанола мощностью 750 тысяч тонн в год. Владимир Махлай поехал в Москву убеждать, что один из заводов надо отдать Губахе.

У министров химпрома уже были кандидатуры: Новомосковск, Куйбышев, Северодонецк, Томск.

— Что такое ваша Губаха? — не понимали они. — Удалена от развитых магистралей, воды, нет строительной базы и коммуникаций.

Махлай настаивал, однако его не хотели слушать — молод, все молодые настырные.

Снова и снова он ездил в Москву, убеждал:

— Губаха должна получить современное предприятие, иначе городу просто не выжить! Шахты уже основательно работали. Мы на заводе несколько раз запускали новые производства, но это только отсрочка агонии. Между прочим, в Губахе близость к месторождениям природного газа и магистральным газопроводам, близость к воде Широковского водохранилища. К тому же у нас имеется действующее метанольное производство.

— Вы недопонимаете всей степени сложности, — отвечали ему. И после очередного такого ответа у него случился сердечный приступ.

Да разве он думал о своем сердце? Он думал о своем городе. Сколько еще продержится старый завод? Выработанные шахты закрываются, коксохим дышит на ладан, люди уезжают. Кто бы уехал, будь в Губахе перспективы? Но понимал и какую ношу взвалит себе на плечи.

Неожиданно его поддержал заместитель министра, курирующий районы Урала. Махлай ему нравился: молод, но опытен, и воли не занимать. Заявил о своей поддержке и заместитель начальника Госплана, руководивший во время войны эвакуацией заводов из прифронтовой полосы на Урал, — он хорошо знал Губаху. Первый секретарь Пермского обкома, мудрый и дальновидный, поняв, что благодаря метанолу Губаха получит второе рождение, «продавил» нужное решение своим авторитетом.

Победа была огромной!

Но с получением комплекса М-750 время для Махлая наступило сумасшедшее. «Большой метанол» был объявлен всеозучной ударной стройкой. Были задействованы силы девятнадцати министерств и ведомств. Возводились одновременно десятки объектов не только на самом предприятии, но и в городе. Тяжелую технику и бульдозеры забрасывали в город на вертолетах.

Старая автомобильная дорога, узкая, выложенная брусчаткой, к тому же в объезд коксохимического завода, и допотопный мост через Косьву препятствовали движению мощных грузовиков. Стали прокладывать трассу там, где, по расчетам Махлая, будет удобней всего. Развязка шла серпантинном. Срезали часть Крестовой и Курмаковской горы, построили виадук — новая трасса широкой бетонной лентой вышла на север Прикамья.

Для перевозки подготовленной проектно-технической документации понадобилось несколько авиарейсов из Англии. Общий вес импортной части агрегата М-750 составил 13 тонн. На заводе специалисты разбирали каждый свой узел, потом ехали в Англию отгружать оборудование. Поступало его до сотни вагонов в день, и с перевозкой справлялись только 120-тонные «Шоэрле», «КраЗы», «МАЗы» и «Ураганы». Отдельные детали доставляли контейнеровозами из Италии, Югославии, Швеции.

Махлай забыл, когда нормально спал по ночам. Забыли об этом и в главке: такой сложной стройки в истории главка еще не случалось. Из Москвы летели депеши и указания.

— Не подведите, ребята! — обращался Махлай к строителям, химикам и монтажникам.

Они называли его Капитаном. Да он и был капитаном уникального комплекса, который надо вывести в плавание.

Большие агрегаты отправлялись из Англии водой до Перми. Для их доставки пришлось строить причал в Голованово, а от него до Губахи — автомобильный зимник. Десятки часов налетал на вертолете Махлай, вглядываясь в расстилавшуюся внизу тайгу, в капризно изогнутую береговую кромку, прежде чем вместе со специалистами выбрать место будущего причала и приблизительно определить трассу будущего автотимника.

Обладая четким видением ситуации, он заранее предусмотрел то, что понадобится при пуске нового агрегата. Учил английский язык, приходя на работу на два часа раньше. Лез в любую дыру на объектах, где создавались проблемы. Ездил в Лондон изучать технологию. «Метанол» там был маломощный, но технология высочайшая. И вбирал в свои творческие «запасники» не только деловую культуру английских мастеров, но и современную организацию труда. Переводчицы валились с ног, не поспевая за энергичным уральцем.

Метанол-750 стал огромной вехой для заводчан. О работе по распорядку не было речи, вкалывать всем приходилось до седьмого пота. Рабочие и инженеры порой сутками находились на производстве, урывая для сна 4—6 часов. В кабинетах, в бытовках ставили раскладушки; отдохнул — и снова вперед. Не считались ни с чем: ни с едой, ни с питьем, жили одним желанием построить и пустить в действие уникальный агрегат.

Махлай работал без малейшей к себе поблажки. Убеждал, как приказывал:

— Мужики, терпите! Этот завод — наш единственный шанс. Мы должны его построить!

Но нечеловеческие нагрузки сказывались на нем: срывался, бывал несправедлив, однако находил в себе силы признать вину. Обидев однажды сотрудницу, которую уважал за четкую грамотную работу, Махлай вдруг громко и весело засмеялся:

— Прости, Надежда Ивановна! Чёрт попутал. — И обнял ее за плечи.

Зима 1979 года сильно усложнила работу. Морозы стояли до сорока шести градусов. Промышленность, торговля, коммунальные хозяйства в Губахе выбивались из сил. Вскоре начались бураны. Такого бедствия не помнили и старожилы. Англичане, курировавшие строительство комплекса М-750, до этого никогда не видели разбушевавшейся снежной стихии. Однако весной, когда их вывезли на природу показать окрестности Губахи, проехать по самой Губахе из конца в конец, они были поражены ещё больше:

— Это же Швейцария!

В октябре Пермский причал и автозимник были построенны. Прибыли баржи-площадки с гигантскими колоннами, проделав путь из Англии: морем до Ленинграда, затем по каналам, рекам, водохранилищам в Пермь. Взрели тягачи «Ураган», повезли многоосные трейлеры с 200-тонными реакторами по ровному, как столешница, зимнику. Трое суток ехали по тайге. Ехали в трескучий мороз, но под тяжестью груза колеса двенадцатиосных машин выдавливали воду из почвы!

За четыре рейса все колонны доставили на завод. Это было первое очень серьезное испытание. А сколько их ждало еще впереди!

Строительство и монтаж велись одновременно на всех террасах, на десятках различных объектов. Возводили новую высоковольтную линию, прокладывали кабель на эстакадах, устанавливали приборные шкафы, собирая их под открытым небом. Когда инженеров пусконаладки насторожил огневой подогреватель природного газа, решили его переделать, чтобы потом не пришлось останавливать весь комплекс. Англичане хмурились: «Вы слишком молоды, не представляете, что значит переделать автоматическую схему управления».

Да, во всей химической отрасли не было таких молодых специалистов, как на Губахинском химзаводе, и не было той дерзости, которая присуща молодым. Однако и опыта у них хватало, поскольку пришли на завод простыми рабочими, вырастая затем в инженеров и руководителей. Владимир Махлай тоже начал работать простым машинистом, и, поступив в институт, уже знал, что ему нужно. Его смелость, самостоятельность заражали других.

Молодежь модернизировала свыше семидесяти процентов всех автоматических схем управления и блокировок! Это намного повысило надежность эксплуатации Метанола-750. Но... отодвигался срок намеченного пуска.

Сколько унижений пришлось пережить Махлаю, когда его пропесочивало высокое руководство! Недопустимая смелость была с его стороны заявлять, что агрегат метанола он пускать не будет: недокомплект оборудования и много еще недоделок. Да как он смеет?! «Говоришь, нет этого и того? Так построй! Связи нет? Из своего кабинета отдай телефон!» А он понимал лишь одно: с таким серьезным производством шутить нельзя.

Нитку магистрального водовода длиной свыше пятнадцати километров тянули в сложнейших условиях. В заболо-

ченную тайгу не могла пробиться ни одна техника. Спасли вертолетчики, транспортируя на подвеске при сильнейшем ветре пятитонные плети труб.

22 сентября 1984 года пуск Метанола-750 был осуществлен и получен первый метанол-сырец.

Результат ошеломил членов Государственной комиссии! Первый пуск крупнотоннажного агрегата прошел без единой блокировки! Представители английской фирмы за 30 лет не видели ничего подобного. Как было не снять шляпы перед «слишком молодыми губахинскими специалистами»?

И только тут Владимир Николаевич почувствовал, как спадает огромное нервное напряжение, державшее его целых пять лет в состоянии сжатой пружины. Да разве его одного? Весь заводской коллектив жил на нервах.

Царило счастливое оживление! Поздравляли друг друга, толкались, как дети, чтобы еще и еще раз глазом прильнуть к стеклянной колбе, в которой подрагивала струйка прозрачной жидкости — первый метанол!

Через два с половиной месяца «Большой метанол» готов был к выводу на проектную мощность. Чуть не на месяц раньше намеченного срока!

Вот тут правительственные чиновники, добивавшиеся от Махлая безоговорочного подчинения, вынуждены были признать его правоту. В Томске поднимали такой же завод, но, выполняя приказы высшего руководства, стубили сложное технологическое оборудование. Авария была на все сто, производство встало, и первый секретарь Томского обкома вынужден был просить Махлая оказать помощь.

И всё же Звезду Героя Социалистического Труда Владимир Николаевич не получил, хотя заслужил ее. Дали орден Трудового Красного Знамени. Но для него это было не суть, он не был честолюбив. Главное, что Губаха осталась жить, похорошела высотными микрорайонами, виадуком, шоссе, школами, новой больницей и поликлиникой, детсадами и пионерским лагерем. Четверть века пионерлагерь находился в дремучей тайге на месте бывшей зоны для заключенных и в тех же бараках. О шоссеиной дороге туда не было речи: по разбитым колеям детей возили в открытых кузовах грузовиков. Теперь лагерь был близко от города, на высоком берегу Косьювы. Просторные корпуса, плавательный бассейн, и, что особенно важно, к лагерю вела асфальтовая дорога.

С особым чувством Владимир Николаевич посещал этот лагерь, построенный там, где когда-то была дача его детсада. Его каждый год вместе с другими детьми вывозили сюда. Кто чем занимались они на даче. Больше кузнечиков ловили, де-

лая для них лунки в песке, накрывая стеклышком, разглядывая, как они скачут. Но летом 1944 года, упав на траву, он захлебывался слезами. Раньше его навещали то мать, то отец, но отца теперь не было, в шахте погиб, а мать за работой и хлопотами не успевала. Чувство заброшенности, сиротства осталось в памяти навсегда.

Пользуясь случаем и возможностью, Владимир Николаевич всего подарил Губахе: новейшее оборудование для поликлиники и больницы, для АТП несколько новых автобусов, библиотекам — дефицитные альбомы по живописи. Дома культуры получили музыкальные установки, инструменты для эстрадных оркестров; детсады — дорогие игрушки и пианино.

Казалось, Махлай прощается с Губахой, — ходили слухи, что его ожидает кресло замминистра по капстроительству. Но он не думал никуда уезжать. Он был директором уникального производства, он имел наконец обустроенный быт. В Губахе жила его престарелая мать, над Косьвой был похоронен отец.

Однако судьба распорядилась иначе. Через полгода после запуска М-750 Махлай был назначен директором «Тольяттиазота», который почти десять лет не мог выбраться из череды кризисов.

Мы сидим за столиком на балконе моего номера. С третьего этажа парк санатория виден как на ладони. Без устали трудится электронный садовник, огибая кусты. Горлинки «угукают», какие-то серые птички ссорятся между собой. Из открытого ресторана, который тоже виден с балкона, звучит красивая музыка — играет рояль. Люди расслаблены, курят и пьют вино.

— Когда же мы-то в России сможем так отдыхать? — говорю Владимиру Николаевичу. — В Губахе напротив моего дома два винно-водочных магазина. Ночная продажа водки законом запрещена, однако торгуют. С часу ночи, как на работу, съезжаются и сползаются жаждающие напиться. Нечеловеческий ор, визг, мат, грохот автомагнитол, да хоть бы музыка была, а то бессмысленные выкрики под буханье барабана. Попробуй, усни. Вызывала полицию, она не явилась, зато через день пришли ко мне два участковых, попросили назвать номера автомобилей. Ночью я должна была видеть? С четвертого этажа? Посоветовали мне сообщить о ночных безобразиях в нашу газету. Я слушала и поражалась: полиция есть, городская администрация есть. Значит, им хорошо отстегивают хозяева магазинов, если эти проклятые точки, кроме водки и коньяка, втихаря еще спиртом торгуют.

— Рабство, — сурово произносит Владимир Николаевич. — Оно возвращает и рабов и господ.

Обидно, что мы в России дожили до этого. Вообще стали какими-то дикими. Когда собиралась в Швейцарию, мне сразу наговорили, что русских там ненавидят, в магазинах не отпускают товар, оскорбляют, на вопросы не отвечают...

Рассказываю Владимиру Николаевичу:

— Вчера в ресторане над Рейном был вечер русской музыки. Я сидела близко к роялю, с удовольствием слушала, а пианист каким-то образом признал во мне русскую. Сыграл «Дорогой длиною», потом «Вечерний звон», «Подмосковные вечера». Молодая немецкая пара за столиком у окна машет ему: «Калинка»! И «Калинку» сыграл под общие аплодисменты. Мне было так хорошо! Ну, кто из них враг мне? А я кому из них враг? А сегодня бродила вдоль Рейна, там близко у берега небольшая коса и на ней ребяташки играли. И дикие утки с ними. И лебедь застыл в метре от ребяташек. Какая же прелесть!

— Я на Комо несколько дней наблюдал за утиным выводком. По утрам утка плыла к ресторану, там ей, очевидно, что-то кидали, а следом за ней увязывались три утенка. Она обернется, покрякает им сердито, и они возвращаются. Всего их было семь штук, но остальные послушно сидели в кустах, а этих троих она никак не могла воспитать. Однажды смотрю, она им клювом по головам: тюк-тюк-тюк! Не понимаете «русского языка»?

Смеемся.

— Кстати, о языках, — говорю. — Немецкий язык красивый, я стесняюсь своего немецкого произношения; но как нас учили в школе, так и запомнила. И люди здесь очень доброжелательные. Первое время я смущалась, когда на улице со мной здоровались и приветливо улыбались. Теперь сама здороваюсь первой. На днях пошла в магазин, заблудилась в узеньких переулках; навстречу мужчина идет, спросила его. Он постоял, подумал, потом показал мне жестом, чтобы я следовала за ним. Вошли в какую-то дверь, — за ней оказался небольшой офис; мужчина на цветном принтере распечатал карту Рейнфельдена, обозначил карандашом место, где магазин, и подал мне. Я чуть не заплакала от признательности.

— Пушкин был прозорлив. «У Лукоморья дуб зеленый» — это о нынешней России. Опутали могучее государство золотой цепью. А ведь у нас тоже была порядочность, и мы хорошо жили, хотя и зарабатывали немного. Я рано пошел работать. Токарем в мастерские на шахте, где погиб мой отец. Был

у меня наставник, душевный, простой человек. Однажды его станок был включен на малую скорость, я подавал детали, и вдруг обшлаг моего рукава стало «жевать». «Дожевало» уже выше локтя, не могу рукой шевельнуть, а отвлечь наставника от работы боюсь. А тот — не видит. Закончил точить, повернулся ко мне и побелел: «Ты бы пропал, парнишка!» За три года я до шестого разряда дорос. Потом — армия.

— Я помню, как в армию провожали: с баяном, с напутствиями. Помню наш маленький деревянный вокзал почти у забора коксохимического завода; запах сероводорода, угольная пыль в воздухе. Новобранцы лысые, в телогрейках, бодрятся, а матери и невесты плачут. Свисток паровоза, призывники бегут к вагонам, поезд шипит, выпуская пар под колеса... И вот уже он набирает ход, а следом бегут отцы, спотыкаясь, махая кепками.

— Ну да, так и было. Только нас до Перми везли в пассажирских вагонах, а дальше — в товарняке. Восемнадцать суток мы добирались до Владивостока.

— Да разве такое возможно?!

— У армейской верхушки были свои понятия.

Владимир Николаевич умолкает. Чувствуется, что досталась ему та дорога!

— Во Владивостоке я год постигал профессию машиниста подводной лодки. Кроме учебы, ежедневный утренний кросс в десять километров. Да еще раз в неделю бегали в противогазах. Сильно мы изматывались тогда! К тому же участие в парадах в бухте Золотой Рог. За два-три месяца до парада начинались ночные тренировки. Холод, ветер, ноги до крови сбивали ради чеканного шага.

После учебы меня отправили в Петропавловск-Камчатский, где в поселке Рыбачьем была наша база. Восемь суток плыли, и все время был шторм, такой, что валы винтов оголялись. Нас буквально наизнанку выворачивало. Даже картошку в камбузе чистили лёжа. Когда ступили на землю, долго еще качало. На базе в мою задачу входило при погружении и всплытии лодки обслуживать комплекс машин, был я еще водолазом-инструктором. Ходили в походы, несли боевое дежурство около Кубы, там к власти пришел Фидель Кастро. Потом были в группе сопровождения гидрографических судов — они вели наблюдения за сейсмичностью в разных районах, изучали морской рельеф и глубины. Как хотелось домой!

— Сколько лет вы служили?

— Пять. Один раз был в отпуске.

— А что после службы?

— Устроился на Губахинский химзавод, учился в вечерней школе. В политехнический институт поступил. Учась, подрабатывал в АТП слесарем-диагностом. Группа у нас в институте была очень сильная, многие стали потом высококлассными специалистами. На пятом курсе меня в КГБ агитировали. Отказался. После выпуска — армейские сборы, и — снова завод.

— Вы чем занимались на сборах?

— Рассчитывали точную траекторию ракет для попадания в цель.

— Губахинцы очень жалели, когда вас забрали в Тольятти. Не стало рачительного хозяина в городе. Нашу администрацию население воспринимает как господ на прокорме. Лет пять назад я спросила мэра: почему больницу в районе, где я живу, сначала капитально отремонтировали, потом взорвали? Ответил, не моргнув глазом: «Так совпало». И это лишь единичный случай.

— Я тоже жалел о Губахе. Это же моя родина. А там я — чужой. Завод мне достался в Тольятти в сильно запущенном состоянии. Скоро я понял, в чем дело. Заставил весь коллектив по-иному работать. Тогда посыпались на меня жалобы. В обком, в министерство... То туда меня вызывают, разгон дают, то туда... Терпел, терпел и не выдержал: «Да пошел он к черту, ваш завод!» Тогда перестали нервы трепать.

«Тольяттиазот» был построен в семидесятых годах для производства и реализации в основном за рубеж аммиака и карбамида. Председатель Совета Министров СССР Косыгин был дальновиден, эти же качества отличали и многих союзных министров. На так называемой компенсационной основе американская фирма Арманда Хаммера обязалась поставить «под ключ» оборудование и технологии в обмен на готовый товар. Сделка была выгодна для обеих сторон: СССР получал современное предприятие, обещавшее высокую эффективность, Хаммер на двадцать пять лет приобретал монополию на минеральные удобрения — товар высочайшего спроса.

Для безупречной работы экспортной схемы одновременно с «Тольяттиазотом» строили аммиакопровод, протяженностью свыше двух тысяч километров. Начинаясь он прямо на заводе, конечный пункт — поселок Южный вблизи Одессы; там же соорудили Припортовый завод и хранилище аммиака. Вдоль всего аммиакопровода строили «раздаточные станции» для нужд советского хозяйства.

Однако оборудование, поставленное Хаммером для завода, оказалось с немалым процентом брака, что выяснилось

при пусконаладке. И ко всему — безответственность иностранных консультантов. Те, кто должен был помогать при строительстве и вводе агрегатов, делали это спустя рукава, а порой и натурально вредили.

Накануне Олимпиады в Москве, сильно обострившей отношения между США и СССР, Рейган распорядился отозвать американских специалистов из России. К тому моменту на «Тольяттиазоте» были пущены только первый и второй агрегаты аммиака. Третий и четвертый тольяттинцам пришлось доделывать самим.

Уезжая, иностранцы намеревались оставить «Тольяттиазот» без проектной документации. Эта некрасивая практика по отношению к СССР существовала у Запада с двадцатых годов, когда иностранные фирмы оставляли предприятия без ничего, и годами потом советские инженеры барахтались в массе проблем.

Ночью, тайком, заводчане вывезли из иностранного корпуса всё, что по праву принадлежало «Тольяттиазоту».

Однако спасло это только отчасти. Завод пустили, но агрегаты ломались. «Гигант химической индустрии» топтался на месте. Сменилось несколько директоров, однако пользы от этого не прибавилось. За январь 1985 года задолженность предприятия государству составила 73 миллиона рублей!

И вот тут Министерство химпрома обратилось к Владимиру Николаевичу Махлаю, завершившему пуск «Большого метанола» в Губахе.

— Такого бескультурья в технологии я никогда не видел... — говорит Владимир Николаевич. — Это было даже не бескультурье, это была мораль разрушителей. После пуска завода прошло пять лет, а из шести агрегатов работало только два, да и те с перебоями. Надев комбинезон и бушлат, я лазил по всем лабиринтам, колоннам, переходам. В лицо меня на заводе мало кто знал, аппаратчики, слесари и ремонтники принимали за простого механика. Всего я там насмотрелся! Разруха была такая, что описать невозможно. Конструкции — ржавеют за деревянным гнилым забором, агрегаты заполняются речной водой, когда технология рассчитана на специальную воду. По этой причине котлы до упора забиты накипью! Дошло до того, что от одной из турбин оторвало маховик в полтонны весом и вынесло через стену! Чудом никто не пострадал... Смотрю однажды, сварщики сваривают теплообменник с корпусом там, где его нужно на уплотнительные прокладки сажать, а слесари — затягивают там, где надо, наоборот, отпустить. За эти грубейшие нарушения я на планерках

не щадил мастеров и начальников. Юлят, оправдываются: «Изначально масса проблем в технологиях... Недостаточно хорошо обучены люди...» Потом узнаю, что на заводе вообще коммунизм. У главных специалистов персональные оклады независимо от производительности завода. На основных производствах и у ремонтников еще чудесней: сами заперют агрегат, и на его ремонте аккордную зарплату получают. Вышло, что интерес у них был в ремонте и остановках.

Однажды гляжу, стоит неразгруженный вагон с медным купоросом. Оказалось, неделю уже стоит, тогда как купорос нужен для очистки воды. Спрашиваю, в чём дело? Отвечают, что сломалась разгрузочная машина. «Так чего же сидите? Где лопаты и вёдра?» Весь цех водоподготовки заставил вручную разгружать вагон, и сам разгружал. Начальника цеха потом уволил.

Я не вылезал из цехов! Детально изучил производство. Профильное инженерное образование и уже немалый к тому времени опыт помогли это сделать в два месяца. Начал подтягивать коллектив. В ответ — саботаж! Приближается Первомай. Отдаю приказ работать в праздники. Прихожу на работу первого, второго мая — никого нет. А четвертого — по халатности сожгли пучок из пятисот труб стоимостью в пять миллионов долларов! По тревоге вызвал главного инженера и всех начальников цехов. Два месяца круглосуточно чистили, по миллиметру, одиннадцатиметровые трубы! Купить же их было негде. Все лазили в печь, и я лазил, еще и директора учебно-курсового комбината брал с собой: «Будешь рядом работать, чтобы знал, как учить!»

Ладно, агрегат запустили. Но «эпопея» на этом не кончилась. Тогда я решил пригласить из Губахи нескольких сильных специалистов, не скрывая, что дел будет по горло. Приехали. И остались навсегда. На них я мог положиться.

— Я слышала, они выявили множество производственных недостатков.

— Больше трехсот! Больше трехсот недоработок и упущений в производстве! Вот почему до меня целых семь месяцев не могли запустить колонны на втором агрегате. Я дал команду полностью разобрать теплообменники. Так Министерство химпрома на дыбы встало: много времени будет потрачено на капремонт! Ответил, что время мы наверстаем на выпуске готовой продукции. Так и вышло потом. Первое моё выступление в городской прессе называлось «Перестройка». Задолго до провозглашения перестройки Горбачевым. Одно дело — объявить о перестройке, и совсем другое — воплощать в жизнь. У нас была не скоротечная кампания, как у

Горбачева, приведшая страну к развалу, у нас была долгая изнурительная работа!

— Коллектив удалось подтянуть?

— Не сразу. Невозможно заставить людей поверить в тебя. Это происходит само собой. Поймут — поверят. Я делал ставку на человека, на уважение к его труду. Кто-то понял, а кто-то нет. Жалобы полетели, звонки посыпались из горкома: чьего-то родственника я уволил с завода... Я же сроду в родственных связях не разбирался. У меня на ответственности завод, и этот завод надо наладить как следует.

— Когда еду по Губахе, частенько вспоминаю вас. Раньше центральная трасса была покрыта брусчаткой, бесконечные спуски, подъемы... а по мосту ходить через Косью я просто боялась, такой он был хлипкий. Сейчас — красота! Кстати, оснащенный вами санаторий-профилакторий для заводчан давно принимает всех граждан Губахи. Лечение замечательное, не надо никуда ехать.

— В Тольятти я тоже построил большой санаторий. Среди соснового леса. Всё лучшее для лечения, что видел в Европе, закупил для него. Теперь там весь город лечится. Долго думал, чем украсить площадку у главного корпуса. Главврач предложила устроить фонтаны, но я поначалу был против: хвойные иглы их засорят. Она настояла, и оказалась права. Совсем другой вид! Я мечтал провести канатную дорогу от санатория к Волге, да не вышло, весь берег частники захватили.

— Так как же вы справились с коллективом «Тольяттиазота»?

— Да это долго рассказывать. Ввел систему оплаты, которая поощряла производительный труд. Суть системы для меня была в том, чтобы настроить людей на грамотную работу. Одновременно стал добиваться, чтобы для заводчан Тольяттинский исполком выделял больше квартир, потому что люди ютились в общагах и малосемейках. Арендовал в АТП автобусы, чтобы работники ездили заводским транспортом. Там же страшно, что было! Завод в двенадцати километрах от города, ночная смена заканчивается в семь утра, а все службы в подразделении являются только к восьми часам. И это на непрерывном химическом производстве! Случись какие проблемы в ночное время — кого найдешь? Обратился в горком, мне там объясняют: «Городской транспорт не справляется по утрам с огромным числом рабочих, ваш завод не один в Тольятти». — «Мы эту проблему снимем с вас», — говорю. Много позже сообразил, что горкомовские чиновники специально меня доносили: мое назначение генеральным директором «Тольяттиазота» не было, видите ли, согласовано с ними.

За горкомом взялась за меня гражданская оборона. За ней —

санэпидстанция. Потом — народный контроль... Всех не перечесть. Предписание за предписанием: устранить, наладить, установить!.. Буквально облава. Не давали работать, заставляя ходить на их совещания и заседания. А тут еще на седьмой месяц моей работы рухнул водовод. При такой аварийной аварии у меня в Губахе всё это устранял начальник цеха — своими силами, своими кадрами. А тут!.. Мне доложили, я подъехал, смотрю: ситуация стандартная. «Делайте», — говорю.

А ночью — аварийный сигнал: оборвана и вторая нитка. Как? Что? Оказалось, прорыв первой нитки не устранили, понадеялись на резервную нитку, вода бежит, а почва песчаная, из-под резервной трубы вымыло грунт, и она, провиснув, лопнула. Завод обезвожен! Зима! Можно всю зиму почву долбить, восстанавливая размороженное по всей территории оборудование... И понеслось!

На заседании заводского партийного комитета явилась первый секретарь райкома, требуя для меня строгий выговор. Не главному инженеру выговор, не главному механику и главному энергетика, не начальнику цеха, — а мне. И все проголосовали «за». Дальше — больше: в райком притянули. А там против меня, чужака, все на дыбы. В общем, обстановка полного окружения. И в городе крик: Махлай доведет завод до экологической катастрофы! Их мучил местный патриотизм: зачем им выскочка из уральской глубинки, когда своих светлых голов хватает. А я еще учредил положение о должностях. Тетрадь завел, где записал обещания каждого руководителя поименно, под роспись. В ответ — бойкот! И раз, и два, и три приглашаю, записываю новые сроки, тоже под роспись. Со скрипом, однако добился, чего хотел.

И сразу провел тестирование. Оказалось, не знают своих обязанностей! Пришлось менять на заводе главных специалистов. Так ведь и тут выкрутасы. Приглашаю намеченного кандидата на должность главного энергетика, а он мне: «А что я буду иметь?» У нас на Урале такого отношения к делу никогда не было. С этим человеком я даже не стал разговаривать. Если у него на уме своя выгода прежде всего, и это когда завод буксует, значит, не о чем говорить.

С трудом, но команду я создал. И только тогда решил сходить в отпуск. Шесть лет не отдыхал. «Большой метанол» в Губахе, да на «Тольяттиазоте» страшная нервотрепка... Что я, железный, что ли? Недельку проотдыхал, звонят с завода: на первом агрегате проблема, надо его глушить. Лечу на завод, а там моему заместителю уже устроили головомойку, и он скорее в Москву: в министерство, в главк с жалобой на меня...

— Было так, что руки опускались?

— Как я мог себе это позволить?!

Гневный ответ заставил меня почувствовать всю нелепость моего вопроса.

Владимир Николаевич, сухо сказав «всего доброго», встал и ушел.

Я долго еще сидела на балконе, испытывая вину перед ним. Вспомнились выпады в интернете против Махлая. Легко было этим подонкам писать: *«Когда Махлай приехал в Тольятти, работавшие с ним люди впервые отметили его жесткость в обращении с подчиненными, порой переходящую в откровенную грубость. И если в советские времена Владимир Махлай еще как-то себя сдерживал, то после развала СССР и наступления новых времен он стал позволять себе откровенное хамство. Стоит ли говорить, что люди, жаловавшиеся на Махлая в партийные органы, на заводе больше не работают»*.

Ну да, он должен был улыбаться, видя, что на заводе может произойти катастрофа, по масштабам равная Чернобыльской, должен был говорить ровно и благостно, и сохранить эту благость на все времена: советские, демократические и какие там еще будут. А то, что всего за два года завод поднялся, перестав быть бельмом на глазу у Министерства химпрома, интернетовские правдоискатели стыдливо умалчивают. И то, что заводской коллектив в конце концов понял Владимира Николаевича, избрал его по собственной воле генеральным директором, когда выборы руководителей стали народными, — тоже молчок.

А ведь могли бы избрать директором «своего», из Тольятти. Кстати, своему конкуренту, обещавшему избирателям кисельные берега, Махлай предложил строить объекты хозспособом — пусть покажет себя на деле. В итоге всё растащили, а сам претендент на должность директора «Тольяттиазота» сбежал, прихватив экскаватор.

Утром за завтраком мы встретились дружески — сердце Владимира Николаевича оказалось отходчивым. После завтрака поехали в Базель.

Я смотрела в окно электрички и поражалась крестьянским полям: какая же домовитость! Нет ни клочка неиспользованной земли. И дело не в том, что земли в Швейцарии не хватает — рощи встречаются повсеместно, густые, нетронутые. Такие рощи в Губахе предприимчивые дельцы давно уже рубят под корень, а здесь — берегут.

Повернулась к Владимиру Николаевичу:

— Если помните, дорога к Шумихе шла у нас по роскошному лесу. Вырубили его. Лишь на виду оставили ряд деревь-

ев, а за ними торчат и гниют пеньки, зияют нарытые ямы. Торговля лесом идет вовсю, причем большей частью на экспорт.

— Надо продукцией торговать, а не сырьем, — говорит он сурово. — Преступно жить одним днем!

Что будет с Россией лет через сорок? Что нашим детям и внукам достанется? Безжалостно опустошают нувориши природу и недра страны!

Со второго яруса электрички обзор широкий, и я люблюсь на уютные домики с черепичными крышами, на беленькие кирхи, на фермерские постройки — но внутренним зрением обращаюсь к родному Уралу, где крестьянские скособоченные дома и разинутые ворота бывших колхозных ферм. Давно заросли березами и осинами бывшие пашни. Сломано всё, что когда-то было большим хозяйством. Молодежь уехала в города скитаться по частным квартирам, в деревнях доживают свой век старики и старухи: для них, победивших в Великой Отечественной войне, нет даже фельдшера, а «скорая помощь» законно одна на район, причем не хватает машин.

«Падёт село, а за ним и Россия падёт», — пророчил в начале двадцатого века Василий Розанов. Пустыня уже между нашими хилыми городами. А столица стала раковой опухолью — по всей России идут от нее метастазы!

С грустью говорю Владимиру Николаевичу:

— Разительно отличается Швейцария от России.

Он не слышит меня, читает газету, которую взял на вокзале в Рейнфельдене. Газеты, журналы, буклеты здесь совершенно бесплатно в отелях и на вокзалах. В России теперь даже в библиотеки редко поступают газеты, не говоря о журналах, — дорого государству. А народ периодику не выписывает, — не по карману. Так и живем, узнавая все новости из телящика, где гонят всякую чушь.

В Базеле у корпорации «Тольяттиазот» свой офис, как сообщил мне Владимир Николаевич. Аренда обходится дорого, и он собирается снять для офиса помещение в Рейнфельдене — будет дешевле. При мне он кому-то звонил, обсуждая этот вопрос. Вообще, вижу, что и на отдыхе он занят кучей проблем, связанных с корпорацией.

Но сейчас мы едем в Базель ради меня: Владимир Николаевич решил показать мне город. Я много о Базеле слышала от замечательной сербской женщины, познакомившись с ней в Рейнфельдене, и с нетерпением ждала с этим городом встречи.

Через час мы подъехали к станции. Большой старинный вокзал, многолюдье. Выходим на улицу и садимся в трамвай.

Мне всё занимательно в Базеле: постройки четырнадцатого века, красивые ратуши, петлистые узкие улицы, кирпичи с ажурными шпилями. В Рейнфельдене тоже есть ратуша, часы на ней отбивают время, а небольшие кирпичи в воскресные дни устраивают натуральные симфонические концерты! Весь городок наполняется мелодичным и мощным звоном колоколов, мощным настолько, что, кажется, даже воздух колыхается. Всё небо тогда поет, гудит и звенит! Ничего подобного я не слышала во всю свою жизнь.

После трамвая мы идем по старинной улице. Встречные люди одеты просто: легкие брюки и майки. Жарко. Входим в старинную базилику. Тяжелые каменные арки подпирают ее своды. Вдоль стен — могилы умерших под каменными плитами. На плитах написано, кто похоронен, когда, сколько лет прожил на свете... Есть очень богатые захоронения, есть попроще. Меня потрясает, что целое тысячелетие между мною и этими стенами, а я могу прикоснуться к ним своими ладонями! С уважением думаю о тех людях, которые сохранили потомкам живую историю.

Но, обходя огромный и гулкий храм, мы с Владимиром Николаевичем неприятно поражены арт-скульптурами в неффах. Рука «кощя» торчит; какой-то уродец на каменных плитах; бетонный пенёк, на котором две трети человеческого туловища; железная арматура неизвестно что из себя представляет...

Только в крайнем неффе не оказалось современного творчества, уродующего гармонию древних зодчих. Играл на лютне молодой человек, и эта старинная музыка на старинном музыкальном инструменте так хорошо, так духовно сближала со всем, что было вокруг!

Владимир Николаевич в баночку на полу рядом с музыкантом положил деньги. Для меня как-то померкло швейцарское благополучие: музыкант напомнил мне таких же в России, игравших в подземных переходах метро.

Потом мы сходили в храм эпохи Возрождения — с хоруговьями, железными рыцарями в нишах, с роскошной живописью. Подумалось, что, наверное, в склепе такого вот храма и положили шекспировскую Джульетту. И опять — живое прикосновение к далекому прошлому и к его культуре!

Дальше — идем по городу. Много домов, построенных, очевидно, во времена Медичи. Значит, этот архитектурный стиль был принят не только в Италии. Смотришь со стороны, и не верится в реальность этих удивительных зданий с массивными каменными лоджиями, потрясающей красоты живописью и золотыми гербами на фасадах.

Досыта набродившись по Базелю, и даже, к стыду своему, перейдя дорогу в неполюженном месте, мы вернулись на железнодорожный вокзал.

В электричке Владимир Николаевич уже не читал газет, а я почти не смотрела в окно, мы активно обсуждали современное искусство.

— Ну что вот это: безрукие, безноги, безголовые, — фыркал он, имея в виду арт-скульптуры в базилике. — Это же храм! Как можно?

— Да, испорчен древний ансамбль.

— Я читал, как художник Тропинин говорил молодым живописцам: лучший учитель — природа. А что мы видели сегодня? У какой природы учились эти ваятели?

Владимиру Николаевичу позвонили по сотовому телефону, и я спустилась в первый ярус, где такие же мягкие кресла и такой же уют, как ярусом выше.

В электричке — уют! Боже мой, когда же у нас будет такое? Даже аэропорты здесь и в России отличаются разительно. В Шеметево-2 вульгарные и угоднические рекламы: «Забирай с собой кофе — лучше нашего не найдешь!» «Кафе «Мама Раша» приветствует вас!» В ларьке сувениров рядом с матрешками выставлены на продажу иконы! В зале для внутренних рейсов истертые до дыр сиденья кресел. Курилка посреди терминала в крохотной, застекленной с трех сторон комнатке, сизой от дыма. И ведь у Шереметево-2 есть хозяин, который имеет громадные деньги с авиарейсов.

У цюрихского аэропорта тоже хозяин имеется, но нет ни реклам, ни икон на продажу. Цветы! Тихая музыка из кафе. С каждого этажа выходы прямо на улицу, где на площадках курят; там же стоят киоски с прохладительными напитками и сигаретами. Чистота изумительная. И вежливость изумительная. Ведь так и должно быть, если люди себя уважают.

Мне больно.

За горькими мыслями, я не заметила, как электричка подкатила к вокзалу Рейнфельдена.

Владимир Николаевич заметно напряжен: ему предстоит встреча в Цюрихе с кем-то из российского руководства. Дадут ли отмашку достраивать порт на Тамани? Десять лет прошло, как начатая Махлаем стройка стоит без движения. Он каждый год стучался в правительственные кабинеты, напоминая о порте, о важности его для России, не говоря уже о важности его для ТоАЗа! Ведь без аммиакопровода, по которому продукция предприятия идет напрямую в Одесский припортовый завод, не выжить. Чего еще ждать, когда Укра-

ина воюет, и могут в любую минуту отрезать доступ к «трубе», а значит, завод и Россия лишатся сотен миллионов долларов?

Добавили нервозности и новоявленные российские бизнесмены. Газовая труба, протяженностью два километра, шла на «Тольяттиазот» от ГРЭС, платить за нее было посильно, хотя государство фактически бросило предприятие, и оно выживало на бартере. Высокое газовое давление в трубе на заводе переводили в необходимое по технологии. Эту трубу выпросила у Махлая самарская фирма «Волгапромгаз». Год ходили к нему представители фирмы, обивая пороги: «Зачем вам труба, отдайте, всё будет в полном порядке, поставки будут бесперебойными, как мы можем вас подвести?» Околпачили сначала главбуха и главного инженера завода, а те, в свою очередь, приступили к директору: «Надо отдать трубу. У завода долги по оплате за газ, нас лимитировать уже стали...» И он решился, сто раз пожалев потом. Фирма взяла в жестокие клещи «Тольяттиазот», диктуя свои условия. Махлай ежедневно бывал у новых хозяев — теперь как проситель. А то, что они вытворяли по технологии, выходило за мыслимые пределы: снижали давление, останавливали подачу, что приводило к остановкам основных производств. Снова и снова ходил Владимир Махлай к новым владельцам трубы, унижался, выпрашивал то, что недавно принадлежало заводу.

Навеки запомнит он юбилей самарского босса! Сидел тот на сцене, как царь, и ему, как царю, с поклонами подносили подарки. Махлай, находясь в зрительном зале, сжимал кулаки: встать и уйти с этого «императорского» мероприятия! Но за ним был завод, и он терпеливо смотрел, как во время банкета столы ломались от яств. Было стыдно и горько: народ тогда голодал, детские голодные обмороки были по всей стране.

Оставалось одно — развивать не связанные друг с другом производства, расширять ассортимент изделий в рамках одной корпорации. Только это поможет заводу выстоять, а его работникам — выжить. «Тольяттиазот» был приватизирован, получил название ТоАЗ, президентом был избран Владимир Николаевич Махлай.

Продолжение следует

Вышел в свет 5-й том шеститомного Собрания сочинений Валерия Хатюшина. Справки о приобретении вышедших томов по телефонам: 8 (495) 787-35-22; 8-916-718-25-52.